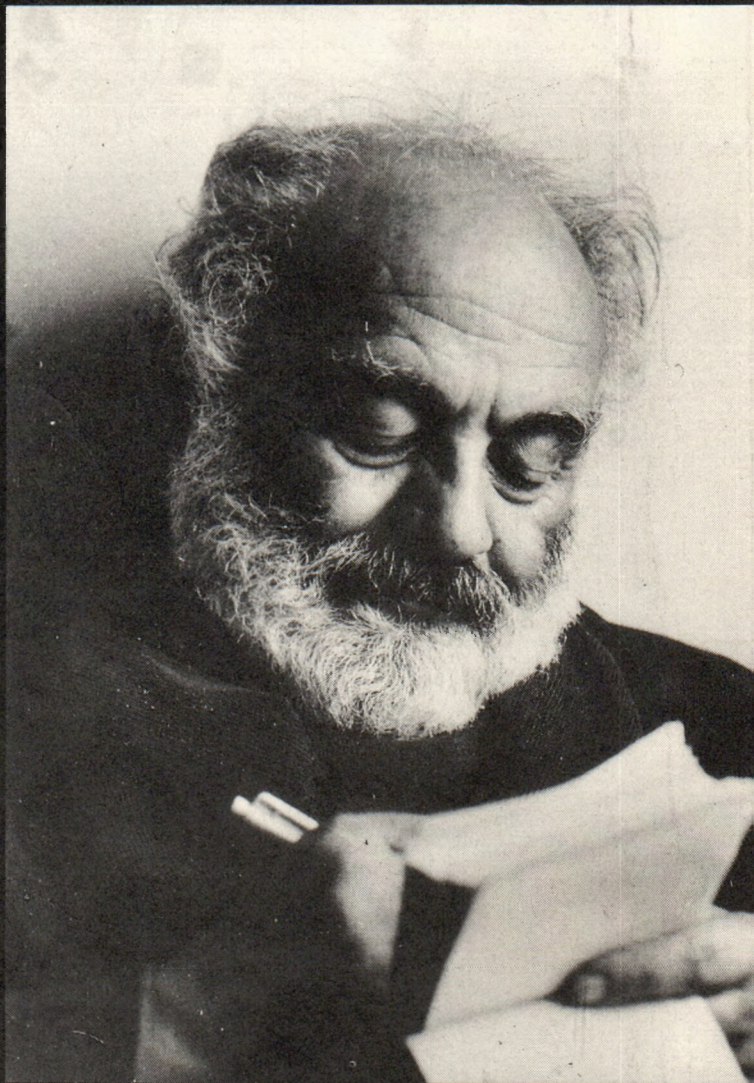


**СЕРЁЖУ**  
или страсти  
по Параджанову

**КИНО** сценарии **№6**





СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ 1924-1991



**В НОМЕРЕ**

Ирина Уварова  
Гаянэ Хачатурян  
Василий Катанян

**Сергей Параджанов**

**Андрей Смирнов**

**Анатолий Усов**

**Валерий Чиков**

**Валерий Залотуха**

**Тимур Зульфикаров**  
**Алексей Габрилович**

**Александр Червинский**

Издается с 1973 г.

**КИНО** сценарии **№6**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

**СЕРЁЖУ** или  
**Страсти по Параджанову**

**Исповедь**

**Непоставленное кино**  
**Предчувствие**

**Коммерческое кино**  
«Все то, о чем мы  
так долго мечтали»

**Кинокомедия**  
**Про бизнесмена Фому**

**Авторское кино**  
«Макаров»

**Поэтическая проза**  
**Признание в любви старого**  
**болельщика**

**Письмо главному редактору**

Учредители:  
Комитет по кинематографии  
при правительстве Российской Федерации,  
Конфедерация Союзов кинематографистов

**К 70-летию  
СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА**





# ИРИНА УВАРОВА

## ЗАРИСОВКИ В ДУХЕ ПЕРСИДСКОЙ МИНИАТЮРЫ

### Бегемот в лифте

Но, может быть, его в лифте не поднимали, просто он застрял, как серый рояль, на повороте лестничной клетки, могу и забыть, прошло тридцать лет, тем более, что мне того события видеть не досталось и я помню это со слов Параджанова.

Во всяком случае что-то было с транспортировкой, то ли его, бегемота, тащили по воздуху на канате или как-то еще, но что-то в этом роде. Параджанов на день рождения сына пригласил неудавшегося гостя. Как там было у Куприна? Девочка и слон. Слона привели к девочке потому, что дом был старинный. А Параджановы жили в новостройке и на высоком этаже, рядом с цирком.

Параджанов поддался грандиозности замысла с бегемотом. Как многие великие идеи, и эта была обречена разбиться вдребезги о реальное положение дел.

С реальным положением дел Параджанов считаться не собирался.

Было это в городе Киеве в ту пору, когда все находилось во власти чар, мы были очарованы «Тенями забытых предков». Украина встрепенулась и оцепенела: прах забытых украинских предков встревожил пришелец, чужак, странный человек. Кто его поймет?

Киев таких людей еще не видел; только киевские князья знали ему подобных. Пришлих, неугомонных, потрясающих дарованием, как бубном. Они зубы заговаривали, зверски хамили, плясали, непотребно задирая одежду, были невозможны и за то гонимы из душных покоев.

Только пир без них был пресен и скучно становилось.

Их, скоморохов этих, изобразили на стене Софийского собора. Нарисовали по церковному канону — узкими, длинными, как кукурузный стебель, с поющим инструментом в кукольных ручках и кротостью во взоре.

Неправда. Были они кряжисты, широки в груди и скроены были из материи дорогой и плотной, что водилась в дальних странах Востока, и из нее же в древние времена делали мифы. Глаз они имели опасный и тучные волосы, как у Параджанова.

Я не о том, что они его предки. Это само искусство высыпает на нас своих бедовых избранников, Господи, прости и помилуй этих беспардонных клоунов, этих колдунов, напустивших на творчество ворожбу, как порчу.

Спаси и помилуй и нас, оказавшихся вблизи. Они неудобны, они сбивают с толку жуткими выходками.

Вот только когда они отлетают, остается в небе черная дыра, куда вытекает озон.

Мы едва познакомились и поссорились тут же. Откуда мне было знать, что он дерзит всем, что дерзости обязательны, как и слова радушья и привета, что всякого загонял он на параджановы потехи, как вздорный шах, то осыпал милостями, а то обливал холодной водой из злой шутихи.

Но мой взбрык оказался ему неудобен, он ринулся мириться, помирившись, затащил в гости, нажарил карасей в сметане, высыпал их в серебряное блюдо, большое, как корыто в киевской коммуналке. Дом был полон гостей, без гостей он не стоял и дня. Кто-то толпился в тесноте утлых комнат, заслоняя ковры, иконы, синего стекла вазы, золотые церковные свечи, деревенские цветы малинового воска и кроткую жену.

В ту пору мне не дано было понять, чем были вещи для него и какова природа этого странного человека. Я уезжала к себе в Москву прямо от карасей, он провожал. Гостям велел идти на вокзал тоже. Провожали, как родную тетю. По дороге он как раз и рассказал о бегемоте, а помирившись забыл обо мне и никогда не вспомнил. Моя персона в этом эпизоде роли не играет никакой. Хотя с тех пор я его остерегаюсь в приближениях, дарованных мне судьбой в дальнейшем.

### Царица Лиля

Параджанова можно было не видеть, но о нем невозможно было не слышать; не знать, что с ним.

Мы знали.

Вести летели из Киева наподобие почтовых голубей, но редкая птица долетала до середи-



ны Днепра с добрым сообщением на лапке.

Говорили, что после «Предков» вокруг него образовалась пустота, безмолвие и бездействие.

Говорили, что он метался, как мышь под стеклянным колпаком, когда оттуда высасывают воздух для пользы дела, а мышь царапает стекло с яростью тигра.

Параджанова несло навстречу беде, а еще говорили, что он сам подгрел ей навстречу, играя в опасные игры, играя рискованные роли, заигрываясь, как трагический пацц, и вдруг сдирая маску.

Арест был неизбежен и, как всегда при неизбежности, внезапен. Судьба выдергивала из колоды карты одну хуже другой: казенный дом, дальняя дорога и пиковый туз.

Говорили, как его отправили в бытовые лагеря, в песчаные карьеры. У политических по крайней мере было интеллигентное общество, Параджанов попалал к отпетым уголовникам. Говорили, что он болеет, что погибает, потому что этот песчаный карьер был хуже «вышки». Его швырнуло на самое дно ада.

Вытаскивали его со дна две властительницы двух эпох: Лиля Брик и Белла Ахмадулина.

Эпоха Беллы была вокруг и рядом, эпоха Лили удалась в сторону памятника Маяковского, растворяясь в хрестоматийной перспективе.

Я сейчас не пишу о других. О великих кинематографистах мира с их протестами. Обо всех, кто старался спасти его. Я о Лиле и немного о Белле, потому что их имена нарицательны, как имя Елены из провинциального города Трои. Они вообще часто являются издалека, из Одессы, из Пскова приходят они в столицу за своим законным венцом.

Лиля была коронована поэтом; подобно Марии Стюарт, оказывалась в опасной опале, но, в отличие от Марии, была везуча и сумела прожить без малого столетие.

Когда она умерла, мы с друзьями поехали в Переделкино прощаться с нею.

Ее вынесли на маленькую веранду, там были цветы и люди.

Я вышла встретить погребальный автобус. Он пятился, приближаясь к дому, медленно и тяжело одолевая дачную дорожку.

Задние двери раскрылись, готовясь вскоре принять гроб. И оттуда, из гробового входа вышел вдруг Параджанов.

С того света, из катафалка, из лагерной могилы появился он, как Орфей. Из вечности, пахнувшей хвойным тленом, бензином и смертью, равнодушной как природа, сверкнуло его мавританское лицо в бороде колдуна, в сединах пророка.

Он прыгнул на землю легко, как мохнатая

кошка, и легче кошки взбежал на веранду, где лежала прекрасная Лиля.

Она высохла, став мумией царицы и собственной тенью. Но лицо ее было нежно и очень красиво, ее одежда была дивна и проста. На груди лежала косичка, перекинута через плечо, и тугие розы со слезами росы на траурных листьях. Сколько было цветов вокруг— таких не было. Таких не бывает. Они растут только в Соловьином саду, куда вхожи лишь рыцари, поэты да багдадские воры.

По углам тихо плакали красавицы с камеей у щитовидки, белоснежные маркизы, сверстницы Лили. Она была им приятельницей и соперницей в том дальнем прошлом, отлетающем назад со скоростью света, где царила она, рыжая, как осень, воспетая трубным могучим гласом трубадура, за что в истории ей отводилось почетное, хоть и скандальное место.

Тихо стояли родственники, тише всех горевал муж. А он, Параджанов, был тут главным церемониймейстером, факельщиком, плакальщицей и Хароном.

Рукою великого маэстро он правил траурный бал. Это он навел чудесный грим на каменеющие крупные ее веки. Это он обрядил ее в гуцульскую рубашу со скорбной вышивкой у горловины. Он принес соловьиные розы и привел катафалк.

Все это он перечислил у ее гроба, отчитываясь перед нею в деяниях, которыми почтена была ее женственность и ее красота, властно и капризно требующая служения. Он обеспечил служение, реестр дел был полон и совершенен.

Последние часы ее долгого пребывания на земле он обставил так, чтобы душа, витавшая над художественно оформленной мумией, могла оценить каждый жест маэстро и каждый штрих в этой картине.

Он говорил, речь его была достойна и богата, но и благородно-сдержанна. Так мог бы говорить тамада за столом, накрытым черной скатертью и уставленным белыми свечами. Он говорил о том, как она отняла его у смерти, вульгарной каторжанки. О том, как она вызволила его из песчаных карьеров.

Он и потом, в Тбилиси говорил, что спасли его Лиля и католикос. И к тому не прибавлял имя Беллы.

Он рядом с Лилей ее не вспоминал, чтоб не тревожить ревнивую тень именем другой прекрасной женщины. Ибо Лиля бывает только одна, она это знала. Она это знает и сейчас.

Говорили и даже писали о том, что, вернувшись с каторги, он к ней не пришел. Нужно ли вспоминать об этом?

Но его портрет, как портреты кисти Рембрандта, писан глубокой тьмою, равно как и пронзительным свечением.



Рембрандту бы писать не старух, зажившихся на свете дольше века, а гениальных художников.

Параджанова окружали не только красивые вещи, но и красивые женщины. В Тбилиси красавица Ирина мыла шаткие полы из старого дома, истоптанные табунами гостей.

— Ты посмотри, какой пол,— укорял он.

— Диссертация,— объясняла она свое долгое отвлечение от главного дела.

Диссертация Ирины его не интересовала.

У него в доме водились старинные куклы-дамы, тоже красавицы. Он их наряжал в лионский бархат, в ажурные шляпы, в тропические перья, в севильские мантильи.

Они сидели всюду, бледные, зоркие; фарфоровые идола. Принимали жертвы от хозяйна, с неистовым азартом отправлявшего культ, радевшего, как жрец у алтаря: черепашковые пудреницы величиной с орех и хрустальный башмак.

Говорят, в ридикюле одной куклы хранилось любовное письмо, писанное рукою Параджанова.

Иногда он их дарил.

## Мой дом — Сурамская крепость

А он был похож на крепость, этот самый параджановский дом на вершине узкой улицы Мехи. Так по-горному круто взмывала она вверх, будто наверху ее поджидали орлы и снега.

Дом был похож на деревянную декорацию старой крепости, он уже разрушался, стариковски скрипел и ворчал, и лестница, горной тропой взбирающаяся на второй — к Параджанову — этаж, могла обвалиться в пропасть.

Но дом был полон достоинства и какого-то расслабленного радушия, принимая гостей, друзей. Врагов наконец, да вообще кого попало. Крепость, конечно, но ведь тбилисская крепость.

Только в Тбилиси были такие дома, такие гости, такие соседи. Много было внизу соседей, но двор был похож на павильон, выстроенный специально для съемок — Параджанов в тбилисском доме своего отца.

Фильма такого не было, зато в доме постоянно творился театр, возникали и исчезали маленькие театрики, ежедневно или ежеминутно. Покорные его воле, играли там люди и вещи, и собирались зрители, а иногда в них не было нужды. Он был, как говаривали в старые времена, Директором Театра Жизни.

Три тбилисских свидания с Параджановым в разные годы я хочу хранить в памяти как одно. В едином пространстве встречи, среди

множества эпизодов, я выбираю здесь три спектакля, три маленьких театра.

Театр одного актера.

Театр одного букета.

Театр даров.

Место действия — дом С. И. Параджанова, его дом — его крепость. Крепостной театр, если угодно.

Ремарка: Это не были встречи со мною. Параджанов встречался с моим мужем, Юлием Даниэлем, которого очень любил. А я была рядом.

Мы оказались в Тбилиси как раз тогда, когда он вернулся в свой дом. Вечерами у него, естественно, собирались гости. Он угощал новеллами о своих злоключениях, слухи о них мгновенно облетали город. Две дамы из Москвы, посещавшие его ежевечерне, от его рассказов осунулись, стали бледны. Настоящий ад этот лагерь, ужас, что там творилось, были эпизоды — они и шепотом не решались повторить. Несчастный Параджанов. А сейчас? Сидит без работы. Жить не на что.

Узнав, что Юлий в Тбилиси, он тотчас послал за ним.

Мы пошли.

И попали на грандиозный спектакль, данный в честь нового гостя.

— Вы опять здесь? — встретил он двух московских дам. Дамы не ушли. Он был раздосадован. Публика прежних представлений ему сегодня не подходила:

— Юлий, я их там научил резать камни. Друзья присылали камни. Сердолик, агат, амethyst. В лагере были такие таланты. Вы ведь знаете, какие там люди. Был один Вася. Не Вася, а Бенвенуто Челлини. Сейчас покажу его фотографию. Вася — золотые руки, была же утром фотография, кто взял? О, Вася! Отца зарезал, мать... Вот он, смотрите! Ах, нет, это не Вася, это Пазолини.

Этика зека множилась на вельможный гонор.

Юлий сидел в политлагерях. Рассказывать при нем про уголовные кошмары не допускала гордость.

Спектакль был каскадный, знай наших. С клоунадой, со штуками, свойственными всем плутам ярмарочных подмостков.

— Но вы же придете еще? А я непременно найду Васю. Вам обязательно нужно его видеть, верьте слову. Рустам, иди сюда, Рустам тоже большой талант.

Гости прибывали, вытаскивая из сумок еду. Параджанов приказал подать бесценные тарелки семейного сервиза, продолжая говорить, перебирать альбомы, рассыпать и собирать портреты, рисунки, итальянские письма, французские газеты, ругаясь и причитая по поводу пропавшего изображения незабвенного Васи Челлини.



Между делом он украдкой подсунул мне рисунок, выполненный им в лагере с большим мастерством. Я рассматривала утонченные линии — как он рисует! — он наблюдал за мной кротко и невинно. О том, что именно там нарисовано, я догадалась через несколько лет. Рассчитывая на большую сообразительность, надеясь смутить, он был разочарован и отвернулся. Он уже ругал студию: испугались, не знают, что с ним делать.

— До того дошли, что предложили играть Карла Маркса. Борода похожа. Я бы им сыграл!

Борода была, как у венецианского дожа.

Впрочем, я не помню, как выглядели дожи, но он бесспорно был немножко венецианцем, купцом, мавром, кудлатым львом на площади св. Марка. Или он вышел из фильма Феллини. Или был в толпе карнавала, в парче, в мехах, в маске Сергея Параджанова.

Оказавшись однажды осенью в Тбилиси, мы, прежде чем идти в параджановский дом, отправились на базар и отбирали для него цветы. Нам везло. Были сиреневые мелкие розы и фиолетовые хризантемы, светло-лиловые колокола и тусклое серебро сухих трав. Я перевязала наш изысканный сноп брабантскими кружевами, прихваченными из дома, из бабушкиной шкатулки — в подарок параджановским куклам.

Спектакль разразился при вручении. Как он схватился за сердце, как закатил глаза. Словно цветов не видел сроду. Он то приближал букет к себе, то бросал на стол и отбегал в испуге, разглядывал его из угла. Свал его в драгоценные пыльные вазы, в банки из-под соленых помидор или выкладывал на пол, подстелив персидскую шаль.

Вообще он жил внутри натюрморта, постоянно что-то сочетая, двигая, переставляя, образуя причудливые композиции, кратковременные шедевры. Таинственная жизнь предметов, плодов и кукол, открытая только ему и никому больше, составила воздух его фильмов. Но дома его отношение ко всему этому носило ночной, гофмановский характер. Вещи он возносил, отлучал, ссылал в кладовку и возвращал из забвения — в спектакль-натюрморт, в спектакль-коллаж.

У него были вещи-аристократы и подлинные плебеи. На галерее обитала крикливая массовка базарных красот, увенчанная дет-

ской вертушкой. Покорная ветрам, она крутилась, посылая в сумрачную комнату блески дешевой фольги.

На другой день он подарил букет соседке.

— Она такого не получала никогда, и потом он завял уже немножко.

Но кружева оставил парижской кукле, современнице Жорж Занд.

— Это кукла для Беллы.

У него была мания делать подарки, он просто становился одержимым на почве даров, отбиваться от них было дьявольски трудно.

Мы уже прощались — на этот раз навсегда, — а он носился по дому ураганом, что-то срывая со стен, что-то вытаскивая из шкафов, совал банки с вареньем, кузнецовскую чайницу и картину.

— Что хочешь? Как это: ничего?! Прошу — скажи.

Почему я не сказала, что хочу вертушку с балкона — мечту нашей внучки, именно вертушку она просила привезти?

Еще нас просили привезти свежий инжир, о чем мы сказали, и племянник Гарик был тотчас отправлен на базар, а мы уже не успевали. Предъявляя авиабилеты, мы едва убедили Сергея отпустить нас, а он махал сверху, из крепости, пантомимой показывая, что Гарик не подведет.

Они позвонили в Москву на другой вечер. Оказалось, что Гарик принес злосчастный инжир, что Сергей выкладывал его в корзинку, декорируя листьями, что Гарик мчался как угорелый по летному полю и молил последнего пассажира найти нас и передать.

Почему я не сказала, что корзину нам передали?

Отчаянье Сергея было безмерным, он поклялся найти мерзавца, сожравшего его подарок.

Конечно, он тут же забыл о мести. Но в каком-то укромном углу его непредсказуемой души водилась справедливость, и он ее стерег, потому что вообще был повелителем в этом мире.

В этом мире что-то меняется, когда уходят его повелители, а они именно таковы — и больше никакие.

Нелепая мысль жужжит надо мной, как осенняя муха: беды пришли в благословенный Тбилиси, когда его не стало.

# МЕЧТА НЕ СБЫТОЧНАЯ В ВЕКЕ

**«Исповедь» —  
фильм-элегия!  
Фильм-память,  
вознесенная в  
образ! Образ  
печалей!  
Доброты!  
Надежд!  
Фильм снимет  
только  
режиссер,  
рожденный в  
1924 году в  
городе  
Тифлисе!**

**Сергей  
Параджанов,  
1969 г.**



*В мае 1989 года Параджанов приступил наконец к съемкам фильма, замысел которого вынашивал долгие годы. Сценарий был в основном написан в 1969 году. Дописывался в последующие годы. Ностальгия по городу детства, тоска по ушедшим родителям и близким со временем лишь усилилась, и желание снять об этом фильм выросло в неистребимую, жгучую потребность.  
1969... Тяжелый для художника год.*



*«...У меня было двустороннее воспаление легких. Я умирал в больнице и просил врача продлить мне жизнь хоть на шесть дней. За эти несколько дней я и написал сценарий... В нем идет речь о моем детстве. Когда Тбилиси разросся, то старые кладбища стали частью города. И тогда наше светлое, ясное, солнечное правительство решило убрать кладбища и сделать из них парки культуры, то есть деревья, аллеи оставить, а могилы, надгробья убрать. Приезжают бульдозеры и уничтожают кладбище. Тогда ко мне в дом приходят духи — мои предки, потому что они стали бездомными. Мой дед и моя бабка, и та женщина, которая сшила мне первую рубашку, тот мужчина, который первый искупал меня в турецкой бане... В конце я умираю у них на руках, и они — мои предки — меня хоронят. Из всех моих ненаписанных и непоставленных сценариев я хотел бы поставить сначала этот...»*

*И все-таки через 20 лет Параджанов приступил к съемкам своего фильма. Через 2 съемочных дня работа была приостановлена из-за болезни Параджанова. Еще через два года Параджанова не стало...*

**Кора Церетели**

## СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ ИСПОВЕДЬ

**В** 1966 году я возвратился в Тбилиси, возвратился после двадцати лет разлуки в город, в котором родился в 1924-м.

Горы уже не росли... они остановились...

В поисках гробов, рождение которых видел, пошел на Старо-Верийское кладбище...

Старо-Верийское кладбище закрыто навсегда. Старо-Верийское кладбище перестраивается в парк культуры и отдыха.

«Исповедь» — это сценарий фильма, сложенный из цепочки воспоминаний, которые проснулись в моей памяти перед закрытыми воротами кладбища...

Аукцион в Тбилиси!  
Последний аукцион!  
Я представляю его так.

Металлический ангар. Речные лилии, литые из чугуна, заржавели. Заржавели русалки, смотрящие в профиль.

Заржавели русалки, разговаривающие среди тростников с заржавевшими лилиями.

Заржавели столбы, подпирающие иллюзию речного дна... на потолке. Потолок — с выбитыми матовыми стеклами, голубыми, розовыми. Осколки стекла давно упали на шахматный холодный пол и сверкают полудрагоценными камнями.

Полумрак, тишина.

Последний аукцион!.. под заржавевшим сквозняком, среди меланхолических русалок.

Последний аукцион!

Последняя надежда героя фильма.

Героя — ищущего истину.

Ищущего истину на аукционе?



Коллаж к фильму



В пустом зале двое: герой фильма — Человек и аукционер.

Аукционер с головой-черепом предлагает товар.

Старая машинка «Зингер», ручная, с круглой шпулкой.

Удар молотка. Продано!

Фата, из белого тюля с венчиком восковых цветов... Фата принадлежит «невесте бога».

Удар молотка. Продано!

Шуба-кlesh из крашеного французского выхуоля, с шалевым воротником. Шубе сто лет. Мех гнилой... В придачу белая шляпа и фетровые белые боты, принадлежавшие мадам Параджановой. Куртан<sup>1</sup> курдский... Свежий! Куртан, принадлежавший Шаро!

Удар молотка. Продано!

Белый осел из Эчмиадзина и лиловый милиционер. Осел-альбинос с хурджином свежей зелени. Но его не пускает в город лиловый милиционер.

Почему? Почему не пускает?

Удар молотка. Продано!

Лечаки и чихги-копи<sup>2</sup>, принадлежавшие бабушке Человека, Елизавете Аветисовне.

Продано!

Чистый холст в позолоченной раме и юная медсестра в белом халате с обнаженными свежими грудями.

Чистый холст подписан художником Бажбеук-Меликяном.

Продано.

Прононс — редчайший, французский!

Прононс принадлежит мадам Жермен. Ей девяносто лет. Она еще жива. Она ищет покупателя на прононс. Он очень дорого стоит. Прононс мадам Жермен!

Продано!

Ключи от Монастыря Богородицы в селеции Бжни Армянской ССР. Ключи заржавели. Они в банке с керосином.

Продано.

Золотой волос, словно с оживших полотен Боттичелли! Но волос реальный, он из косы Светланы Щербатюк<sup>3</sup>... Светлана Щербатюк — возлюбленная Человека. Человек обнаружил его во рту спустя десять лет после развода.

Куплено.

Рояль... Венский, прямострунка, фирмы «Херман Мауэр», его настраивали в Вене!

Удар молотка.

Тишина... Тишина...

Удар молотка по роялю.

Из-под рояля сыплется желтая пыль.

Человек знает: это от шашели.

Человек не покупает рояль.

Нет! Человек не купит рояль с шашелью!

Удар молотка по роялю. Еще один удар.

Рояль снимается с аукциона.

Сняты последние матовые стекла, застрявшие среди камышей и лилий на потолке. Распался рояль «Херман Мауэр», и сама по себе встала вертикально золотая дека рояля. Чрево рояля, вставшее вертикально, похоже на арфу.

Кладбище арф!.. Арфы на кладбище,— подумал Человек.

Куплено — продано... Всё продано!

Аукционер украинкой снимает объявление «Последний аукцион», сует молоток под сюртук, поправляет бабочку и на цыпочках, извиняясь, уходит в темноту, отсвечивая голым черепом.

Герой фильма уходит, навьюченный покупками с аукциона.

Упала с потолка смотрящая в профиль русалка, издав чугунный крик.

Резко поворачивается удирающий аукционист, мелькнув пустыми глазами.

Восхищенно смотрит на странное помещение счастливый обладатель предметов и душ, герой фильма — Человек, ищущий истину.

Человек вышел в город. Было жарко. Человек шел и нес, как на параде, купленное на аукционе.

За ним шла медсестра с обнаженными грудями, а лиловый милиционер грудью подталкивал белого осла со свежей зеленью.

Лиловый милиционер исполнял распоряжение горсовета.

Девяностолетняя мадам Жермен с прононсом и золотое чрево рояля, похожее на арфу, плыли по улицам Тбилиси.

Не смешным, не странным казалось это шествие среди дневного города, залитого солнцем.

В конце улицы возвышался памятник революционеру, похожему на римского воина. Памятник резко смотрел вправо, подпирая плечом подбородок.

В городском (бывшем Александровском) парке стояли сухие фонтаны. Беседка, в которой когда-то до революции, как говорила мама, играл военный оркестр, была пуста и грязна.

На садовых скамейках сидели седые старые женщины в шубах под котик и черных шифоновых шарфах. Черные вискозные чулки, лаковые туфли на каблуках-кубиках и полные корзины с фруктами и мясом (они возвращались с базара).

Парило солнце, и женщины, разморенные

<sup>1</sup> Ковровое седло для переноски тяжести. Употреблялось курдами-грузчиками.

<sup>2</sup> Национальный женский головной убор.

<sup>3</sup> Светлана Щербатюк — бывшая жена Параджанова.

шубами, дремали. Ветер колыхал тонкие черные вуали, то открывая, то закрывая седые головы.

Человек стоял под памятником революционеру и смотрел в сад на женщин в траурных нарядах.

Женщины спали.

Медленно, на металлических тросах, как в цирке, скользили военные музыканты с золотыми трубами.

За плечами у музыкантов, как у бабочек на карнавале, были укреплены крылья из накрахмаленной марли.

Музыканты расселись в беседке и стали играть марш (тот, который напевала мама).

Дворники включили шланги и начали поливать песок.

По дорожкам, пропитанным водой, шли офицеры: прапорщики, кадеты, подпрапорщики, интенданты с адъютантами и без адъютантов.

Скрипели сапоги, звенели шпоры, звякали шпаги.

Седые женщины спали, резко запрокинув головы. Седые женщины чему-то улыбались.

В саду вокруг сухого фонтана сидели старики-пенсионеры, они тоже спали.

Играл тот же марш.

Те же дворники под теми же номерами поливали дорожки.

Только по дорожкам парка, обходя красные лужицы, на цыпочках шли гимназистки 3-й женской гимназии Онанова, заведения Святой Нины, гимназистки Левандовской гимназии и балерины школы Перини. Они, в кружевах, с камнями, в шляпках мадам Левинсон и мадам Бауэр, подходили к одиноким спящим старикам-вдовцам с четками в руках и бросали кружевную тень от своих зонтов на лица стариков. Старики резко запрокидывали головы, казалось, они стонали...

Кадеты шли рядом с юными гимназистками из Левандовской школы.

Прапорщики догоняли балерин школы Перини.

Прапорщики улыбались!

Улыбались гимназистки из заведения Святой Нины!

Играл марш!.. Били фонтаны...

Дворники поливали цветы.

Осыпались белые розы. В красных лужах от песка отражалось солнце. На красный влажный песок кто-то клал перевернутые тарелки. К ним тянулись, желая наступить на тарелки, офицерские сапоги со шпорами.

К тарелкам тянулись лайковые белые пантуфли. К тарелкам тянулись женские ножки в балетных пуантах.

Мужские сапоги с хрустом наступали на тарелку. Ножки в балетных пуантах добивали ее. Крошили на мелкие куски.

Разбивались тарелки.

Просыпались женщины в черных шубах, подтягивали чулки и спешили по домам.

Пионеры распахивали глаза и удивленно смотрели на погоны и ордена, кем-то пришитые к выгоревшим на солнце драповым пальто, с упреком и обидой смотрели на Человека, стоящего у памятника революционеру, в окружении вещей, купленных на аукционе.

По главному проспекту города шли потоки людей, в тишине передвигались все виды городского транспорта.

Транспорт в Тбилиси, словно по приказу свыше, оглох и онемел.

Тбилиси — некогда Тифлис — отличается от всех других городов предрассудками.

Если курица кричит петухом — это к смерти.

Если зимой белым цветом зацветет вишня — это к смерти.

Тетя Аничка, женщина с зобом, в платье из черного сатина, догоняла черную наседку, прокричавшую петухом.

На белом снегу осталось красное пятно, над которым колыхался и взлетал черный пух. Потом тетя Аничка схватила топор.

На балконах стояли соседи и требовали срубить вишню. Вишня зацвела зимой белым цветом.

Муж тети Анички, дядя Васо, прокуренный портной, пытался выхватить у нее топор. Валились, издавая странные звуки, оцинкованные тазы. Аничка проклинала, плакала, захлебывалась в слезах, вырывалась из рук портного Васо.

Из-за прокопченных занавесок выглядывала Вера, младшая дочь портного.

Вера — ее то и дело увозили в Абастуман<sup>1</sup>. В школу она ходила редко. Вера была высокая, красивая, выше всех в классе, с синими глубокими тенями под глазами. Вера, в лаковых плоских туфлях, с ранцем за спиной, появлялась на улице, и ее долго провожал тревожный взгляд Анички, матери Веры. Дети в школе упорно распространяли небылицу, будто бы Вера съела собаку<sup>2</sup>. В классе Вера сидела за одинарной партой. Черный большой репсовый бант подчеркивал ее бледность и красоту.

Сейчас Вера выглядывала из окна. Прокопченные кружевные занавески колыхались.

Аничка рубила ствол вишни, проклинала ее, плакала.

<sup>1</sup> Горный курорт Грузии, где лечат туберкулез.

<sup>2</sup> Существовало поверье, что собачье мясо излечивает туберкулез.





Кадр из фильма. В роли матери — Софико Чиаурели

Крона вишни рухнула, завалив деревянный забор.

Тесно стоящим дворам срубленная вишня добавила пространства. Стало легче дышать. Все сразу оголилось и стало неподвижным. Черную зарезанную курицу никто не трогал. Ее обнюживали собаки, кто-то бросал в них

поленья, и собаки с визгом убегали от черной курицы, прокричавшей петухом.

Все чего-то ждали. В Тбилиси, городе пред-  
рассудков, предрассудки подкрепляются фак-  
тами...

Умерла Вера! Аничка то и дело теряла соз-  
нание.



Жвания, лучший фотограф города, ретушировал портрет покойницы. Вера смотрела прямо на нас, за ней, как два черных крыла, торчал плоский бант. Синие тени под глазами ретушер убрал и добавил улыбку, которую никто не видел на лице живой Веры. Улыбка на лице Веры появилась и в гробу.

Сестры Анички в черном шли к нашему дому. Мама была удивлена и огорчена. Жен-

щины в трауре вошли в наш дом. Мама вынесла белый шелковый тюль (занавески), отмерила длину по росту Веры, добавила на оборку надо лбом, отрезала острыми ножницами, пробормотав: «швидобаши» («на счастье»)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> По-грузински.





Предлагали деньги. Мама отказалась решительно. Женщины в черном запахнули платки, и за черными платками исчезла белая фата.

Все молча раскачивались на месте.

Мама убрала со стола остаток фаты и тайно от всех перекрестилась. Потом уложила меня на тахту, закрепила иголку в ковер и что-то начала причитать. Мама подчеркнуто зевала, заражая зевотой меня. Я послушно зевал и не хотел спать.

Утром мама, хорошо одетая, источая запах

пудры и духов, заперла меня на ключ и пошла хоронить Веру.

Во дворах толпился народ, все пропускали солидных дам и венки в помещение, носили стулья, поднимая их над головой, венки вешали на заборах, на ствол срубленной вишни, потом снимали и давали девочкам в плоских лаковых туфлях, с плоскими бантами на затылках. Девочек выстраивали парами, объединяли венками. Я влезал все выше на окно, пытаясь увидеть происходящее. Все копоши-



лось в тишине: носили стулья и венки, переставляли крышку гроба от одной стены к другой. Потом зазвенели стекла в галереях, раздалась духовная музыка. Над черной толпой несли Веру в образе «невесты бога».

Вера, убранная нашей фатой, улыбалась. Черный бант заменили белым. Кто-то закрывал двери, кто-то бил три раза гробом о дверь, кто-то кричал: «Шени пехи мдзиме икос» («пусть твоя нога будет тяжелой»)⁴...

⁴ То же.

Тучные, хорошо одетые дамы прижимали клеши своих юбок ридикюлями, брали друг друга под руки и пытались всей толпой идти в ногу под Бетховена.

В стороне от дам, с непокрытыми головами, шли вокруг Васо тучные мужчины в короткотовых брюках (Васо был брючник).

Аничка в амфитеатре дворов и балконов еще раз потеряла сознание. Кто-то давал ей нюхать нашатырь.

Белая фата кольхалась.

Солнце отражалось в стекле отретушированного портрета Веры. «Невеста бога» улыбалась.

Это все, что я помню о Вере.

Первая моя трагедия: «Похороны кружев, улыбка ретушера. И запах духов и пудры мамы».

Да... Это было ранней весной.

Тбилиси, апрель 1941 года.

На горе Мтацминда осыпается поток камней, камни бьются о стволы цветущего миндаля. Миндаль не осыпается.

Тетя Сиран!

Тетя Сиран... Она всю жизнь носила только черное.

И всю жизнь шила, шила только рубашки.

Когда я еще учился в 7-м «А», она сшила мне первую рубашку из голубой полосатой вискозы. Вискоза вытекала из-под пояса. Я снова запихивал ее за пояс. Она снова вытекала.

Сегодня, когда я кончаю 10-й «А», тетя Сиран всему нашему классу шьет белые сорочки из белого шелкового полотна. И мы рыщем по всем шкафам и комодам, чтобы набрать шесть перламутровых пуговиц (обязательно перламутровых!). И долго обсуждаем, какие мы купим цветы для выпускного вечера. И все решаем: только белые георгины. И покупаем белые махровые георгины с перламутровыми бутонами, но почему-то этим апрельским утром георгины мокрые. И мы все идем в белых рубашках из шелкового полотна... идем хоронить тетю Сиран.

Тетя Сиран — мы не узнаём ее — сегодня она, вся в белом, сидит в белом гробу... И только черная машинка со стертой надписью «Зингер» на ее коленях. И она, закрыв глаза, строчит недошитую рубашку.

И только тогда я осознаю, что я по пояс голый, и только белые георгины и липкие бутоны бьются о мое воспаленное тело.

А Юра Лучинян! Староста класса... Предатель! Обмеряет меня, обмеряет шею и душит меня сантиметром, а я изо всех сил пытаюсь растянуть петлю; меряет длину рукава и, выворачивая, переламывает мне руку в локте, прикидывает длину рубашки и сообщает цифры в гроб тете Сиран...

А тетя Сиран тупыми ножницами пытается заточить карандаш и на огрызке газеты записывает длинное многозначное число, в котором одна она сможет разобраться, где размер шеи, длина руки, переломанной в локте, и нужна ли кокетка на спине.

Все мы в белом, а я по пояс голый, проходим по городу, неся на руках тетю Сиран к ее

вырытой могиле... в белом песке на Верийском кладбище.

И только я решаюсь тихонько, воровски забрать у тети Сиран машинку со стертой надписью «Зингер» и моей недошитой рубашкой.

Медленно, бесшумно осыпаются белые пески.

Но почему уходят мои друзья, не дождавшись, пока заруют могилу? Уходят в белых рубашках, с букетами белых георгин, уходят почему-то тем шагом «всеобуч», которому нас обучали на верхнем дворе Федосеевской горы.

Они понимают мое недоумение. И все разворачиваются лицом ко мне, должно быть, чтобы я запомнил каждого.

Они в белых шелковых рубашках, с букетами мокрых георгин...

Они как по команде отрывают от груди приклад букета, и цветы оставляют на сердце каждого мокрое пятно. И через мокрый белый шелк просвечивает сосок, похожий на мишень.

И так, спиной, они удаляются к горизонту, и их поглощают голубые облака... И с тех пор я их больше не увижу.

Я стою над холмом могилы тети Сиран.

Кто-то в черном вонзает в изголовье могилы длинный черный металлический метр с надписью «Сиран».

А я вырываю металлический метр и кладу в изголовье черную машинку «Зингер».

И машинку медленно затягивают пески, и они ее вот-вот поглотят. Я хватаю неожиданно появившуюся цепь и привязываю машинку к рядом стоящей, уже заржавевшей решетке. Но машинка продолжает тонуть, а я пытаюсь вырвать из-под иглы мою недошитую рубашку.

И, ломая иглу, мне удастся это сделать!..

Вот она, моя рубашка!

Белый квадрат с головолкомкой строчек всех цветов...

Что это?!

Это та белая рубашка, о которой я мечтаю всю жизнь!

Или это покойная тетя Сиран, неизвестно почему носившая только черное, всю свою жизнь искала... сорочку?

Крашенный французский выхухоль называется котиком. Мой папа в 1920 году купил для мамы шубу-кlesh у Сейланова, владельца табачной фабрики.

Купив шубу, папа всю жизнь упрекал ею маму: «Охрат дагирчес!» («Чего мне это стоило!»)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Точный перевод: на беду да на горе тебе ее носить (груз).

Мама же надела шубу всего два раза: в первый — когда пошел снег в Тбилиси, а в другой — на похороны отца.

Остальное время шубу от обысков прятали у соседей, в чуланах или проветривали на чердаке.

Однажды ночью отец вышел во двор и быстро вернулся в спальню. Он будил маму: «Товли модис» («Снег идет»). И мама в длинной батистовой рубашке, полусонная, встала с кровати, машинально вынула шубу, надела на ночную сорочку и как сомнамбула вышла на кухню, открыла дверь на чердак и медленно, зевая, поднялась по стремянке на крышу.

Отец вернулся в постель и вскоре захрапел. А я от испуга съехался на подушке, не понимая, что произошло.

Мама же ночью стояла под снегом на крыше, чтобы промок мех.

Утром я увидел мокрую шубу на кухне. Мне показалось, что ее всю ночь жевали буйволы.

«Охрат дагирчес» свершилось — папа умер.

Соседки требовали, чтобы мама на похороны надела шубу (из любопытства: сравнить — котик или под котик?)

Мама машинально надела шубу и вышла за гробом отца на улицу... Уцелела только спинка шубы, потрескались рукава, на груди просматривалась подшитая основа меха. Все наши соседки, тети, даже толстая Рыжуха и ее дочери были в черных шубах под котик (униформа всех вдов в Тбилиси).

А еще молодым мой папа проснулся в опере от трагедии юного Вертера. Юный Вертер стрелял себе в висок.

Давид Бадридзе, игравший Вертера, упал убитый. Зал был в шоке. Мама облегченно вздохнула: папа прекратил храпеть.

Бывшая жена Бадридзе в окружении жен Андгуладзе<sup>2</sup> и профессора Вронского<sup>3</sup> рыдала. Слезы бывшей жены кто-то увидел даже с галерки. Бывшая жена Бадридзе, правда, плакала всегда, даже когда Бадридзе в роли герцога в шестнадцатый раз, уже на грузинском языке, пел «Сердце красавиц...»

Обычно только в опере маме жали туфли. Мама в антракте проклинала сапожника Сако. А папа требовал, чтобы мама не смела смотреть в ложу бельэтажа.

Потом фаэтон подъезжал к дому. Мама раздевалась, снимала искусственные крупные жемчужные серьги и переодевалась в новое платье-жерси, вдевала настоящие бриллиантовые серьги, кольца. Папа закрывал плотнее ставни. Зажигал люстру, смотрел на маму, пил вино...

Папа засыпал и храпел, не допив вино. Мама раздевала отца и укладывала на тахту,



Коллаж к фильму. «Нам сказали: повесьте портрет Ленина и вас будут больше уважать»

садилась, потом ложилась рядом с ним, сперва разглядывала себя и драгоценности, как Маргарита в опере «Фауст», потом засыпала, забыв погасить люстру.

Мама, кстати говоря, меньше всего боялась обысков.

Больше всего она боялась сального пятна на стене, на обоях, в том месте, куда прислонялся к ним отец.

Обычно она спешила подложить ему под голову «курд балиши» (думку). Кстати, эта подушка ушла с папой в могилу.

Иногда маме кажется, что деньги, которые он прятал от всех, были именно в этой подушке, ведь их потом нигде не нашли.

Мама злилась и сама себе говорила: «чад-заглдес», «джандабас» («к чертовой матери»).

И после переключки обоев и ремонта квартиры, который мы сделали, похоронив отца, когда затопили дровами печку, на стене проступило старое сальное пятно.

Телеграмма сообщает о смерти. Лечу в Тбилиси — лету два часа. Столько же времени нужно, чтобы добраться до центра.

<sup>2</sup> Известный оперный певец.

<sup>3</sup> Профессор Тбилисской консерватории.



В городе сумасшедшее движение. Горы уже не росли... они остановились... улицы сузились, перекрыты перекрестки; запрещены звуковые сигналы (их заменяет ругань шоферов). Рассматриваю земляков. Тут, как всегда, свой лад во всем — в походке, плоских кепи... Однако думаю об одном — о кладбищах.

Куда девались кресты и печальные архангелы из алгетского камня, стоявшие над могилами предков? Они навсегда остались на закрытых кладбищах города. И печалишься, когда однажды открытка из горсовета сообщает, что кладбище будет переоборудовано в парк культуры и отдыха, а надгробья облицуют город.

А это новое кладбище над обрывом в Сабуртало...

Кажется, что могилы продаются в магазинах подарков.

Я стою над могилой отца. Она на новом участке.

Земля, перепаханная и смешавшаяся с осколками зеленого стекла от бутылок с вином, по обычаю, разбитых у изголовья, где и лежит зеленая отцовская шляпа. На могиле рядом — плоская кепка, дальше на могиле милиционера — милицейская фуражка.

Я долго стоял над могилой отца, будучи сам уже отцом, упрекая его в том, что он лишил меня детства.

Подул сильный ветер с Сабуртало, он сорвал с меня шляпу и шляпу с могилы отца, кепку и милицейскую фуражку, и все они, разом подхваченные ветром, полетели вниз к обрыву.

Я, бегущий в надежде поймать свою шляпу, кажусь смешным со стороны.

Я догоняю ее и возвращаюсь к могиле.

Детство!..

Что это?.. Почему я не запомнил его?..

Почему я упрекаю всех и даже усопших?..

Ветры Сабуртало! Должно быть, они не только срывают шляпы с могил — они восстанавливают время.

Вот оно...

Длинные коридоры Метехского замка, превращенного в тюрьму. Мне разрешают свидание с осужденным отцом.

Кричат осетины — рябые и рыжие надзиратели.

За решеткой стоит человек, которого я упрекал.

Он улыбается мне и высоко поднимает над головой лошадку. Печального коня моего детства<sup>1</sup>.

Боттичелли, Лукас Кранах, Доменико Венециано...

Волосы на ветру... золото на рапиде...

Потом волосы на моей подушке...

Они текут, затекают... запутываются и сами на рапиде распутываются...

Потом предательски скользят и ускользают... навсегда...

Спустя десять лет волос во рту...

Человек встает, ищет на голой стене гвоздь... наматывает волос, наматывает...

Утро — голая стена, торчит голый гвоздь.

Из трех суток, которые меня приближали к городу, я запомнил только одни — последние...

За окнами Западная Грузия. Я пулей вылетел из вагона, пересек пути и взобрался вверх по железному столбу.

Гудки поездов, удары колокола, свистки и угрозы конvoja, сопровождающего заключенных. По свистку заключенные резко присели на корточки — все это фиксируется мной, но меня не касается.

Большая, голубая, благоухающая магнолия в руках моей жены. Она впервые видит море, магнолии.

Впервые к ней тянется девочка-грузинка и жадно сосет через блузку грудь. Женщина в черном прозрачном платке отрывает девочку от ее груди, извиняется: девочка — искусственница.

Грудь жены... Сквозняки вагона, запах магнолий, плач девочки, лиловые волы на серой земле, горные реки... бетонные памятники вождю, тщательно выкрашенные то бронзой, то серебром, — все это приближает меня к моему детству, к моей родине. Высокие холмы, увенчанные гением народа, — усыпальницы царей и царевичей... и снова алюминиевые вожди, густо обставленные увядшими пальмами...

Потом все остановилось... Поезд опоздал. Вот она — родина! Мама в белом в большой луже около киоска с водой...

Это ее победа. Розы в росе от газированной воды... Они в руках Светланы...

Шуршит тафта, сияет камей... Мама дожила до этого. Она гордится и объясняет всем, что это не иностранка, а ее невестка, что это я, ее сын, привез в подарок «Потерянный и возвращенный рай» Мильтона с иллюстрациями Доре.

Но тяжелая Библия мешает ей, она не может догнать нас, не может сойти с железнодорожных путей, не может идти рядом.

Мама, что ты? Всего лишь опоздал поезд!

Я все время искал и нашел... Родина, я счастлив...

Видишь, я приехал не один... Я приехал поразить тебя... Смотри!

Мама не впускает на порог... Обычай. Раз-

<sup>1</sup> По свидетельству Параджанова, отец в тюрьме сделал ему игрушку — коня из жеваного хлеба.

бить тарелку. Но где очки? Где тарелка — та, которую можно разбить? Нет, не эта... Эту можно.

Тарелку разбиваю я...

На этом самом месте первый разбил тарелку в 1917 году папа...

Мама счастлива...

Я привез Ее издалека...

По утрам Она расчесывала свои золотые волосы, а я, разбуженный и сонный, еле различал Ее контуры в первых лучах солнца. Вычесанный слиток золота небрежно наматывался на палец, снимался с пальца и летел в колодезь моего трехэтажного дома. Жильцы провозжали его взглядом. Слиток медленно опускался на ладонь дворничихи-айсорки в пестром атласном наряде. Айсорке нравилось... волосы можно сдать в «торгсин».

Потом Она садилась за рояль, небрежно сняв с пальца золотой обруч, в котором символ верности и мои долги, и пела «Аве Марию».

Мама открывала окна, поднимала крышку рояля, и в крышке вспыхивало золотое дно. На черной поверхности рояля лежало желтое счастье. Я жмурился от солнца. Мама гладила... Фальшивила «Аве Мария»...

Однажды мама услышала, как в звуках рояля прозвучал удар металла о металл. И с тех пор по утрам не пели «Аве Марию».

Пропало кольцо. Мама считала, что к несчастью.

По утрам Она со свечой подходила к желтому нутру рояля и долго всматривалась в натянутые струны в надежде увидеть золотой обруч.

Потом свершилось несчастье.

Я снова один... Да!.. Мама продает рояль. С криками и руганью пришли курды, отвинтили ножки и поставили рояль набок. Мама снова услышала удар металла о металл.

Она возвращает задаток.

Ночью мама подходит к золотому дну и долго вглядывается в натянутые струны в надежде найти причину моего несчастья...

Похороны куртана...

Куртан сотворен из прессованной соломы, крученых веревок и лоскутов карабахского ковра. Куртан, принадлежавший Шаро.

Кто помнит... Ниже консерватории, на углу Лагидзе, дремали, прислонившись к стенам, курды с куртанами. Но появился клиент, и куртаны прыгали на спинах Ене, Квазе, Шаро, и пестрая толпа курдов несла по Тбилиси вверх и вниз по Бесики странные, похожие на лекало, мраморные умывальники, варшавские зеркальные шкафы плыли по улицам — и в них отражались верхние этажи домов и про- вода.

Сегодня хоронят куртан.

Куртан Шаро...

Прохожие-христиане великодушно всматриваются в темноту подвала — оттуда пахнет мертвым куртаном.

В гробу-носилках лежит куртан, его оплакивают молча.

Все торопятся похоронить куртан (обычай мусульман).

Потом носилки с куртаном — головой вперед — бегом несут по Кипиановской вниз... Все очень торопятся похоронить куртан... Шаро, Ене, Квазе бегут вниз по Арсена, Бесики и резко останавливаются на углу Лагидзе.

Свистит милиционер. Ене, Квазе, Шаро в знак протеста хватают свои куртаны, размахивают над головой и бьют, бьют друг друга по голове, сбивают с ног, кричат: «Куро варе, табике...»<sup>1</sup> и снова бьют друг друга по спинам, животам...

Кричат, падают, подкошенные тяжестью куртанов, валяются на тротуарах, хватаясь за животы. Милиционеры перехватывают гроб-носилки с куртаном и, естественно, разворачивают ногами вперед. Курды, оскорбленные, разворачивают гроб головой вперед и бегут против движения машин.

Побитые курды встают на колени. Милиционеры выхватывают у них куртаны и сваливают их в кузовы грузовиков.

Человек с мешком и обручем медленно подкрадывается к собаке в мусорной яме. Летит мешок с обручем, накрывая собаку. Потом собаку бросают в ящик на грузовой машине.

Отъезжают машины с куртанами.

Отъезжает машина с захваченными собаками.

Курды бегут по проспекту за пустым гробом-носилками, в котором уже нет куртана Шаро!

Жены Ене, Квазе, жена Шаро, босоногая в шелках-атласах, из которых нам в детстве стегали одеяла, бегут вниз по Чавчавадзе, подметая шелковыми подолами улицу. Рвут себе груди, кричат:

— Ене!.. Квазе!.. Шаро!..

В установившейся в городе тишине только свистят милиционеры.

Сейчас на улице Лагидзе, чуть ниже консерватории, тишина.

Звенят только пустые бутылки из-под фруктовых вод Лагидзе.

Внуки и правнуки «куртана» носят болоньи и дакрон, кушают хачапури и запивают розовой водой, как и все в Тбилиси.

И даже сами курды не знают, где в Тбилиси памятник куртану.

<sup>1</sup> Ругательства на курдском языке.



Эскиз к фильму

Мадам Жермен!

Мадам Жермен родилась на юге Франции. Сейчас ей девяносто лет. Какие же должны были произойти социальные потрясения за последние девяносто лет, если Жермен и ее сестра Жасмен провели детство в Кисловодске на водах и не смогли вернуться в Тулузу...

И какие социальные крушения вынудили мадам все уникальные вещи, полученные ею в наследство от отца-гувернера, отдать в чужие руки?

Севрский фарфор, дельфтский фаянс, венера, кружева, бижутерия — все это в короткое время перекочевало в частные коллекции дантистов, академиков, артельщиков, кинорежиссеров и просто комиссионеров.

Мадам Жермен великодушно выслушивает очередного вымогателя, желающего подешевле заполучить подарок, то якобы к юбилею академика, то для мамы.

Сколько вещей приобрела киностудия для историко-революционных фильмов, о создании которых объявлялось населению по телевидению с просьбой предлагать киностудии манжеты, манишки, перья, стеклярус, лорнеты и зонты.

Мадам Жермен великодушно отмыкала чемоданы, саквояжи времен «Титаника» для фильма «Ошибка Оноре». Все пахло перепревшими кружевами и желтыми манишками. Механизмы отказывали, и потому не подпрыгивали цилиндры. Фраки сожрала моль. Эти вещи мадам преподносила в дар киностудии для фильма о Бальзаке, в придачу к мантии и шляпам из тюльмалина...

Мадам Жермен обладала чем-то большим, чем саквояжи и несессеры времен «Титаника».

Что же было еще у мадам Жермен, кроме любимой младшей сестры в Бельгии, которая посылает ей фотографии атомных установок на Брюссельской выставке и тисненые бархатные горы на открытках?

Опустели полки изысканных горок мадам Жермен!

Опустели полки а антикварных лавках столичных городов.

Так называемые коллекционеры сконцентрировали в частных коллекциях все, что было маркировано и маркетинговано...

Коллекционеры-дантисты кинулись сперва на русские иконы, но запутались в школах и веках и прогорели...

Потом дантисты-эстеты бросились на монеты. Им нравилось называть себя — дантист-нумизмат. Нумизматы тоже запутались, не хватало знаний, чтобы с лупой и справочником в руках отличить драхму от тетрадрахмы. И снова разорение.

Всего лучше было ездить в пригородных поездах, узнавши затерянные в памяти адреса старух, влезать к ним в доверие и шепотом выпрашивать о монетах желтого цвета.

Тут коллекционерам надо было узнавать только профиль коронованной особы, и убитки нумизматов возмещались.

Мадам Жермен, ваш покупатель сегодня носится по пустым антикварным лавкам городов. Ваш покупатель будет счастлив, если пополнит свою коллекцию тарелкой, составленной из двух разных половин.

Ювелирные магазины украшают свои витрины бутылками шампанского с розовыми и голубыми бантами, в которые укрепляется лотерейный билет стоимостью 30 копеек...

На черном бархате витрин лежит только наименование металла — золото, серебро, — сделанное тушью на глянцевого фотобумаге. И толпы женщин сутками простаивают, наклонившись над пустым бархатом, освещенным дневным светом. А юная продавщица в коротком платье, нацепив десятки гирлянд опаловых бус, ходит по ту сторону витрины, как манекенщица по треку, сверкая Рождеством, и пытается выжать дневной план из растерянного покупателя.

Покупателю предлагают янтарь. Необходимо найти комара в смоле янтаря или эдельвейс, но такой янтарь оправляют в золото и продают на сертификаты.

Но что Вы предлагаете приобрести мне у Вас, мадам Жермен? Мадам, я пришел к Вам после всех, после дантистов, нумизматов, художников кино.

Что? Неужели последнюю камею, которую Вы носите на хлорвиниловом переднике, или мертвые жемчужины в ушах?..

Вы предлагаете мне сделать удивительное приобретение. Вам жалко унести этот дар с собой...

Мадам Жермен, Вы ждете меня!

Я покупаю Ваш французский прононс!

Я куплю его как уникальную находку, чтобы потом перепродать или подарить дилетанту...

Мне лично прононс не нужен!

Прононс не нужен человеку, объясняющемуся с помощью словаря.

Мадам Жермен, Вы свободны... Вы продали нам все.

В благодарность я оплачиваю Вашу камею с профилем Надежды, закрепленную на хлорвиниловом переднике, и, прошу Вас, не снимайте сгнившие жемчужины с ушей, потому что и на том свете уши могут зарастить.

И последнее, мадам Жермен! Прошу Вас, перед смертью не любуйтесь открытками с фотоизображениями атомных установок в Брюсселе, а смотрите лучше на розу, которую





нарисовал на шелку еще задолго до Вашего рождения китаец.

Осень 1966 года.

Бжни — селение в сорока километрах от Еревана.

Монастырь Богородицы, IX век... Шедевр... Разрушенные крепостные стены. Проектная организация пытается пристроить к руинам церкви кафе «Интурист».

Посещая Бжни, ощущаешь, что армяне забывают о своей силе. Камень!..

Если вы любите искусство армян, не ходите на современное кладбище в Бжни.

Оставшиеся в живых армяне венчают могилы родных металлом. Металл вьется спиралью, завивается перманентом и сваривается автогеном в ажурные киоски, в которых можно продавать ювелирные изделия даже ночью, потому что в киосках горит «дневной свет».

Последняя трапеза.

Я снова в Бжни. Осень 1966 года.

В соборе темно. Алтарный занавес теряет цвет и рисунок и превращается в белое покрывало, которое отделяет меня от алтаря.

Наконец, я вижу нового священника. Священник недавно окончил шестимесячные курсы при Эчмиадзинском кафедральном соборе.

Он мне ровесник.

Он квадратный, с рыжей бородой, со спортивным фибровым чемоданом.

Священник не имеет характера. Да, точно. Не имеет характера!

Священник живет в горах, но ночью, уходя, оставляет ключи от собора Богородицы своей сестре. У сестры священника четверо детей, все мальчики, которым в школе машинкой неровно остригли волосы. Я смотрю на детей, и мне тоже холодно. В комнате сестры сыро, нет мебели, только три лавки и посудный шкаф, неровно выкрашенный красной эмалевой краской. Так красят шкаф только женщины.

Мои друзья угощают детей ереванским белым хлебом. Дети в Бжни не любят лаваш. Лавашом поражают в Ереване командированных. Потому дети так жадно уничтожают хлеб.

Священника все называют: Айр — Отец.

Отец сидит на фоне красного шкафа, и борода его кажется темнее.

Дети, кажется, покончили с хлебом и недвижно лежат на голых лавках.

Отец находит под грецкими орехами крест с привязанной к ручке креста красной лентой, надевает через голову ризу из китайского шелка, наливает в стакан боржоми, кладет на стол лаваш и освящает еду.

Я очень хотел бы, чтобы художники Армении хотя бы раз в жизни увидели «армянский натюрморт», освященный Отцом в Бжни...

Впервые в моей жизни — освященная еда. Еда — каждодневная, но... обретшая библейское таинство.

Все происходящее похоже на театр.

Я не помню источника света. Его, кажется, и не было.

Только вот нет характеров, ни у кого.

Отец освятил еду, намотал на руку красную ленту креста и закрыл чемодан. Чемодан выругался грохотом орехов, проглотив крест, и умолк.

Извиняясь, приносят обугленное мясо.

Лучшие куски хотят отдать детям. Но дети уже спят с недоеденным хлебом в руках.

Дети! Обугленное мясо, засохший лаваш, шкаф, неровно выкрашенный женщиной, красная борода Отца и я, ищущий истину...

Отец следит за мной. Мне хотелось бы остаться с ним наедине, до того как он отдаст ключи сестре. Но Отец уже отдал ключи и спокойно разламывает зубами кость и разжевывает ее. И перемолотая кость исчезает в

Отце, и неожиданно все обретает характер.

Необходимо установить источник света!

Я боюсь, чтобы Отец не утратил характер.

Нет. Отец все больше и больше обретает его.

Он жует кость за костью и проглатывает.

Нет оскорбленных борзых, которых лишили кости. Не ломаются на турнирах алебарды, не тускнеют вытканые на гобеленах героические рыцари, не рушатся башни, похожие на шахматные лады.

И гложет меня за «последней» трапезой мысль, как мой современник, не имеющий таланта, будет сочетать руины крепости Бжни со стеклянным кафе «Интурист»? И кто же включит ночью «дневной свет» в ажурных киосках на могилах Бжни?

Бесшумно входят трое мужчин в черных драповых кепках и коричневых засаленных костюмах. Мужчины одновременно, без приглашения к столу, берут три тонких чайных стакана с водкой и готовятся произнести тост.

Как же мне отличить одного от другого?

В чем же я найду между ними различие?

Только в этом.

У одного из них — голубая ладонь.

У другого — белая.

А у третьего — серебряная.

И все три выкрашенные эмалью ладони тянутся ко мне с тонкими стаканами водки, и я пустой бутылкой из-под водки чокаюсь с ними и вынужден встать, чтобы их выслушать.

— Ты любишь Бжни... Ты хочешь купить тут дом!

— Зачем тебе дом? Земля Бжни твой дом!

— Тут скоро построят кафе из стекла. И в честь тебя весной мы в кафе зарежем барана.

— Вот мы — Маис, Минас и Мамикон... обещаем тебе...

Я думал, почему Мамикон держит стакан в серебряной левой руке?

А что если Мамикон левша?

Но дело не в этом.

А в чем?

В детях? Или в том, что Отец жует кость? И не рычат на него доги и борзые! Или в том, что женщина покрасила шкаф, или в том, что в ночном небе на фоне Арарата висит на веревке низка горького красного перца? Или в том, что молчит крест в фибровом чехолке?

Нет, всё не то!

И все-таки я задыхаюсь.

Я хочу ключи от собора Богородицы!

Я хочу знать! Хочу знать, кто они? Мужчины в черных драповых кепках, и почему не искрится в стакане «боржоми»...

Почему спят дети с белым хлебом в руках...

Почему так горько в крови, когда смотришь на перец на фоне Арарата...

И кто они? Откуда люди с размалеванными ладонями?



Или они тоже пришли за мной?!

Да! За мной! Я догадываюсь...

Они — могильщики!

И один из них — левша!

...Я улетаю в Тбилиси через Эчмиадзин!

Я не знал, что только в Эчмиадзине рождаются белые ослы-альбиносы.

Ранним утром они пытаются прорваться в Ереван, навьюченные эчмиадзинской зеленью, но их не пускает в город лиловый милиционер.

Белые тополя на эчмиадзинской дороге.

Черные монахи, с благословения католико-са играющие в волейбол.

Скульптуры из алюминия, изображающие «авиацию». Мужчина и Женщина в образе пропеллера.

И все это, увиденное сегодня, проецируется на розовый экран Арарата.

Я в небе Армении.

Я перелетаю границу республик.

Я снова дома.

Старо-Верийское кладбище. Оно давно уже закрыто. Надо идти по улице Гогебашвили до конца и вверх — на гору. Ночь на Старо-Верийском кладбище. Всех охватывает страх. Но не их. (Я специально не называю имен.)

Он — скульптор. Союз художников Грузии

выделил ему мастерскую в одном из армянских фамильных склепов.

Она — носит очки и работает концертмейстером в опере, а белые мраморные ангелы на могилах для нее все равно что бутафорские в театре. Но иногда при ветре, в марте, ее охватывает страх. Она боится кладбища и истошно выкрикивает имя скульптора.

Иногда ей удастся разбудить его или оторвать от природы.

И это кончается по-разному: или плачет избитая натурщица, или плачут и натурщица, и концертмейстер, избитые скульптором.

В августе 1966 года в Тбилиси все задыхалось от жары. Грузины и их семьи не ехали к морю, а собирали грибы и ягоды под Москвой.

Я задыхаюсь от пыли и жары на Старо-Верийском кладбище.

Бульдозеры гудят и рушат последнее пристанище предков. В раскаленном воздухе стоят столбы желтой пыли... И желтая пыль не успевает оседать на иссохшие от жары листья сирени.

Я не рассчитал силы памяти. Я не знал, что в желтой густой пыли спустя двадцать лет не смогу найти могилы своих близких... Могилу Веры, тети Сиран, бабушки...

Мою дорогу к предкам то и дело перебегают, как призраки, юноши в черном трико, держа в руках нивелиры и теодолиты.

Ревут бульдозеры. Поднимается пыль, и в желтой пыли черными мочалками стоят кипарисы с окаменевшими стволами.

Давно уже улетели мраморные ангелы, опирающиеся на расколотые кресты. Лабрадоры давно распилены и проданы по нарядам. Союз художников и сейчас не протестует против происходящего.

Бульдозеры ровняют кладбище. И прыгают в желтой пыли юноши в черных трико, с теодолитами и нивелирами.

И я решаю уйти с кладбища. Уйти! Это значит забыть аукцион и все, проданное с молотка, принадлежавшее моему роду.

Забыть печали детства.

Забыть могилы...

Нет, я не уйду с кладбища! Я не выдержу изгнания из детства.

Я вообще против изгнаний и гонений! Мои призраки! Мне с вами лучше, чем с теми, кто живы. Я вас люблю больше, чем тех, кто любит меня!.. Мои кипарисы... И корни кипарисов... Мы с вами в родстве!

Вы касались и касаетесь моих предков. Какое-то время мы вместе с вами росли. Вы почернели от времени, я побелел...

Я знаю... — это просто мероприятие горсовета. Здесь как и на Ходживанском кладбище, ничего не состоится.

Кипарисы в марте снова при ветре будут пугать ищущих друг друга в ночи.

И все же я не могу выйти из зоны пыли. Я натякаюсь то на обрушившиеся, когда-то выкрашенные бронзой гипсовые барельефы генералов Закавказского военного округа, то на деревянную уборную с открытой дверью...

Кто?! Кто, кроме меня, протестует? Неужели только я?

Нет!

Протестует Хосе Диас<sup>1</sup> Он поднялся на цыпочки и машет над головой флагом.

Протестует против всего, что происходит на Старо-Верийском кладбище.

Он, Хосе Диас, протестует против того, что в церкви на кладбище стирает женщина в цинковом корыте, похожем на гроб.

Протестует, что в церкви инвалид кормит собаку.

Он протестует даже против того, что я умер в своем детстве.

Но Хосе Диас уже в бронзе. А я еще жив, задыхаюсь в пыли... Задыхаюсь и злюсь, что не найдены тот смысл и образ красоты, которые ищет Человек. И в ответ на желчь и проклятия рассеивается пыль и возникают... арфы на кладбище!

Арфы золоченые, со струнами — от красной меди до седины волос.

Арфы, они прислонились к стенам отсыревшей, закрытой на висячий замок церквушки...

Арфы. Золоченые. Арфы на кладбище...

То, именно то, что я искал!!!

И я могу умереть!

Без сожаления!..

И я умираю!

Как умираю?! Это неважно...

Станет страшно только тогда, когда осядет желтая пыль от бульдозеров и я превращусь в желтый земляной барельеф.

И я, умирая, улыбаюсь.

Я счастлив, что обманул себя!

Ведь это не арфы... Это чрево!.. Чрево старомодных венских роялей, которые заदेशево покупает скульптор, чтобы перелить их в слитки бронзы, из которых он потом отольет скульптуру, сделает точный профиль любого, даже если фотография будет анфас.

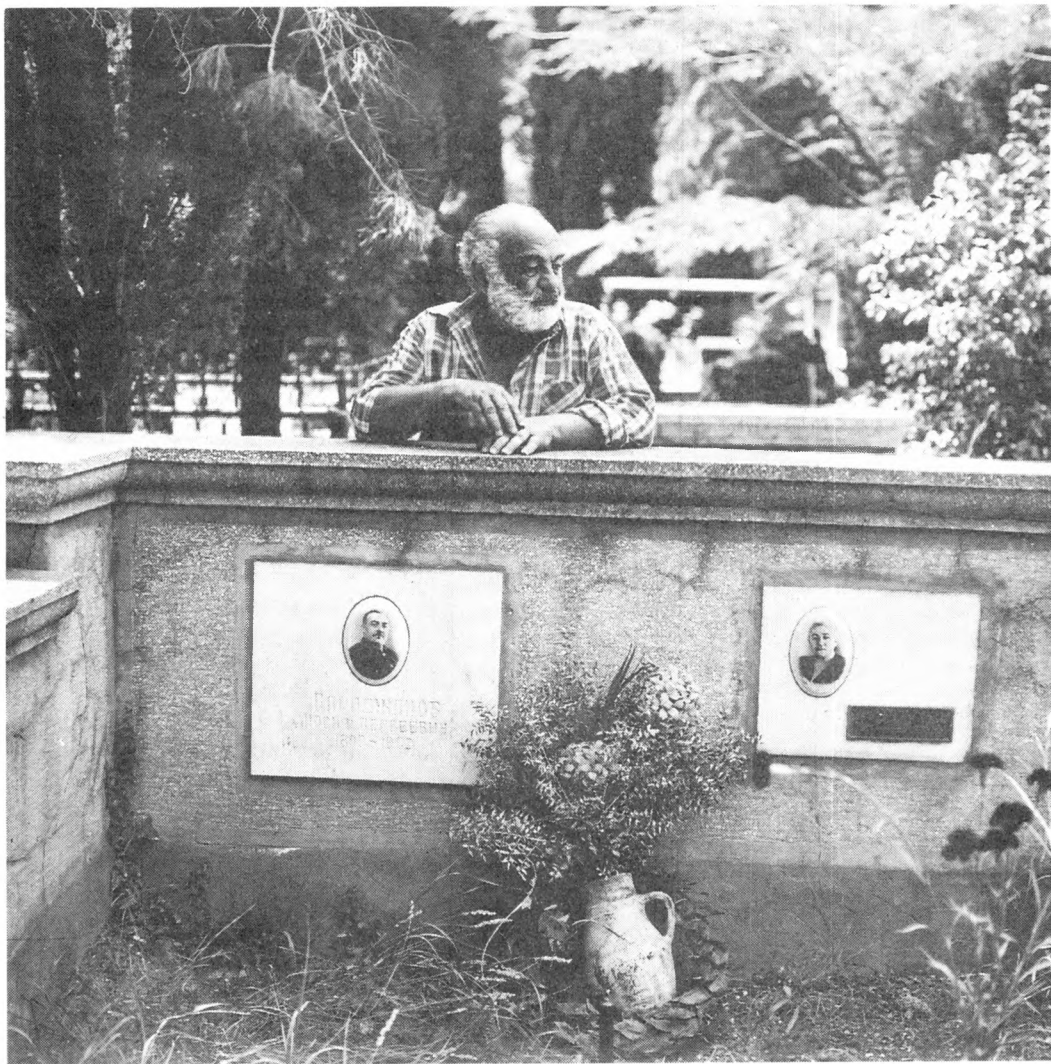
А что если он снимет с меня маску, когда я уже превращусь в желтый барельеф?.. И снова для потехи обнажит мое лицо?..

Нет... Не обнажит! Мне нечем ему заплакать!

Я могу только домыслить истину.

И я могу услышать, как зарождается в желтой пыли смех...

<sup>1</sup> Речь идет о памятнике на могиле Хосе Диаса на Старо-Верийском кладбище.



Смех, который нарастает и надвигается на меня!..

И в желтой пыли замирают бульдозеры, и повисают в прыжке юноши в черных трико... Они уступают дорогу старухам. Нашим бабушкам, прабабушкам...

Они — бабушки — все в черном шуршащем муаре и крепе.

Они поправляют кружева своих чихти-копи и глядят локоны своей юности, натягивают опавшие черные вискозные чулки и тщательно прячут желтые монеты с лицом императора всероссийского за испепеленные подвязки. И так, черной массой, поддерживая друг друга, они идут на меня, перешагивают через мой желтый барельеф на земле и спешат уйти из зоны желтой пыли...

Они выходят на нейтральную зону чистоты

и тишины... и на цыпочках вступают в сиреневый предзвездный туман Тбилиси. Крадутся идут по сонному Тбилиси. Идут по трамвайным линиям проспектов, и по их следу на трамвайных путях остаются растерянные ими золотые монеты...

Они как одна подходят к шкафу, который висит на металлическом тросе. Они, боящиеся грозы, электричества, газа, пультов ракет и бульдозеров, смеются над пультом и бьют его кулаками...

И пульт гудит! И натягивается трос! И плывет в гору шкаф с незакрытой дверью.

И наши предки — хохочут над городом...

Над городом, где на горизонте желтая пыль сливается с сиреневыми испарениями, и они, старухи, пускают по ветру свои леча-



ки<sup>1</sup>. И сиреневый тюль летит над городом, цепляется за жирный трос и летит, летит, пока не сливается с сиреневым туманом...

А юноши! Напрягают мышцы, подтягивают животы, вскидывают руки. С закрытыми глазами ловят сиреневый тюль...

Тюль механически мочат в воде, крепко выжимают и раскаленными утюгами гладят через тюль свои брюки...

Юноши не открывают глаз.

Шипят утюги... Горит и исчезает сиреневый тюль.

И в абсолютной тишине на верхнюю станцию фуникулера проходит и останавливается с открытой дверью пустой шкаф.

Эпилог сценария «Исповедь» я дописал, когда на VI Московском кинофестивале встретил Великую немую — Лириан Гиш.

Так умер Человек — Человек, ищущий истину.

Мать Человека — мадам Параджанова на похоронах сына попросила священника Тер-Акопа во время свершения траурной службы освятить ее брачный союз с грешником Езефом Сергеевичем Параджановым, с которым

она развелась фиктивно в 1924 году. Развод им обоим был необходим для спасения шубы из французского вухуоля и дома на горе Святого Давида.

Тер-Акоп внимательно выслушал мадам Параджанову и совершил только заупокойную мессу.

Мать Человека в праздник Сурп-Саркиса<sup>2</sup> в соборе Сурп-Геворка принесла в жертву белого петушка, которого купила у татарки в Шулавере. По обычаю, перед обрядом жертвенный петушок должен пропеть. Петух, купленный мадам Параджановой у татарки в Шулавере, снес в соборе розовое яичко. Изумленная и обеспокоенная случившимся мадам Параджанова обратилась в клинику Филатова в Одессе с просьбой об операции глаз.

Главный врач клиники Филатова выслал мадам Параджановой следующую депешу: «Грузинская ССР, Тбилиси, ул. Котэ Месхи, 7.

Срочно просим сообщить клинике им. Филатова, сколько уважаемой гражданке Параджановой-Бежановой лет...»

1969 г.

<sup>1</sup> Лечаки — головной тюлевый платок (груз.).

<sup>2</sup> Сурп-Саркис — Святой Саркис (арм.).

## Внимание!

В будущем году редакция журнала «Киносценарии» намеревается открыть художественную галерею

**«НАЦОКИНСКИЙ ДОМ».**

Мы предоставим наши залы для выставок таких художников как ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ, МИХАИЛ ШЕМЯКИН, ДМИТРИЙ КРАСНОПЕВЦЕВ, РУСТАМ ХАМДАМОВ и другие.

Об открытии и начале работы галереи редакция сообщит дополнительно.



## **РАССКАЗ ГАЯНЭ ХАЧАТУРЯН О ПОСЛЕДНЕМ ПУТИ**

**С**ергей Иосифович стал харкать кровью. Врач назначил операцию горла. Нина Харитоновна, которая ходила за моей мамой, а я ее привела к нему, рассказывает: он встал рано утром, оделся во все чистое и долго молился. Накануне было много народа, и он не велел провожать его. В больницу ушел один, сказал Нине Харитоновне: может быть, меня больше не увидите, и были слезы на глазах.

За мной пришли, он хотел меня видеть. Я зашла в палату, он лежал один на железной кровати. Тихонечко сказал, что операция прошла и ничего не нашли, что-то соскоблили. Пришла сестра, не велела говорить. Он попросил сесть близко, рассказывал о детстве, о лунном мальчике на берегу моря, о его тельце, и он о нем долго плакал. Спрятавшись, он любовался им, его движениями. Нет, он говорил: солнечный мальчик, как из золота, голубые глаза, резвый. Он не понимал, что с ним происходит.

Он рассказывал о своей матери, он называл ее великой актрисой, как она умела себя преподносить, как сидела в фазтоне, крепко его прижав. В доме все было красиво, мать презирала семьи, где не любили предметы, ткани.

Он учился в консерватории. Во ВГИКе случилась трагедия, он женился на буфетчице-калмычке, которая была запродана. Он дал ей денег, она поехала выкупиться, ее зарезали в дороге, на каждом куске ее тела написали слова мести за нарушение закона. Он собрал ее, похоронил в Москве на Мусульманском кладбище.

Когда он учился во ВГИКе, его родственницу в Ленинграде оперировали, он поехал, с мужем ее шел по ночному городу, почувствовал — вот у нее нет груди, в детстве мы играли, и все было.

Из Киевских лагерей написал мне, чтобы цветы отнесла Нине Иосифовне Козловской, любимой школьной учительнице истории. У нее учились Иоселиани, Игнатов, композитр...— забыла. Он как-то сказал: с войны не матерям, а ей писали письма, она учила не истории, но мифам. Она умерла два года назад. Мне читала «Двенадцать» Блока. Комнатенка её была вся в книгах, и сама она съезжилась и была как книга.

Вернувшись из лагеря, он сразу о ней спросил. Достал белье, тюфяк, собрал посуду, я ей всё отвезла, она удивилась, никто этого не делал. Несколько банок меду ей посылал.



Он подарки всем делал, чтобы — если человек обанкротится, он сможет это прожить. Умерла Тамрико, суфлер Руставели, дочь её Лиико, душевнобольная, одна оставшись, стала сама себя обслуживать. Они у него снимали комнату, а он жил на кухне.

Сестра заболела, превратилась в толстую куклу без волос, с умоляющими глазами. Сергея Иосифовича очень это нервировало. При её жизни он ей привез гроб с красным бархатом, гостей созвал. Но этот спектакль никем не был понят.

Потом был другой спектакль: с Марчелло Мastroяни. Он гостил у Сергея Иосифовича, в 1.30 ночи вывел Марчелло, стучал в каждое окно, всех разбудил, говорил по-грузински: накрывайте столы, забудьте про сон, великий человек приехал. Забыв одеться, люди выносили столы, девушки угощали гостя. Потом все вспоминали. Тонино Гуэра каждое утро в 8 приходил только к нему. На студии были обиды; начались брожения.

Сестра умерла по-настоящему. Он меня вызвал за полчаса до смерти, едва поздоровался. Стоит каменный у дверей, болезненно следит, кто пришел, кто ушел, кто плакал, кто нет — фиксировал. Болезненно пережил. Все ждали театра, а ничего не было, поминки были в ужасном ресторане «Рустави». О нем все забыли, он потерялся, я хотела сказать: люди, вспомните, с нами гений. Он так и не сел за всю эту процедуру. Он послал за мной, когда ему сказали, что моя тарелка пуста и рюмка пуста, он просил ближе к нему, но я была ближе к двери. И ужас я вынесла оттуда, толпа его съела.

Через несколько дней он развесил всех кукол на балконе. Были рамы оконные, клетка. В клетке детский ботиночек. Дивно висели сапог его детства и арестантский сапог. Был коллаж. Мужчина и женщина и птичка, посвященная мне. Один день он их одевал, один обнажал, и были кастрюли, корзиночки с фруктами, что надо человеку.

Побелил лестницу и прошел гребнем, макал его в красновато-багровую краску, орнамент! Так виртуозно, так прекрасно, и он смеялся от радости, что так получилось.

- Не приходишь.
- Боюсь помешать.
- А они не боятся?

Придумал: делать с меня Джоконду. Серия была коллажи. Последнее — Джоконда



со слезой, шедевр. Хотел мне подарить, я не брала. Но он настоял. Другую, последнюю подарил Васе Катаняну и его жене. Потом пришел калифорниец с Валерием Бояхчином, принесли коллаж, я велела вернуть, а он его увез в Калифорнию. Сергей Иосифович обиделся. Я ему принесла две работы, он одну подарил Хечинашвили, врачу, другую профессору в Москве, который легкое оперировал. Но не успел передать. Его забрали в Ереван, а работы продали, не хочу говорить об этом.

Он сказал — Гаянэ, какую красоту я увидел в Португалии, в коллекции Гульбекяна. Шкафчики китайские, блюда. Он стал заплетаться.

Потом мы стали прощаться, он каждый предмет долго держал руками, долго смотрел на коллажи, фотографии. Стены, потолок. Стулья ощупывал. Очень долго уходил из своего дома. На людей не смотрел, только на свои предметы. До этого, после ампутации легкого говорил: у меня нет левого крыла. Не могу летать уже. Я ходила каждый день, минут на пять, сидела в уголке, он мне радовался.

Как-то пришел фотограф Лева Мамулов:

— Вы не могли бы завтра прийти к Сергею Иосифовичу, я хочу собрать всех армянских художников.

— Я не приду, я не хочу делить художников на армянских, грузинских. И не жалко ли его мучить?

Утром он лежал в своей детской, у него уже было 6 комнат, но не было левого крыла. Он позвал меня:

— Гаянэ, что ты натворила? Подарила танцовщицу, единственная эта работа в мире. Я ночью при свечах смотрел на нее. Какие ты туфельки сделала, я таких не видел, шляпка.



Он закрыл глаза. Я вдруг сказала:

— Сергей Иосифович, какую красоту вы нам подарили, какой театр. Что за чайнички.

— Это бабушкины. Вон Джоконда, забери.

— Не могу. Это ваше, я задохнусь.

Потом пришли за ним, подняли. Он стал белым. Собрались армяне, а грузин не было. Зулейка Бажбеук, Альберт Дильбарян, Альберт Атоян, Григор Данелян, Робик Кандахсазов, Шамир Тер-Минасян, Валерий Бояхчян, больше не помню.

Потом его вывели на его любимый балкон, где росло его ореховое дерево. Соседки снизу принесли хачапури. Он был рад, любил делиться. Любил стыковать людей, дарить их друг другу. Ещё Елена Ахвледяни была такой. Он и мне дарил людей.

Потом принесли дыню, Григор её красиво разрезал, мы стали спускаться, он остался с дыней, махал нам, словно благословлял.

Через несколько дней Валерий Бояхчян позвал ехать в больницу. Палата была отдельная, в Дигомской больнице. Издали мне показалось, что сидит глубокий старик, спина была деформирована там, где не было крыла.

Он меня сильно к себе прижал, и мы за руки держась, как дети, пошли в палату. Кровать была высокая, он еле залез, сказал:

— У меня всё болит. Как они меня лечат?

Потом сказал:

— Гаянэ, ты знаешь, что с тобой будет? После смерти тебя Армения возведет в святые.

Я говорю:

— Я сейчас хуже работаю.

А он:

— Я перед Парижем пришел, просил продать картину, а ты — нет, только подарю. Мы в Париже у Басмаджяна встретились с Борисом Хаханашвили, поругались. Борис бранит твои поздние работы. Но я немножко согласен, в первых работах был мистицизм. Но ты для меня остаешься первой, никого не поставлю рядом (потом Борис из Парижа позвонил, дай любую твою работу).

После операции горла мы были вместе часа четыре. Он такое рассказывал. Невероятные вещи. Уходила, он попросил: разложи свои яблоки как можешь и уходи. Я разложила яблоки, поцеловала его в лоб, он мне руки целовал.

А дома начались съемки «Исповеди», он велел нести в комнату гроб, начал с похорон. Никто не мог работать, у него кровь горлом хлынула. Тогда и нашли опухоль, он по лицам понял, что-то скрывают. Фильм закрыли. Решили ехать в Париж. Армяне в Париже всё приготовили, но он полюбил доктора в Москве. Они приехали с племянником, с коньяками, со всем. А тут доктор его стал сторониться, не подошел ни разу. Он сказал, наверно, я смертник. Я думаю, если бы врач подошел к нему, он бы сразу не умер. Он ведь ему подражал, походку копировал. Он говорил: — Гаянэ, почему он не подошел? Это уже в Тбилиси, на балконе. Я побежала к соседям-курдам. Девочка научила постучать в одно окошко. Я постучала. Открыл в халате: Ты одна, в такую ночь?

А я: — Орешки принесла.— Какие? — Грецкие.— Молотые? Ну давай. И стал лежать в комнате грызть. Сказал, курды кормят, а зачем есть? А потом: — Помнишь, ты хирургу картину обещала?

— Напишу за два дня. Я думала, что мешаю.

Пошла, дверь хлопнула, он просит: захлопни крепче. Я бегу в слезах, дорогу забыла. Не знаю, как доехать до Исани. Встала в очередь на такси. Забыла про метро. Шофер довез, хороший оказался. Дома всё было пусто и был повтор дома Сергея Иосифовича. Светало. Я была в кресле. Не знаю, спала ли.

Бегу к Виктору в музей — никого, бегу к Светлане Дзугутовой там человек один, голодный, все забыли, он в темноте. Викторка нашла вечером, он говорит, ничего, ничего, он сейчас в таком состоянии, у него организм сильный. Позвонила в Ереван — всем. Приехали утром ко мне. Завен приехал: заберею в Ереван.

За полгода до этого он завещал всё в Ереван, всё и вывезли, когда он был в здравии.

Еще на него подействовала смерть племянника, не родного, он из него сделал художника. Самоубийство было странное. Племянник был его слугой лет пятнадцать. Тонким стал художником. Сергей Иосифович был в Германии, Алик женился (Сергей

Иосифович женил), приходил каждый день, чай пил, завесив окна. Потом Нина Харитоновна видит: веревочек нет, она стучит, Алик открыл дверь.

— Посидите со мной. Она торопилась. Он домой пошел. Поужинал, пошел в сарай — рисовать, и повесился. Причины никто не знает, но он подгадал к приезду Сергея Иосифовича. Сергей Иосифович приехал в Москву, пошел к кому-то, стал плакать, Алика вспоминал, говорил, что был груб с Аликом последнее время.

Ко мне Гоги Сандуклян пришел, сказал про Алика, Сергей Иосифович не знает, позвать ли вас. Скоро едем.

Сергей Иосифович рыдал в уголке, ко мне подошел, руку взял — не отпускай меня! — кричит.— Может, ты знаешь причину? Не отпускает меня до кладбища.

Гроб вынесли, и я почувствовала, что в этой смерти святого нет, есть дьявольская рука. Мы идем, и никто не подходит. Он говорит — Гаянэ, он увесет меня. У меня кровь опять шла. Гаянэ,— ты меня не отпускай, ты одна осталась. И мы едва не падаем. Нас в машину взяли. И он руки не отпускал, и всё говорил — он специально это сделал, чтобы увести меня.— Я не мог понять, почему он мне невесту не показывал ни разу.— И рыдает, рыдает.

Схоронили Алика. Его еле увели, он просил с ним ехать. Несколько человек поднялись к нему на горку, поминки сделали, свечи зажгли, он шарф дает, Гаянэ, это тебе из Турции. Я не беру. Тарелку вынул, голубую чашечку дает, я говорю, не убивайте меня, а он — это от Алика.

Через некоторое время опять стал плакать: это был, говорит, знак, что мне скоро умирать. Я подарок оставила, он на лестнице заставил взять.

И это было до «Исповеди».

Когда мы его встречали из киевской тюрьмы, он свои тюремные вещи стал бросать с балкона, и кровь пошла. Думали, у него был туберкулез. Он тогда стал есть как Гургантюа, мед банками, диабет заработал, легкие спасал.

... Потом умерла душевнобольная соседка, и он переехал. Но сначала другое.

9 января прошлого года было его рождение. Приехала Светлана, жена из Киева. Из Еревана — Миша Вартанов, самый преданный человек. Дивный человек. Сергей Иосифович сделал келью, прежде чем уйти в последнюю комнату детства. Келья в коридоре, там он плакал, когда никого не было. Келья была красоты невероятной. Два человека помещались. Железная кровать. Дивное белоснежное одеяло с кружевами. Свечи. Бородка подросла, стала белой, это святость давало. Он был святым, играя на людях.

Дошла очередь до меня. Руки поцеловал. Сказал: фильм всей моей жизни. В комнате сестры раскрыли огромный стол. Стол от еды падал, всё было неряшливо разложено. Я почувствовала огромную любовь его к жене, он её слушался. Она остаться не могла, у неё отец парализован. Но он ни к кому так не относился. Я сказала: Светлана стала очень красивой, он — да, она очень красивая.

Когда он вернулся из лагеря, я ему подарила огромного льва среди розовых деревьев, он у Светланы.

Народу набралось очень много, кто-то зашел в его комнату детства, и это мне было больно. А он не вышел. Но Светлана уговорила. Его вывели. Белый он был, белого цвета, но живые были глаза. Про незнакомых расспрашивал. Вартанов дивную речь сказал. Не было Виктора и Софико. Выпили за его здоровье. Он устал. Жена сказала: дайте слово Гаянэ. Я сказала — нас всех пригласили на рождение гения, человека, который открыл нам красоту шерсти, шелка, бархата. Если б не вы, мы бы ушли слепыми. Если б не вы, меня бы не было. Давно это было, когда вы мои картины увезли в Ереван, на однодневную выставку в кафе, говорили, есть у неё сила. Он говорит — она ещё кукол делает, я спорю. Он попросил пить, я спела плохо. Он меня поцеловал. Светлана его увела. Но веселье гостей его радовало, он велел есть, пить, он заснул. Проснулся, просил воды. Людей звал.

— Я Пушкину посвятил коллажи. Он спросил, почему в «Саят-Нова» я люблю фрагменты, а не весь фильм. Не знаю.

Через несколько дней... Да, Миша Вартанов в тосте говорил и про меня. Верю в двух людей — в Параджанова и в Гаянэ.

Через несколько дней мы пришли с Алиной. Он говорил про неё: что за образ! Он нашел кувшины, похожие на Альберта Дюрера. Говорил: понравилось, наряжу Гаянэ в мантию. Она должна по-другому себя преподносить...

...Здесь обрывается рассказ Гаянэ Хачатурян, записанный с ее слов Ириной Уваровой 22 февраля 1991 г. ночью в Москве.



Лиля Брик, 1979 г. Фото В. Плотникова. Грим Сергея Параджанова, платье Ива Сен-Лорана. На фоне коврика, подаренного Владимиром Маяковским

# СЕРЕЖУ

## или Страсти по Параджанову

### Фрагмент из книги ВАСИЛИЯ КАТАНЯНА

#### «...Виноват в том, что свободен»

**В**се, кто знал Сергея Параджанова, помнят, что он сразу, легко и весело сходил с людьми. Правда, иной раз он уже через день забывал о новом знакомстве, в другом же случае это была дружба до гробовой доски. Так было с Лилей Юрьевной Брик и моим отцом Василием Абгаровичем.

Лиля Юрьевна пригласила — через меня — Сережу к обеду. Она посмотрела в «Повторном» «Тени забытых предков», естественно, поразилась и захотела познакомиться с режиссером. Я ей часто рассказывал о Сереже, его причудах и вкусах, а тут еще Шкловский начал с ним работать и был восхищен, о чем не раз говорил Лиле Юрьевне по телефону (они были очень старые, и видеться им было трудно).

Короче говоря, идем обедать. Сережа заехал на рынок и вместо букета купил огромную фиалку в цветочном горшке, я таких огромных и не видел. Но разве у него могло быть иначе?

— Как мне обращаться к ней — Лили или Лиля Юрьевна?

— Отец назвал ее Лили в честь возлюбленной Гете. Но Маяковский посвящал ей стихи так: «Тебе, Лиля». Она же подписывается то Лиля, то Лили. Так что решай сам.

Буквально с первых же минут они влюбились друг в друга, начали разговаривать как старые знакомые, много смеялись. Сергей рассматривал картины и всякие разности, не обратив внимания ни на одну книгу, которыми был набит дом. Попутно выяснилось, что он никогда не читал Маяковского. «Ну не хочет человек — и не читает», — сказала Лиля Юрьевна. Это ее ничуть не обидело, а только удивило, что даже в школе он о нем не слышал.

— В школе я плохо учился, — объяснил Сережа, — так как часто пропускал занятия. По ночам у нас все время были обыски, и родители заставляли меня глотать бриллианты, сапфиры, изумруды и кораллы, глотать, глотать... (он показал)... пока милиция поднималась по лестнице. А утром не отпускали в школу, пока из меня не выйдут драгоценности, сажали на горшок сквозь дуршлаг. И мне приходилось пропускать уроки.

Лиля Юрьевна хорошо разбиралась в людях и с первых же минут почувствовала его индивидуальность, а через час поняла, что он живет в обществе, игнорируя его законы. Ей импонировали его раскованность, юмор, спонтанность и безоглядная щедрость — словом, его очарование. И точное совпадение с ее мнением в оценках искусства и каких-то жизненных позиций. «До чего же он не любит ходить в упряжке», — напишет она позднее.

Обед затянулся, часа через два пили чай, потом ужинали. С моим отцом они вспоминали Тбилиси и сразу нашли общие интересы, даже немного полопотали по-армянски, благо, говорили еле-еле. И все никак не могли расстаться.

Дня через два снова увиделись. Лиля Юрьевна и отец к этому времени прочли его сценарии «Демон», «Киевские фрески», наброски «Исповеди». Говорили о сценариях. Параджанов хотел в роли Демона снимать Плисецкую («Представляете, ее рыжие волосы и костюмы из серого крепдешина, она в облаках серого крепдешина, черные тучи, сверкают молнии — и посреди рыжий демон!»). Сережа фантазировал, и казалось, что именно он летает в облаках, а мы, как это всегда бывало в таких случаях, зачарованно смотрели на него. Лиле Юрьевне затея восхитила своей неординарностью.

И вот он уже рассказывает, как один известный режиссер хотел поставить «Кармен» и говорит Сереже: «Представь себе, открывается занавес, на столе сидит Кармен нога на ногу и





Лиля Брик, 1925 г. Фотоколлаж А. Родченко

курит!» «Какая чепуха,— ответил Сергей.— Лучше пусть она лежит в кровати и к ней подходит Хосе, но начинает чихать, и она его отталкивает. Зачем он ей такой, чихающий?» — «Где же он так простудился?» — спрашивает режиссер.— «Да ведь Кармен работает на табачной фабрике, и от нее за версту несет табаком, он попадает в нос Хосе, и тот чихает, чихает...»

Затем Сережа уехал в Киев. Они ежедневно перезванивались, говорили подолгу, подробно, обменивались подарками. Однажды он прислал с кем-то собственноручно зажаренную индейку, в другой раз три (!) крестьянских холщовых платья, чудесно расшитых, потом кавказский серебряный пояс — он вообще любил все, что делалось руками. И вдруг (эти бесконечные «вдруг» там, где Сергей!) его арестовали!

«Он был виноват в том, что свободен»,— напишет позднее большой поэт, друг Сережи Белла Ахмадулина.

«За что? Почему? Как же так?» — Мы все были растеряны, встревожены, убиты...

«Арестовали его где-то 17—18 декабря 1973 года,— рассказывает Светлана Ивановна.— В это время тяжело болел наш сын Сурен, он лежал в инфекционной больнице с брюшным тифом. Ему тогда было 14 лет, он погибал, и Сергей делал все для его спасения. Когда Сурену стало получше, Сергей уехал в Москву на похороны художника Ривоша. На панихиде он выступил с речью, я не знаю, о чем он там говорил, но те, кто слышал, были в шоке. Она была остросоциальной направленности... А еще раньше Сергея пригласили в Минск, он там показывал «Тени», выступал, и это была тоже очень злая речь. Об этих его выступлениях уже знали в КГБ Украины. И уже ходили разговоры об угрозе ареста. Были люди, которые, вероятно, что-то знали, кое-какие слухи просачивались, может быть, специально распространялись. Друзья просили его хотя бы на время покинуть Киев, уехать в Армению снимать свои «Сказки Андерсена», скрыться, не раздражать власти. Но он всегда как-то шел навстречу опасности. Его подталкивала неведомая сила, может быть, это то, что называют судьбой... Непреодолимое стремление испытать еще что-то, какой-то очередной трагический виток своей жизни. Бывают такие роковые люди и такие судьбы.

Когда Сергей вернулся с похорон, он позвонил моим родителям, спросил о здоровье сына и сказал, что привез ему всякие вкусности (Сурен тогда потерял в больнице 18 килограммов). Я тут же перезвонила Сергею, но уже никто не отвечал, не брал трубку. Потом было занято, потом снова никто не отвечал. Он так переживал болезнь сына, так паниковал, что я не могла себе представить, что вот приехал отец, привез икру, ананасовый компот, что-то еще, что Сурен просил, — и не пришел к нему. В первом часу ночи появился Сурен Шахбазян, оператор «Теней», наш большой друг, ныне покойный. Он сказал: «Светлана, не волнуйся, случилась большая неприятность — Сергей арестован». И рассказал, как это произошло.

Была у Сергея друг, архитектор Миша Санин, человек талантливый, с большим вкусом. Они дружили, хотя часто спорили. Часов в 12 дня к Сергею пришла наша приятельница Оксана Руденко, известный архитектор, и сообщила о самоубийстве Санина. Это темная история... Когда Сергея не было в Киеве, Мишу вызвали в КГБ или УВД, не знаю, и потребовали от него каких-то порочащих Сергея сведений — порочащих в плане моральном, в плане именно той статьи, которая впоследствии и была ему инкриминирована. Видимо, разговор был очень серьезный, и Санин, предчувствуя, что его будут заставлять говорить то, чего он не мог себе позволить, перерезал вены.

Сергей был потрясен услышанным. Санин был вполне нормальным, любящим жизнь, творческим человеком. Самоубийство? В этот момент раздался звонок в дверь, вошли представители милиции и предъявили ему ордер на арест. Сергей побледнел. У Оксаны потребовали подписку о неразглашении и выставили ее. Сергея увезли в милицейской машине.

Оксана, петляя по городу, замечая следы, в страхе, что за нею следят, пришла к Сурену Шахбазяну. А тот, дождавшись темноты, пришел ко мне. Что делать? Мы не могли подвести Оксану, которая дала расписку, и решили ждать. Было ясно, что его арестовали за его речи, за его язык... (Когда ему удалили полипы в горле, Шахбазян пошутил: «Лучше за тебе кусочек языка отрезали.») Так вот, мы ждали, но и на следующий день сообщения не было, и мы поняли: я ведь жена бывшая, они и не будут мне ничего сообщать. Сын — несовершеннолетний, мать и сестры живут в других городах. Получалось, что у них есть право никому не сообщать о случившемся. И мы с Шахбазяном решили, что будем разыскивать его, как будто он пропал.

Поехали в Управление внутренних дел: «Вы знаете, нас интересует судьба человека, который вернулся из Москвы, но не отвечает на телефонные звонки, и никто не знает, где он. Может быть, с ним что-нибудь случилось?»

— Простите, но мы ничего не знаем.

— Что же нам делать?

— Обратитесь в районное отделение милиции.

А в милиции разыграли фарс: звонили в морг, в «Скорую помощь», спрашивали приметы — вес, сложение, цвет глаз, а по лицам мы видели, что они все знают, что за нашим передвижением по Киеву уже следят...

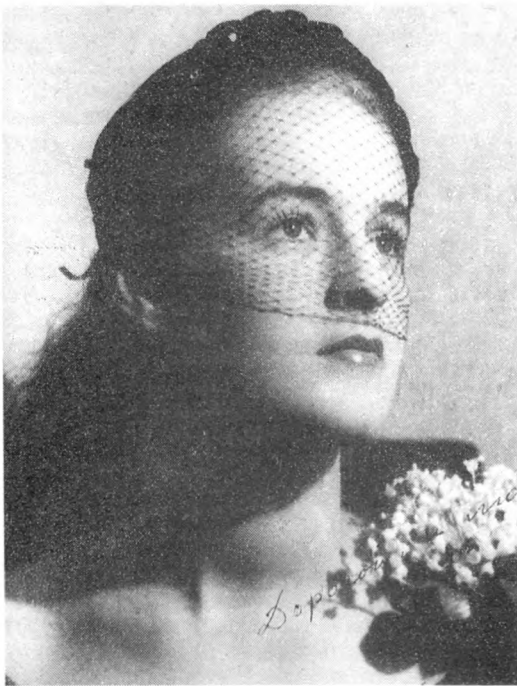
— Мы рекомендуем вам поехать в угрозыск.

В угрозыске я уже возмутилась: вдруг человеку плохо стало, вдруг у него инсульт, он не может встать, открыть дверь — мы сами откроем дверь, взломаем! Тут сотрудник угрозыска засуетился и заявил, что у нас нет такого права (!), что если мы сломаем замок, то кто его будет вставлять? И заметил, что ему случилось выносить трупы через три месяца после смерти...

Моя подруга (в угрозыск мы ходили втроем) решила поехать на квартиру к Сергею. Она звонила в дверь, но никто не отвечал. Вдруг дверь открылась, и ее рывком втянули внутрь... В комнате сидели трое, и еще одного человека она увидела на кухне. Подруга узнала в нем... Я не называю его фамилию, ибо Параджанов простил его, потом он работал у него ассистентом. Молодой человек привлекаетеленной внешности, с изящными манерами. Он был студентом Театрального института в Киеве, учился на кинофакультете. Сергей помогал ему писать сценарии. Но тогда этот человек выполнял роль подсадной утки. Это был стукач.

Подруге бросился в глаза страшный беспорядок в квартире: явно шел обиск. Искали какие-то несметные богатства, все было перевернуто, простукивалось, взламывались половицы, косо висели картины. Люди были во хмелю, на кухне стояли пустые бутылки из-под вина, которое Сергей привез в подарок врачам Сурена. Подругу тут же стали допрашивать: кто вы такая, зачем пришли, что вам здесь нужно? Они ей угрожали и взяли с нее расписку о неразглашении. А она — журналистка, показывает им свое удостоверение: «Почему вы при исполнении служебных обязанностей находитесь в нетрезвом состоянии?» Они струсили, начали оправдываться и отпустили ее, как говорится, с миром.

Потом я узнала, что они затянули в квартиру таким же образом еще несколько человек. Мир людей, вхожих в дом Сергея, был очень разношерстный — и в Тбилиси, и в Киеве. Там бывали знаменитости — С. Герасимов, Ю. Любимов, М. Плисецкая, С. Бондарчук, Джон Алдаик,



Жена С. Параджанова — Светлана

Тонино Гуэрра — и продавец овощной лавки, и дворник соседнего дома. Это была квартира открытых дверей. Какой-то парень — он принес овощи — тоже попался, его долго допрашивали, даже избивали.

Последней инстанцией, куда мы обратились, был КГБ. Нас встретил очень вежливый элегантный человек, внимательно выслушал и сказал: «Простите, мы действительно не имеем сведений о вашем бывшем муже».

Дней через десять на Киностудии Довженко было в спешке проведено профсоюзно-партийное собрание, где шельмовали Параджанова, клеймили его и отрекались. Весь город уже знал, что он арестован.

Наконец, мне позвонили из КГБ:

— Мы хотим поставить вас в известность...

— То, о чем вы хотите поставить меня в известность, известно всему Киеву, в том числе и мне.

— Каким образом?

— Это вам виднее.

В первых числах января 1974 года я встретилась со следователем УВД. Он хотел, чтобы я села и что-то написала. Я сказала: «Давайте так — задавайте вопросы, я буду отвечать, а вы записывайте». Когда он мне дал, записав с большим трудом, мои ответы, я машинально начала их править. Я ведь преподаватель русского языка, а там была масса ошибок, иногда по две ошибки в слове. Через некоторое время этот человек мне позвонил:

— Дело передано другому следователю, по особо важным делам, и в другое ведомство, в прокуратуру.

— Почему?

— Видите ли, мне никогда не приходилось вести дела с подобными обвинениями, я чувствую какой-то дискомфорт.

Так началось мое знакомство со следователем Макашовым. Он предпочитал допрашивать женщин. Вероятно, он думал, что женщины более болтливы или пугливы, и таким образом он сможет напасть на какую-то версию, потому что время от времени статьи, которые инкриминировались Сергею, менялись. То это была статья за взяточничество, то чуть ли не за валютные спекуляции.

Он вызывал Мусю, которая работала в магазине «Сыр» (Сергей прозвал ее Виолой, по названию финского сыра). Она человек добрый, мягкий, и Макашов разговаривал с ней особенно безжалостно. Мне она просто не могла повторить слова следователя. Ведь если человеку инкриминируют гомосексуализм, то понятно, какие должны быть детали, чтобы подтвердить это обвинение. Пользуясь ее замешательством и стеснительностью, Макашов подсадистски смаковал подробности.

Жене Сережиного друга он говорил: «Чего вы соблазняете меня своими коленками?» Или спрашивал Оксану Руденко (она рано поседела и волосы подсинивала): «Кто это вас окунал в чернильницу?»

Когда же он говорил со мной, то старался выяснить интимные подробности моей личной жизни, а допрашивая Сергея, замечал: «Ваша жена, которую вы так любите, она не одна, у нее кто-то есть...»

Он обманывал и Сергея, и нас, намеренно вводил всех в заблуждение, говоря, что ему дадут всего лишь год, а так как он уже полгода под следствием, то практически после суда его освободят. Но параллельно подыскивали человека, который дал на суде показания, что явился жертвой насилия.

Я не знаю его судьбы, он работал, кажется, в институте кибернетики и был физиком. Его фамилия Воробьев, я видела его пару раз в доме Сергея. И еще я его видела в день рождения Суренчика, 10 ноября. Это очень важно! Сын лежал в больнице, мы созвонились с Сергеем,

и он попросил меня передать врачам и нянечкам от него цветы, фрукты и торты. Когда мы встретились, Сергей был не один, а с этим человеком. Высокий, около тридцати лет, крепкий мужчина, который ну никак не мог бы стать жертвой насилия. Адвокат Сергея мне сказал, что Воробьев утверждает, будто был изнасилован как раз 10 ноября.

— Как? Я же его видела в тот день, был уже вечер, и если бы у человека случилось что-нибудь трагическое, он не выглядел бы так спокойно и весело и, уж конечно, не стал бы помогать насильнику переправлять цветы и фрукты!

Я говорила это и на суде, но этому не придали значения. Все было предрешено.

На суде Сергей был и прокурором своим, и адвокатом, и судьей. Он вел себя совершенно по-разному. Он был необычайно красив в эти дни. Ему шла борода, и на бледном лице — удивительной красоты глаза... (Я так мечтала, чтобы у сына были такие же глаза. Но нет, украинская кровь победила армянскую, как ни странно.) Сергей успел сделать мне комплимент, когда я выступала свидетелем, он сказал, что я очень хорошо выгляжу и мне идет черный берет в стиле ретро.

К концу суда произошла такая странная мистическая вещь. Как в плохом кино. Вдруг резко потемнело, даже зажгли электричество. И огласили приговор — пять лет! Вместо года, как ожидали. У Сергея были глаза раненого оленя. Он смотрел на меня, я отвернулась, потому что невыносимо было смотреть на него в тот момент, невыносимо. Громко зарыдала Рузана, его сестра. Сразу за оглашением приговора сверкнула молния и раздался гром. А дождя не было. Просто какая-то кара, кара Господня.

На следующий день нам разрешили свидание. Мы виделись через стекло и говорили по телефону. Он был уже обрит и очень этого стеснялся. Я же приободрила его, сказав, что ему это идет... Он был лихорадочно настроен, но пытался утешить меня. Я сказала: «Сергей, не волнуйся, мы подаем кассационную жалобу».

Вскоре после приговора, который оставили в силе, первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий сказал на очередном пленуме: «Наконец-то так называемый поэтический кинематограф побежден!»

Это было буквально по свежим следам событий».

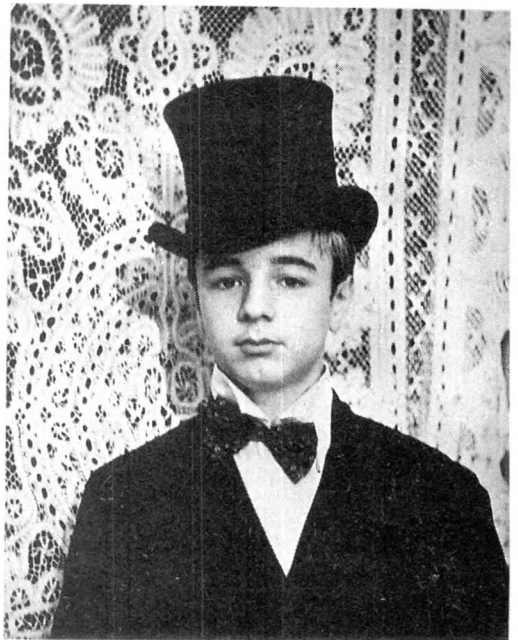
Но тогда в Москве зимой 1974 года мы почти ничего этого не знали, все было запутанно, непонятно, по телефону с Киевом говорить опасно, да и сама Светлана часто была в неведении.

Отчаянью Лили Юрьевны не было предела. Она в свои семьдесят три года нашла адвоката, помогала Рузана писать ходатайства, всех будоражила, чтобы заступились. Тоже очень старый Виктор Шкловский боролся вместе с нею. Однажды в Переделкине Инна привезла его на дачу к Лиле Юрьевне — всего-то на соседнюю улицу, но ноги не ходили. Виктор Борисович показал Лиле Юрьевне черновик письма на имя католикоса, которое она ему посоветовала написать. Они вместе кое-что в нем изменили, добавили, и за подписью Шкловского письмо было отправлено:

*«Глубокоуважаемый Католикос всех армян!*

*Вам пишет старый русский писатель и теоретик искусств Виктор Шкловский.*

*Еще молодым человеком в Университете я научился уважать древнюю армянскую культуру, слушая профессора Айналова. Несколько раз я был в Армении, видел ее старые камни, знал армянских художников, писателей.*



Сын С. Параджанова — Сурен



*В творчестве кинорежиссера Сергея Параджанова я увидел воскрешение и обновление армянского искусства, понял, что оно и сейчас живо и необходимо миру во всем своем своеобразии.*

*Сергей Параджанов имел немного картин, но его имя останется в советском искусстве и мировом. Он понимает своеобразие духи народа. Он осуществляет непрошедшую древность.*

*Его искусство своеобразно, не всем понятно, но оно будет понятно. Сам художник еще не стар. От него можно многого ждать.*

*Сергей Параджанов трудный, колючий, гордый человек. Многие люди искусства его не любят, еще большее количество ему завидует.*

*Сейчас Параджанов в беде: ему вынесен тяжелый приговор.*

*Подробностей процесса я не знаю, но мне кажется, что при определении судьбы Параджанова не было принято во внимание его значение в мире и, может быть, были замешаны случайные обстоятельства и гордая опрометчивость подсудимого.*

*Вы представитель великого народа.*

*Вы в какой-то мере отвечаете за каждый памятник Армении и тем более отвечаете за живого человека, в котором не умер огонь творчества талантливого, несчастливого, гордого народа, еще не признанного миром, недопонятого.*

*Вот почему я решаюсь затруднить Вас просьбой найти пути к заступничеству: Вы знаете этого человека, знаете ему цену.*

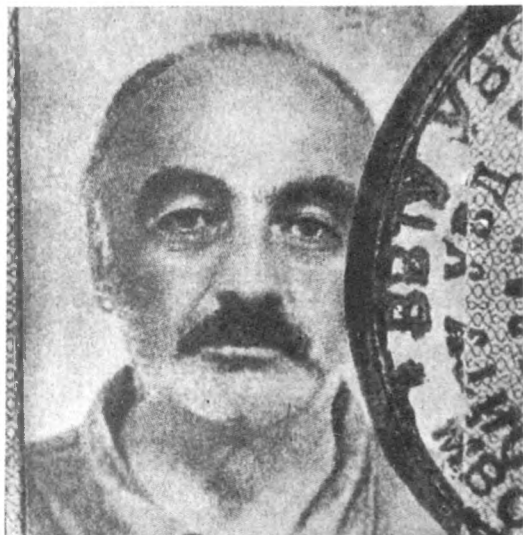
*С глубоким уважением  
Виктор Шкловский  
18 мая 1974 года*

Письмо осталось без ответа. Все другие попытки хотя бы смягчить приговор — а их было немало — ни к чему не привели.

И потянулись для Параджанова годы неволи...

Зона четко разделила его жизнь на «до» и «после». На свободе, постоянно возвращаясь мыслями к зоне, он вспоминал то одно, то другое, а какие-то истории мы слышали неоднократно, они уже стали его «номерами». Но была вещь, о которой он не хотел разговаривать. Он не мог ее объяснить. Не в силах постичь свою несуществующую вину, приведшую к столь тяжелому наказанию, он каждый раз уклонялся от беседы на эту тему. О причинах ареста ему было говорить тяжелее, чем о самом заключении.

На мой вопрос, почему он не хочет снять то, о чем говорит так образно, он отвечал: «Я не могу сам, ДОБРОВОЛЬНО, еще раз переступить порог тюрьмы».



Лагерная фотография Параджанова

Однажды он рассказал: «Как-то в зоне я увидел Джоконду, которая то улыбалась, то хмурилась, она плакала, смеялась, гримасничала... Это было гениально. Я понял, что она вечно живая и вечно другая, она может быть всякой и эта великая картина неисчерпаема. Знаешь, почему она была то такая, то ская? Когда во время жары мы сняли рубахи и работали голые до пояса, то у одного зека я увидел на спине татуировку Джоконды. Когда он поднимал руки — кожа натягивалась, и Джоконда смеялась, когда нагибался — она мрачнела, а когда чесал за ухом — она подмигивала. Она все время строила нам рожи!»

Поражаешься неукротимости его фантазии на тему Леонардо. Из одного и того же лица и двух рук — бессчетное количество композиций. Он их сотворил и в зоне, и потом, до конца дней. У Беллы Ахмадулиной я видел Джоконду с физиономией... Сталина! Чистый гиньоль.

На замечание какого-то дурака, что он кощунствует, Сережа возмутился: «Я же не разрезал полотно в Лувре, я послал племянника в писчебумажный магазин, и он на пять рублей купил мне кучу репродукций. Поезжайте

в Париж и убедитесь, что ваша Лиза сидит на месте!»

Лагерные Джоконды были размером с открытку, чтобы их можно было вложить в конверт.

Его письма тех лет из зоны начисто лишены даже намек на юмор, зона не оставляла ни надежды, ни оптимизма. Оттуда он шлет матери прядь волос с просьбой, если он не вернется, похоронить их там, где похоронены родные... Он не был уверен, что возвратится, он знал, что его «вина в том, вероятно, что я родился» (из письма Светлане), он знал, что была директива не выпускать его на волю никогда, что ему будут плюсовать срок за срок — предлог всегда спровоцируют, — и так до конца, до смерти. Все это не оставляло места для оптимизма. «Ничего смешного нет!» — сказал он Рузане при свидании и с тех пор перестал улыбаться...

Он не обладал каторжным здоровьем, у него был диабет, шалило зрение, побаливало сердце. «Светлана, пришли бандеролью, может, и пройдет, цукерки дешевые с разными витаминами и средствами укрепления сердца». Лиле Брик он писал: «Ничего не надо, спасибо, кофе не надо, но немного кардиамин и анальгина, сколько пропустят. Димедрол нельзя».

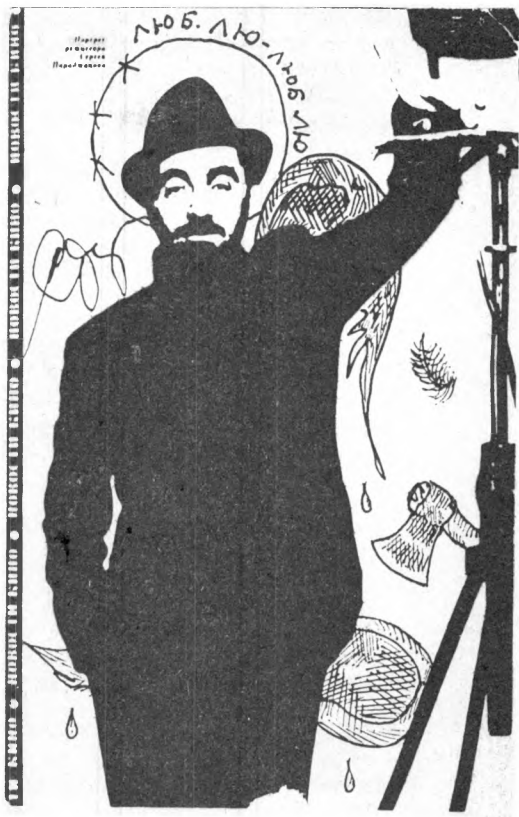
Если уж говорить о здоровье, то, конечно, тюрьма сильно подкосила его, не могла не подкосить. «Я был дворником на территории, и они залили водой цех, примерно шестьдесят сантиметров была глубина воды, триста квадратных метров воды, если не шестьсот. Я должен был ночью ведрами вытащить всю эту воду, чтобы не сорвать рабочий день. Холод, мороз, я в воде, мокрые ноги, сапоги... Потом надо было ломом ломать этот лед, ломал и выкидывал. Могло ли быть у меня воспаление легких, перенесенное вот так? Могло! И прогнившее легкое, которое сейчас вытащили, оперировали». Сережа умер в своей постели — но это тюрьма достала его там через годы...

Он был прачкой, сторожем, дворником, швеей — шил мешки для сахара. Из одного лоскута мешковины он соорудил куклу «Лиля Брик» и как-то прислал клочок дерюги в письме Виктору Шкловскому. Теперь это музейный экспонат не только потому, что нет больше этих двух замечательных людей, но нет ни сахара, ни мешков...

И — странное дело. Если зона наложила злой отпечаток на его жизнь, то фильмов она никак не коснулась. И он не мог мне объяснить, почему. Он молчал. Видимо, он ни разу над этим не задумывался. В самом деле, ни в «Сурамской крепости», ни в «Ашик Керобе», ни в наметках «Исповеди» вы не найдете ни горечи, ни злости, ни мести, ни сарказма. Я думаю, что природная доброта и оптимизм взяли верх. Юмор к нему вернулся сразу же после освобождения: «Когда мне сказали, что я буду работать в гран-карьере, то я решил, что это очень большой карьер, слово «гран» я знал только в сочетании «Гран-при», что мне присудили в Аргентине. А тут, оказывается, мне присудили гран — гранитный карьер. Всего-то и разницы».

И еще красочно живописал «Грот Венеры»: «Представь в углу двора деревянный сортир, весь в цветных сталактитах и сталагмитах. Это зеки сикали на морозе, все замерзло, и все разноцветное: у кого нефрит — моча зеленоватая, у кого отбили почки — красная, кто пьет цифирь — оранжевая... Все сверкает на солнце, красота неопишущая — «Грот Венеры!».

Все годы несвободы он переписывался с родными и друзьями более или менее постоянно. Но с Лилей Брик — с первого до последнего дня. И почти всегда в письме Сережи был коллаж, настоящее произведение искусства. Материалом служили засушенные цветы и листья, сорванные у тюремного забора, конфетные фантики, лоскутки и обрывки газет. Что-то он вырезал из кефирных пробок, найденных на помойке возле кухни. Под письмом стояла подпись: автопортрет с нимбом из колючей проволоки.



Конечно, Лиля Юрьевна и отец все бережно хранили, некоторые вещи окантовали и повесили рядом с самыми любимыми картинами.

Привожу несколько страниц их переписки, сохраняя орфографию подлинников.

(Открытка 18.3.75)

*«Удивительная Лиля Юрьевна и Василий Абгарович!*

*Как выразить Вам благодарность и восторг за доброту Вашу и нежность. Ваши письма отсылаю в Киев на сохранение. Они похожи на сонеты! Смотрели ли Вы «Зеркало» Тарковского? Думаю, что это праздник!*

*7 марта, после четырех месяцев, Верховный совет УССР в помиловании отказал!*

*Смирнов Л. И. 20 февраля затребовал характеристику и состояние здоровья. Состояние — плохое. Начали срочно колоть АТФ и кокарбоксылазу.*

*Самое страшное в моем состоянии — что мне не верили в период следствия и на суде. Меня перебивали. Это метод моего обвинителя. Думаю — лучшее в моем положении, это дожить до конца срока — 3 года и 9 месяцев. Вероятно, стоило жить, чтобы ощутить в изоляции, во сне, присутствие друзей, их дыхание, их тепло и запахи, хотя бы ананаса\*, которого Вы касались.*

*Сергей*

*Бесценный наш Сергей Иосифович! Беспокоимся, беспокоимся.*

*Что будет дальше?*

*Почему в Виннице?\*\*\**

*Когда увидимся?*

*На что надеяться?*

*Смотрели, наконец, «Зеркало». Все понятно и мало интересно и снято посредственно. Но все же не скучала, хотя плохо слышала и стихи Тарковского, и голос Смоктуновского за кадром. Ведь я глуховата. Вася отнесся к картине более терпимо. Ему даже, скорее, понравилось. А Ренато Гуттузо, который был с нами, доволен, что и сняли и показали такое и удивлялся на наших зрителей: сказал, что у них через 15 минут половина зала опустела бы.*

*При всем моем чудесном, доброжелательном отношении к режиссеру — никакого сравнения с «Ивановым детством» и «Рублевым», а уж с Вами — говорить нечего!! Обнаружили у нас сказки Андерсена в прекрасном немецком издании. Господи, что же делать!..\*\*\**

*Как Ваше здоровье? Берегите себя, если можете.*

*Обнимаем, целуем, ждем  
Лили, Вася*

*Р. С.— Серезенька, крепко целую тебя. Вася.*

*Это твоя фиалка. Она регулярно цветет. Л. Ю. ее поливает»\*\*\*\*.*

*«Дорогая Лиля Юрьевна, Василий Абгарович!*

*Получил — фиалки. Освоился с новым местом — пишу. Думаю, что все осложняется, надежд никаких. Надо ждать звонка. Это конец срока!! Жутко, т. к. на эту среду я не рассчитывал. Это строгий режим — отары прокаженных, татуированных, матершинников. Страшно! Тут я урод, т. к. ничего не понимаю — ни жаргона, ни правил игры. Работаю уборщиком в механическом цеху. Хвалят — услужлив! Часто думаю о Вас. Вы превзошли всех моих друзей благородством. Мне ничего не надо — только одно: пригласите к себе Тарковского, пусть побудет возле Вас — это больше, чем праздник.*

*Целую Вас всех.  
С.*

*1—6—75*

*Винница, Стрижевск, уч. 301/81 3 отряд Параджанову»*

\* Л. Ю. Брик отправляла в тюрьму посылки. На сей раз в ней были конфеты с ананасной начинкой.

\*\* С. П. перевезли в лагерь под Винницей.

\*\*\* С. П. собирался снимать сказки Андерсена.

\*\*\*\* Моя приписка: я приклеил цветок фиалки, что Сережа подарил Л. Ю. при знакомстве.

«9.6.75

*Самый любимый, самый родной, удивительный Сергей Иосифович!  
Вчера были у Шкловских. Говорили о Вас, о Вас, о Вас и немного о Толстом (Льве),  
о Чехове. Мы все же надеемся...*

*У Андрея Тарк. нет телефона. Телефон Арсения не отвечает. На днях Вася  
младший съездит к ним. Если Андрей в Москве — пригласим его. Будем рады очень.  
Купили Суренчику две красивые рубашки. Отправили почтой. Надеемся, поспеют  
к выпускному вечеру.*

*Фиалка Ваша цвела, как безумная и сейчас уже отцветает.*

*Мы так скучаем по Вас!!!*

*Так любим!!! Так надеемся скоро увидеться...*

*Обнимаем нежно.  
Ваши Лили, Вася*

*Крепко обнимаю и целую — Вася».*

«16.7.75

*Лилия Юрьевна и Василий Абгарович!*

*Появилась возможность написать Вам. Жив, здоров, работаю. По-прежнему люблю Вас, благодарю за внимание ко мне и сыну. Очень тронули «сорочки». Воспринял их, как «благословение». Не знаю, во что оценивается Ваша доброта и сердце. Что и когда я мог бы выразить в ответ? Пряный Восток, который я представляю, состояние нервов и испуг перед происшедшим лишают меня возможности мечтать. Я воспринимаю все реально и считаю процесс необратимым. Привыкаю к происшедшему и осознанно бесполезность свою в первую очередь. Для «чуда» мне необходимо Ваше здоровье и доброта. Мне ничего не надо. Если что — попрошу. Смотрите фестиваль. Очень рад, что есть казахск. «Кр. яблоки»\*. Восток — прорвало!*

*Целую Вас и люблю (Сергей)».*

«12.9.75.

*Лилия Юрьевна, Василий Абгарович!*

*Бандероль с блоком и жвачкой получил. Остальное отказали\*\*.*

*Не переживайте! Не беда! Прошу Вас, не терзайте себя. Я на очень строгом режиме! В знак благодарности посылаю Вам и Василию Абгаровичу рукоделия. Не указываю, что кому. Прошу одно, берегите себя. Может быть и есть Бог! Мир Босха удивителен. Какой это круг ада по Данту — я не знаю. Но для всех я тут сумасшедший старик — что-то проповедующий и клеющий.*

*Никулин — удивительный человек. Прекрасный художник и, к сожалению, не удалось (ему) сняться у меня в роли Андерсена. Он — Сирано де Бержерак, а не хохмы, которые он изображает на соц-экране\*\*\*.*

*Спасибо Вам, мои дорогие и любимые. Пока мне ничего не надо.*

*Мне сообщили, что меня представят на «химию» — но не было пока ни комиссии, ни суда. Надо уметь доигрывать затеянную буффонаду. Это необходимо. Привет всем. Прошу Вас, берегите себя.*

*Сергей*

*При сем четыре коллажа из коры и засушенных цветов».*

«21.9.75

*Смерть Пазолини потрясла меня. Как смог, я выразил в коллаже «Реквием»\*\*\*\*. Не уверен, что он застанет Вас в Москве. Поклонитесь Франции и могиле сестры\*\*\*\*\*. Берегите себя. Мое молчание приносит Вам волнения! Я знаю, что причины молчания — разные. Василий Абгарович прислал: «пишите без слов». Нет слов! Нет,*

\* «Красные яблоки» (1975) — фильм киргизского режиссера Т. Океева.

\*\* Посылка от Л. Ю., из которой дошли только сигареты и жвачки. Их он отдавал охране за право делать коллажи. «Отказали» в передаче фуфайки, одеколona и сала.

\*\*\* Параджанов собирался снимать Юрия Никулина в роли Ганса Христиана Андерсена.

\*\*\*\* О Пазолини ему написала Л. Ю. В конверт вложен коллаж «Реквием».

\*\*\*\*\* Сестра Л. Ю. Брик — Эльза Триоле, французская писательница (1896—1970).

и все. Исчезли. Неизвестно. Вероятно, шок. Ваши заботы настолько трогают меня, что я не могу просто говорить «Спасибо». Надо выжить!

Недавно Светлана получила мои последние рисунки — очень удивило и количество и качество их. 30 рисунков «Прощание с Украиной». Рисунки — декоративное панно и всякое.

«Плач Пазолини» сделан под впечатлением букета цветов, висящих на потолке в первой комнате. Хочу начать писать «главное» — уже память не держит. Растеряю! А что, если я ее лишу?

Целую Вас, дорогие».

«29.12.75

*Сергей Иосифович, Сереженька, самый родной наш!*

Не было дня, чтобы мы там не думали и не говорили о Вас с большими людьми\* Что-то они предприняли — авось, поможет\*\*. Смотрели «Тени» при переполненном зале. Толпа на улице. Многие не попали\*\*\*.

Видели последний фильм Пазолини\*\*\*\*. Кошмар!!! Видит Бог, я не моралистка, но тут я пожалела об отсутствии цензуры. Это был закрытый просмотр, фильм пока не выпущен на экраны. Арагон сказал: «Это не фильм, это самоубийство». Понятно, что его так зверски убили\*\*\*\*\*. А как это талантливо!

В Москве нас ждало Ваше письмо с Реквиемом и письмо Юры, на которое я ответила немедленно. Он делает все, чтобы поехать на гастроли в Киев\*\*\*\*\*.

Выставка Маяковского пользуется невиданным успехом, как ни одна выставка года. Две телепередачи, радиопередачи, пресс-конференция. Толпы молодежи. Так хочется поговорить с Вами обо всем. Больше не с кем. Вы не знаете, как мы любим Вас!! Вам от этого не легче, понимаю. Ради создателя, пишите нам, что Вам нужно. Какие у меня были угрызения совести, что мы в Париже!!! Посылаю Вам пригласительный билет на выставку. Мы вернулись на две недели раньше срока, чтобы быть ближе к Вам. Подумать только, что мы виделись с Вами только два раза! Мы влюблены в Вас... Никого нет роднее, ближе Вас.

Обнимаем крепко, крепко  
Лили, Вася.

*P. S. Рузана Иос. подарила нам Вашего Деда Мороза и толстовский самоварчик. Спасибо!!»*

«21.6.76

*Дорогие Лилиа Юрьевна и Василий Абгарович!*

Получил Ваши письма — отвечаю.

1. Цветы делал не я. А Зозуля Данко, банищик (6-я судимость)\*\*\*\*\*.  
2. Портрет св. Серафимы делал Рогозь Гымза, грузчик (3-я судимость). С нимбом и крестом.

3. Я ничего не пишу и не рисую. И не собираюсь. Это ни к чему! Читал «Амаркорд»\*\*\*\*\* — потрясло, т. к. мир, окружающий меня, сильнее, чем мир мини-атюр итальянского Атиго. Сожалею, что Светлана не дала Вам прочесть иллюстрированный сценарий «Исповеди»\*\*\*\*\*. Это одно с Феллини, немного постаршее. Очень просил бы Вас прочесть и посмотреть фотоиллюстрации.

Моя половина — т. е. два с половиной года, отсиженные мной, так и останется половиной. В моем положении мне необходимо осознать трагизм моей изоляции и ни

\* Л. Ю. и В. А. были в Париже.

\*\* Во французских газетах появились статьи о судьбе С. П. и о его фильмах, а в Марселе — «Общество освобождения Параджанова».

\*\*\* В связи с арестом С. П. на парижские экраны снова выпустили «Тени забытых предков».

\*\*\*\* «Сало, или Сорок дней Содом».

\*\*\*\*\* Пазолини был зарезан ночью на пустынном берегу при невыясненных обстоятельствах.

\*\*\*\*\* Юрий Никулин принимал активное участие в хлопотах по облегчению участи С. П.

\*\*\*\*\* Сергей прислал букет цветов, искусно сделанный из разноцветной проволоки, и Л. Брик думала, что это его работа.

\*\*\*\*\* Л. Брик послала ему сценарий фильма.

\*\*\*\*\* Сценарий Параджанова, к которому он сделал серию фотографий.



луче виднее.



на что не рассчитывать. Ни на что! И главное — в режиме содержания — я получил «взыскание», выговор, что лишает меня всех льгот, в частности — 2 рубля ларьковых\* и личного свидания дополнительного. В получении взыскания есть доля моей вины. Я еще не осознал сложность среды и окружения, среди которого я нахожусь... К сожалению, я не Маугли, чтобы изучать язык джунглей.

Дорогие Лиля Юрьевна и Василий Абгарович, сидеть я буду весь срок. Это тоже необходимо. Пугает меня одно, это — тревога Лили Юрьевны, ее сон и грустные нотки между строк. Вы, в происшедшей моей переоценке ценностей и людей, оказались удивительно щедрыми, мудрыми и великими. Вас не удержал тот страх, что овладел близкими моими друзьями на Украине, и в Грузии. Я, вероятно, не знаю за что сижу и сколько буду сидеть. Я признал свою вину и должен был сидеть год. Однако, я осужден на пять лет. У меня изъята квартира и я лишен мундира художника и мурщины. Но это не главное. Главное — что потом? Что будет в судьбе Светланы, сына и моего искусства, которое я еще не выразил на экране в полную меру?

Вы щедро балуете меня, сына, сестру. Все это меня радует и огорчает, т. к. я не могу найти средств ответить Вам тем же. А что, если я не доживу этот удивительно длинный 1001 ночь и день!!!

Лиля Юрьевна! Я просил Светлану пойти на подвиг и расписаться со мной в условиях изоляции. Т. е. имея сына и ее согласие, в лагерь придет ЗАГС и мы будем обвенчаны и нам поднесут даже шампанское. Обряд страшный, но в моем положении удивительно чистый и необходимый. Светлана умный и красивый человек, понимает мое положение и имела бы право как женщина и друг принять этот крест. Однако, она молчит. Как Вы относитесь к этой идее?

\* Деньги, которые заключенный мог потратить в тюремном ларьке.

Посылаю Вам фото с работ моих друзей Михаила Грицюка и Юлика Сенкевича, они же авторы Т. Шевченко у гост. «Украины»\*. Они открывают открытые миры, но талантливо и персонажи сенсационные — Стравинский, Мравинский, Пастернак, Ростропович, Достоевский и я в образе Прометея. Они прислали свои работы мне, но я посылаю Вам часть — Вам знакомых.

Волнуюсь за Суренчика — экзамены, что и как. Сдаст, перевалит или нет. Это главное.

За Рузану очень волнуюсь, т. к. считаю, что ей надо заняться своим здоровьем, а ее не хватает на главное, все время суета сует и на главное не хватает ни средств, ни времени. Ко мне она очень добра и внимательна, ее отношение ко мне — подвиг. Хватит ли у меня сил и средств отплатить ей тем же? (Я все еще купец).

Я задумал серию коллажей, их 3—4 посвящены супругам Щедрину—Плисецкой. Это пластические этюды. На зло Григоровичу. Следствие хотело изъять у него запонки Фаберже — орлы и бриллианты, подаренные мною и два веера XVII века Буше и Ватто! Он сказал, что он меня плохо знает, забыв о том, как мы, достаточно подвыпивши, явились к Вам в ночи и испугали даму в Вашей квартире. Вас не было\*\*.

Прошу Вас — берегите себя. Пасьянс отставить. Кислород и прогулки. Поменьше гостей. Восстановить сон. Достать мумие. Пить настой. (Рузана позвонит Сурену в Киев, он передаст для Вас мумие). Назад к природе. Все было! Все пережито! Все повторяется. Целуйте Шкловских, В. А. и Василия, Инну. Я огорчаю Вас письмом. Но оно неизбежно. Мне надо набрать сил и сидеть. Уньние и жалость отменяются. Целую Вас.

Все посланное Вами — это был праздник. Больше, чем праздник. Это Ваш визит».

*«Лиля Юрьевна и Василий Абгарович!*

*Получил на новом месте — Ваше письмо. Потом от Васи.*

*На новом месте — работаю швейцаром в штабе, но уйду в пожарники. Пока ничего не надо. Зона сложная и суровая. Шахты-терриконы. Жаргон. Везли через Днепропетровск. В Днепропетровске — Днепр, это тюрьма душевнобольных. Я думал, что везут в Днепр. Богу — слава, минуло.*

*Одессит, друг-растратчик 140 тысяч по имени Михаил Яковлевич по фамилии Брик — убеждал меня, что Вы с ним в родстве по Одессе! Не спорю, т. к. он мил и беспомощен, так же, как и я.*

*Давно нет (писем) от Светланы, жду от них, писал и Рузане. Берегите себя, это главное. У меня скоро 3 года. Это подвиг. В деле у меня выговор. Какую характеристику они дадут в Москву? В справке была провокация! Меня надо было лишить «Стройки народного хозяйства». Необходим был выговор. Для этого они давали прелестное ходатайство в Киев, прося помиловки. Но потом или кто-то вмешался! И все кончилось моим гонением в другую зону. Через год будет то же.*

*Спасибо Васе за музыкальное и тонкое письмо. Надо лечиться и упорно! Читали ли Вы «Амаркорд»? Десять лет тому я писал «Исповедь» — о жизни кладбища. Сожалею, если не читали. Светик может послать. Суренчик удивил подвигом — II курс! Нет прекрасного и смешного в изоляции, которого я не хотел бы послать Вам. Светлане создал куклу «Тутанхамон» — ее привезут из Стрижьевки.*

*Целую Вас. Спасибо за внимание к Рузане. Я знаю, что ей тяжело. Есть ли Бог? Усы — разрешили! Ура. Уже тепло. (Сергей)».*

«26.12.76

*Дорогие Лиля Юрьевна и Василий Абгарович!*

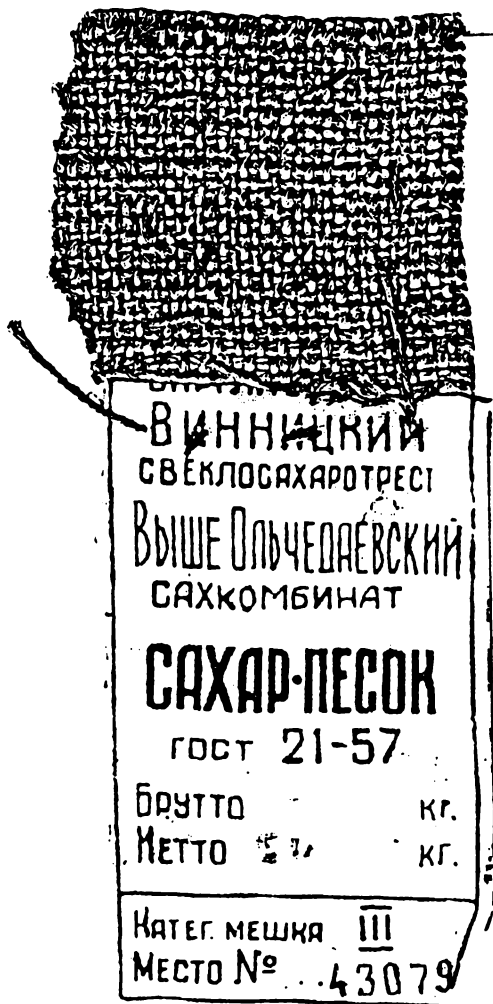
*Давно не писал! Нет сил и информации! (Несмотря на сложности цензуры). Все, присланное Вами, получил! Почта идет долго, задерживается, но доходит. Сегодня 18 декабря. Завтра день рождения Л. И.\*\*\*, а вчера у меня было три года.*

\* Памятник Тарасу Шевченко перед гостиницей «Украина» в Москве.

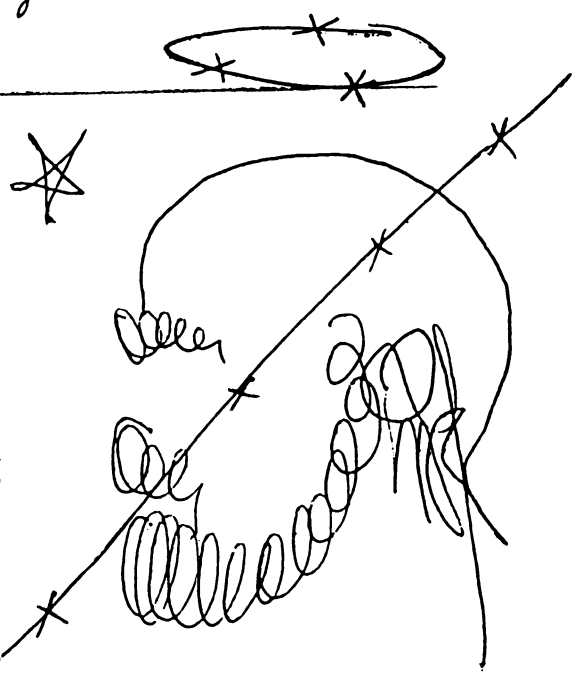
\*\* Однажды Сергей и балетмейстер Юрий Григорович зашли к Л. Ю., предварительно не позвонив, и не застали ее дома. «Испугали даму» — домработницу (менее всего похожую на даму), которая их не впустила.

\*\*\* Л. И. Брежнев.

Улицу Все  
Берегите себя!  
Все в кучи и спеш!  
Ваш спеш!



ВИННИЦКИЙ  
СВЕКЛОСАХАРТРЕСТ  
ВЫШЕ ОЛЬЧЕДАЕВСКИЙ  
САХКОМБИНАТ  
**САХАР-ПЕСОК**  
ГОСТ 21-57  
БРУТТО КГ.  
НЕТТО КГ.  
Катег. мешка III  
Место № 43079



*С режимных соображений мне поставлена полоса в деле. Это «расположен к побегу или к самоубийству». Удивлен, думаю, что это провокация. Фильм о школе пока не снимается, т. к. это есть только желание директора школы\*.*

*Лагерь большой и голодный. Не знаю, какой будет следующий. Через 9 месяцев меня, вероятно, увезут снова! Приезжали ко мне актеры из Луганска. Их допустили ко мне и (на) сцену. Был почтительный восторг. Заключенные плакали. Они увидели живых актеров.*

*Не нашел формы и выражения поздравить Вас с днем рождения. Примите «Кармен-сюиту»\*\*, экспромт, который понравился. Берегите себя и нас. Вы удивительные друзья все четверо\*\*\*. Что дальше — время покажет. Писать боюсь, т. к. могу вызвать недоверие. Клеить и рисовать разрешают, т. к. это их забавляет. Ощущаю Вас и Ваше дыхание не в зависимости от возраста. Вы идеальный друг и человек. Светлана ехала к Вам и готовила себя не поддаться Вашему обаянию — и мне она писала, что через минуту она была сломлена...*

*Целую вас (Сергей)».*

«30.12.76

*Сереженька, наш драгоценный! (по-другому не пишется).*

*С новым годом! Со старыми друзьями! (Мы в их числе). Только что ушли от нас Вася 2-й и Инна. Они едут в Таллин встречать новый год с Ининым братом и его семьей. Вася напишет Вам оттуда. Я люблю читать его письма — смешные!*

*Шкловский сходит с ума — серьезно болен его внук: возможно, что ему придется вырезать одну почку. Виктор Борисович обожает внука.*

*Напишите, можно ли послать Вам фотографии. Очень хороший фотограф снял нашу квартиру и нас в ней. Спасибо за открытку. Каждое Ваше слово — подарок!!!*

*В грузинском постпредстве была хорошая выставка Пиросмана. Сегодня нам вернут наши картины. Я скучаю без них. Но по Вас мы скучаем много, много больше. Если бы Вас вернули нам!!!! В Москве — мороз. Я его терпеть не могу. Правда ли, что Вам дают возможность снять фильм? И с Вашим оператором? Или это очерредные слухи?*

*Целуем, любим, желаем...*

*Лиля, Вася»*

Из интервью, которое взяли у Л. Ю. Брик для радио ФРГ:

«Я говорила с ним всего два раза. Не помню, когда еще жизнь сталкивала меня с таким интересным человеком. Какой вкус! Как видит он все вокруг себя! Как в упор говорит то, что думает! Не хочет подчиняться, ходить на поводу. И, видимо, добр безмерно. Посмотрите его картины «Тени забытых предков» и «Саят Нова». Комментарии излишни. Такой художник — наша слава — не должен сидеть за решеткой, тем более ни за что».

Однажды, отправляя ему письмо, я спросил Лилию Юрьевну, что приписать от нее? — «Напиши ему, что мы буквально грызем землю, но земля твердая». Так оно и было: усилия всех, кто боролся за его свободу, не приводили ни к чему.

И тогда Лиля Юрьевна стала будоражить иностранцев через корреспондентов, с которыми была знакома. Появились статьи, главным образом во Франции. Они были вызваны ее энергией. Статьи повлекли за собой демонстрацию его фильмов. В Вашингтоне я видел рекламу «Саят Новы»: «Фильм великого режиссера, который за решеткой».

Но главное — Лиля Юрьевна уговорила Луи Арагона приехать в Москву, куда он не ездил уже много лет, будучи возмущен многими нашими деяниями в области внешней и внутренней политики: процесс Синявского и Даниэля, Пражская весна, Солженицын — да мало ли еще чем? Ради Параджанова Лиля Юрьевна просила Арагона принять орден Дружбы народов, которым его пытались умаслить, ибо иметь в оппозиции такую фигуру, как лауреат Международной Ленинской премии Мира, сильно не устраивало ни Суслова, ни Брежнева. Лиля Юрьевна, преодолев недомогание и возраст, согласилась полететь в Париж на открытие выставки Маяковского, чтобы лично поговорить с Арагоном. И она убедила его закрыть глаза на орден ради шанса освободить Параджанова.

Из письма от 31 октября 1977 года: «Наш бесценный Сергей Иосифович! Давно не писали Вам. Я все время болею и от этого в мерзком настроении. Ужасающая слабость! Выхожу на полчаса в день, до угла и обратно. Сейчас Василий Абгарович поехал на аэродром встречать

\* Директор близлежащей школы хотел, чтобы С. П. снял фильм о его учениках.

\*\* Коллаж из конфетных оберток и фольги.

\*\*\* Л. Ю. Брик, мой отец, моя жена и я (прим. автора).



### Лиля Брик и Луи Арагон

Арагона, а я сижу дома и жду, когда они позвонят из гостиницы... Стыдно, конечно, мне жаловаться Вам! Но на Арагона я очень надеюсь...»

Полуофициальная встреча состоялась в ложе Большого театра на балете «Анна Каренина». Брежнев к просьбе поэта облегчить участь опального режиссера отнесся благосклонно, хотя фамилию его никогда не слышал и вообще был не в курсе дела. Первой об этом узнала Плисецкая, к ней в грим-уборную в антракте, после разговора зашел Арагон. Майя Михайловна дала знать нам, и у нас впервые появилась надежда...

В результате 30 декабря 1977 года Параджанова освободили на год раньше срока! И сделала это, в сущности, Л. Ю. Брик в свои 86 лет...

Сереза полетел прямо в Тбилиси. Он ничего не сообщил Лиле Юрьевне, никак не дал знать о себе, даже не позвонил. Пришлось разыскивать его по телефону, я звонил Софиико Чиаурели в Тбилиси, чтобы его поймать. Время шло, но он не объявлялся. Лиля Юрьевна была несколько смущена, но она так его боготворила, что оправдывала его поведение: «Он столько пережил...»

— Это конечно. Но уже третью неделю он беспробудно кутит, ходит по гостям, рассказывает всякие истории, а написать вам пару строк или позвонить не хватает сил?

— Это несущественно,— отвечала она задумчиво.

И вправду.

Но наконец он настал, этот долгожданный день. Сереза приехал в Москву и пронесся, как вихрь, по всем знакомым. Ворвавшись к нам, он тут же начал все перевешивать на стенах, переставлять мебель, хлопать дверцами шкафа и затеял сниматься «на фотокарточку». Энергия была ключом. После его ухода раскардаш был чудовищный, будто Мамай прошел, но мы были счастливы, что все наворотил именно Сереза.

С Лилией Юрьевной они виделись каждый день, не могли наговориться, не могли насмотреться. Но она недоумевала, что Сереза не звонит Шкловскому, который ждал его каждый день и тоже ничего не мог понять в его поведении. Она просила меня образумить его. Куда там!

Однажды к Лиле Юрьевне пришел фотограф Валерий Плотников (Сереза звал его «Блоуп-ап»). Параджанов, дорвавшись, режиссировал: снял со стены и держал с моим отцом коврик, подаренный Лиле Юрьевне Маяковским, попросил ее надеть бальное платье, присланное Сен-Лораном. Получилось нечто странное, но слава Богу, что получилось и осталось. Снято было несколько вариантов — с ковриком и без. Фото часто публикуют, подписывая что вздумается. Например, в 1990 году в американском журнале «Арагат»: «Сергей Параджанов со своей мамой в Тбилиси»...



Вдруг выяснилось, что Параджанов решил уехать на два года. Куда? В Иран! Лиля Юрьевна и Василий Абгарович очень одобрили эту затею и помогли составить письмо, которое Сережа и отнес по назначению:

*«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!*

*Беру на себя смелость обратиться к Вам, потому что с Вашим именем я связываю счастливую перемену в моей судьбе — возвращение меня к жизни.*

*Трагические неудачи последних лет, суд и четырехлетнее пребывание в лагере — это очень тяжелые испытания, но в душе у меня нет злости.*

*В то же время моральное состояние мое сейчас таково, что я вынужден просить Советское правительство разрешить мне выезд в Иран на один год. Там я надеюсь прожить этот год, используя мою вторую профессию — художника.*

*Здесь у меня остаются сын 17 лет и две сестры — одна в Москве, другая в Тбилиси. Мне 52 года. Я надеюсь через год их увидеть, и быть еще полезным моей родине.*

*С глубоким уважением  
С. Параджанов.*

*Москва, 4 марта 1978 г.»*

С позиций сегодняшнего дня это его решение выглядит логичным и естественным. Но тогда оно мне показалось безумным:

— Сережа, что ты будешь делать в Иране?!

— Сниму «Лейли и Меджнун». Мне нужен всего лишь рваный ковер и полуголые актер с актрисой.

И снял бы. Но ответ, конечно, был отрицательный.

И вот еще что о дружбе Сергея Параджанова с Лилей Брик.

Будучи уже тяжело больным, он прочитал «Воскресение Маяковского» Ю. Карабчиевского и написал — по-моему, это последнее письмо в его жизни — в журнал «Театр». Но редакция его не напечатала. (Копию он послал в архив Л. Ю. Брик в ЦГАЛИ.)

Письмо Параджанова ставит все на свои места в истории взаимоотношений этих двух незаурядных личностей:

*«Должен сказать, что с отвращением прочитал в Вашем журналеopus Карабчиевского. Поскольку в главе «Любовь» он позволил себе сплошные выдумки — о чем я могу судить и как действующее лицо и как свидетель — то эта желтая беллетристика заставляет усомниться и во всем остальном.*

*Хотя имя и не названо, все легко узнали меня. Удивительно, что никто не удосужился связаться со мною, чтобы элементарно проверить факты. Только моя болезнь не позволяет подать в суд на Карабчиевского за клевету на наши отношения с Л. Ю. Брик.*

*Лиля Юрьевна — самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба — никогда не была влюблена в меня, и объяснять ее смерть «неразделенной любовью» — значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. Известно (неоднократно напечатано), что она тяжело болела, страдала перед смертью и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. Как же можно о смерти и человеческом страдании писать (и печатать!) такие пошлости!*

*Наши отношения всегда были чисто дружеские. Так же она дружила с Щедриным, Вознесенским, Плисецкой, Смеховым, Глазковым, Самойловой и другими моими сверстниками.*

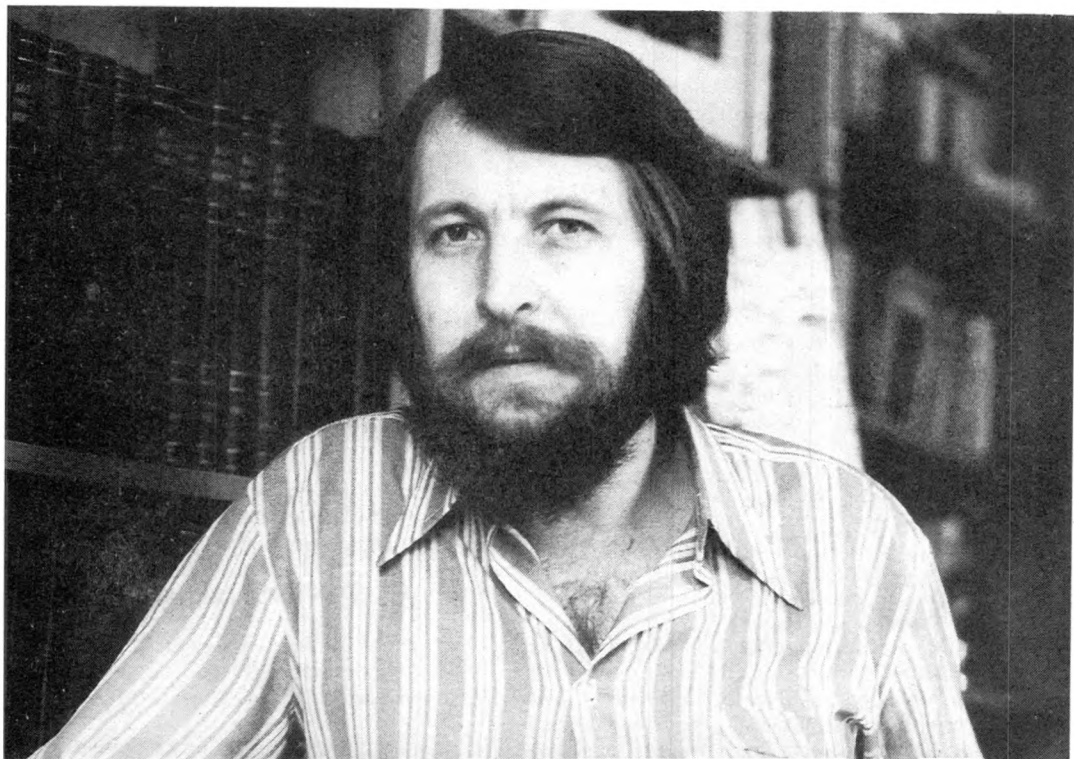
*Что ни абзац — то неправда: не было никаких специальных платьев для моей встречи, никаких «браслетов и колец», которые якобы коллекционировала Л. Ю., не существует фотографии, так подробно описанной и т. д. и т. д. и т. д. ...*

*Не много ли «и т. д.» для одной небольшой главы? Представляю, сколько таких неточностей во всех остальных. Но там речь об ушедших людях, и никто не может уличить автора в подтасовках и убогой фантазии, которыми насыщена и упомянутая мною глава.*

*Сергей Иосифович Параджанов  
Тбилиси, 26 октября 1989».*

*Публикация книги В. Катяняна «Сережву, или Страсти по Параджанову» будет продолжена в следующих номерах.*

# АНДРЕЙ СМИРНОВ



Андрей Смирнов, 1976 г. Фото Галины Кмит.

## ХОЖДЕНИЕ В СЦЕНАРИСТЫ

*Кино, кроме прочих отличий от других искусств, требует быстроты реакции и некоторого легкомыслия. Неповоротливым в кино тяжело. А я, к несчастью, из увальней — в работе, по крайней мере.*

*Бывает, конечно, что замысел долгие годы ворочается в голове драматурга, пока дело дойдет до бумаги. Но в нашем деле это редкость. Чаще сюжет прорезается внезапно, случайным и не всегда объяснимым озарением.*

*Абсолютное же большинство произведений кинематографа, как шедевров, так и бездарных, родилось на свет единственно от того, что у автора денег не было. Если нечего продать из дому и занять негде, остается лишь один легальный способ разжиться — сесть за стол, придумать сюжет, накатать заявку и попытаться ее сбыть. Так и жили многие сценаристы, во всяком случае до нынешних светлых рыночных времен. Так появился и этот сценарий.*

*Начал я писать по обстоятельствам скорее случайным и безвыходным — не мог найти сценариста. После «Белорусского вокзала», одаренного не только зрительским вниманием, но и лаской начальства, я безошибочно почувствовал — сейчас или никогда мне будет дозволено пойти дальше, чем положено по уставу караульной*

службы. У меня была припасена история интимного свойства, мне хотелось рассмотреть отношения двух любовников из моего поколения без обязательного в те годы соуса из плавки, жатвы и партсобраний. Однако драматурги, к которым я обращался, отказывались дружно на удивление — от Шпаликова до Трунина. Особенное подозрение (или, может быть, мужскую неприязнь) вызывал у них заумный характер героини — действительно, скажем прямо, не сахар. В фойе ленинградского Дома кино я вцепился в Александра Володина. «Вот уж кто мастер женского портрета!» — думал я, рассказывая сюжет с некоторым заиканием. «Это готовый сценарий, — он улыбнулся, как улыбается один он — ласково и печально. — Тебе никто не нужен, пиши сам». За что ему и кланяюсь.

Но одно дело — написать сценарий, опирающийся более на собственные жизненные впечатления, чем на мастерство. И совсем другое — быть профессионалом, пишущим на заказ режиссера или студии. К тому времени, когда фильм был снят (это была «Осень») и начались его цензурные мучения, я уже ясно сознавал промахи. Наташа Рязанцева, едва ли не первый мой читатель, сразу сказала: «Да ведь они у тебя все выговаривают», но я не понял, а сняв фильм, вспомнил. Несмотря на некоторую природную туповатость, я дошел до глубокой мысли — чтобы научиться писать, нужно писать. Дело было за малым. Мешила неуверенность в себе пополам со священным трепетом перед литературой, внушенным с пеленок, ведь я — писательский сын. Павел Филиппович Нилин, автор «Жестокости», на прогулке в Переделькине, приволакивая ногу и останавливаясь для разговора с каждой встречной собакой, объяснял мне с непередаваемым оттенком задушевной и высокомерия, что человек, способный рождать сюжеты, не таков, как другие люди, это существо высшего порядка. Я и сам так чувствовал. И куда же мне, в калашный-то ряд? Потому, решил я, проверять себя надо на направлении главного удара — написать сценарий с острейшим сюжетом, с любовным треугольником и трагическим концом, лучше всего с убийством. И в конце концов я такой сюжет придумал.

Тут надо сказать, обстоятельства мои складывались неважно, прямо подталкивая менять ремесло. Участь «Осени» была печальна. Червинский написал для меня превосходный сценарий о Лермонтове. Его безнадежно утопили (разумеется, я имею в виду не Лермонтова). Другой сценарий того же Червинского «Верой и правдой», уже принятый Ленфильмом, вызвал в Госкино взрыв ярости и нахлобучку тем, кто осмелился его принять. Все, что я предлагал, встречалось с заведомым подозрением. Мне стало казаться, что я обложен. Трудно передать самоощущение взрослого мужика, который не может заработать на хлеб.

Тот аванс не забыть мне до могилы. Договор, подписанный со мной Ленфильмом в лице Фрижеты Гукасян, был протянутой соломинкой, шансом выпить. Чем рисковала Фрижа? За фиговых листком моральных сентенций и с жаром обещанного положительного героя в заявке легко читалась крутая ситуация — донос сына на отца, алкогольный ЛТП, свободная от обязательств сексуальная жизнь героини, убийство героя в пьяной драке. Словом, «чернуха», как теперь принято выражаться, тогда это называлось «очернительством», коренек тот же. Над пятью страницами я корпел чуть не две недели — профессиональный уровень не мог быть оспорен. О казенных деньгах речи тоже не было — либо я сценарий напишу, либо придется вернуть аванс в кассу. Но при любом качании маятника, при малейшем поползновении начальства избавиться от неугодного редактора подобный сценарий, сама тематика были бы желанным лыком в строку, материалом для цитат по обвинению в утрате идейности, бдительности, невинности (нужное выпишите сами). зуб на Гукасян у Госкино имелся и не один, рано или поздно должны были до нее добраться. И добрался, и с работы уволили, только было это лет через десять после описываемого, когда о моем сценарии и помнит забыли. Но другие уже были времена на дворе, расправы не вышло, ушел министр, а Фрижа вернулась. Понимала ли она свой риск, когда ставила подпись под моим договором? Разумеется. Не будем преувеличивать, а все же припомним, что людей, позволявших себе иметь свои понятия, отличные от начальства, маловато попадалось. И за то Фриже низко кланяюсь.

Полторы тысячи авансу! Это означало в те годы месяца четыре кормежки для семейства, можно было наплевать на все и писать, а там — что Бог даст. Итак, сюжет должен быть крепким, это было ясно. Но как его записывать? К этому времени я стал сильно подозревать, что кинематографический образ гораздо дальше отстоит от литературного, чем нас учили в институте и чем я привык считать. Навели меня на эту мысль недовольство собственной режиссурой, а более всего

фильмы Тарковского и Висконти. Я пришел к некоторым выводам, малоутешительным для того, что предстояло делать.

Во-первых, понял я, кинематографический образ по своей пластической природе иррационален, и чем он точнее и ярче, тем менее поддается описанию. Во-вторых, я обнаружил, что сцена, вовсе не обязательная по сюжету (но, заметим, стилистически точная), может неожиданно усиливать напряжение, а это, в свою очередь, означало, что способ нанизывания эпизодов в кино может быть совершенно иным, чем в прозе или пьесе для театра. «И чем случайной, тем вернее», как сказано у Пастернака, хотя и по другому поводу. Словом, пластика у меня в сознании стала вылезать на первый план, оттесняя психологию. Значит, и писать следовало сухой протокол действия без всяких претензий на литературу. Но ведь мне предстояло доказать (кому-то, неизвестно кому, себе), что я — профессионал, владеющий пером, а доказать это можно только прозой, ритмом, то есть именно теми средствами, которые затемняют, затуманивают пластический материал и, в конечном счете, подменяют кинематографический образ литературным. Запутавшись, я решил писать, плюнув на вопиющее противоречие. Все сроки прошли, а я все писал, и Гукасян, по-моему, не раз пожалела, что связалась со мной. Фактически я пытался одновременно освоить два разных и кое в чем непримиримых ремесла — драматурга и прозаика. На результате это мало сказалося, но мне дало многое. Наконец, сценарий был закончен, принят с некоторым даже триумфом, после чего благополучно завален. Лет через пять я предложил его Свердловской киностудии, но вскоре его опять закрыли, на сей раз окончательно. Назывался он «Стойкий оловянный солдатик», и, смею вас уверить, это был недурной сценарий.

Потом опять было безденежье, тоска зеленая и вечная мечта об авансе. Как-то вспомнил я годы послевоенного детства, хмурую школу, уголовный двор на Сретенке, вечный страх, снедавший меня, слабого и трусливого, вспомнил беспросветное одиночество мальшиа в убогом мире больших. И, толком еще не зная, о чем будет сценарий, тщательно написал сцену облома. Как учил меня Шура Червинский, заявка есть специфическая форма просьбы о деньгах за обещание быть хорошим, и, помня об этом, я пристегнул к сцене туманную перспективу оптимистического финала. На что я рассчитывал, на что надеялся? Бог знает. Но опять нашлась добрая душа, которая рискнула — Мила Голубкина, и ее стараниями студия Горького заявку купила. Кланяюсь с благодарностью Миле.

На сей раз я поставил задачу прямо противоположного свойства, технически более сложную — сделать сценарий без интриги, чтобы сюжет держался только движением души двенадцатилетнего героя. Мне казалось, что сценарий будет более всего о смерти Сталина, о конце одной эпохи и начале другой, о том, как эти события преломляются в частной жизни мальчишки. Но в ходе работы рамки сюжета сами собой стали расширяться до антитезы «подросток — окружающий мир», и в этом широком противопоставлении такие разновеликие события, как первая любовь или возвращение деда из тюрьмы становятся равно важными и способными не имея отношения одно к другому, сплетаться в единое движение сюжета. Я боялся поверить себе, меня преследовал страх, что сценарий распадется на частности, рассыпется. Все стало на места, когда я напоролся на строчки Блока:

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —

Все в облике одном предчувствую Тебя...»

Сценарий обрел название, а я — ощущение единства сделанной вещи. Предчувствие любви, страданий, жестокости мира и его сладости, шире — предчувствие свободы еще шире — самой живой жизни. Кончив сценарий, я обрел уверенность. Что, впрочем, не помешало его закрыть.

Свою профессиональную карьеру я считаю неудавшейся, хотя это и не повод для нытья. В те же годы я жил, любил, рожал детей, пил водку с друзьями. Кланяюсь всем, кто был ко мне щедр и терпелив — Илюше Авербаху, Юлише Дунскому, Вадику Трунину, увы, уже покойным, и, слава тебе, Господи, живым Валерию Фриду, Наташе Рязанцевой, Шуре Червинскому, Голе Гребневу. «Что пройдет — то будет мило». Потому мила мне моя неудача. Второй попытки все равно не дадут.

4.11.93



# АНДРЕЙ СМИРНОВ

## ПРЕДЧУВСТВИЕ

Мы сидим и смотрим на дверь. В коридоре прекращается беготня, смолк трезвон. Мы ждем.

— Крыса! — сообщает Гордей, отскакивая от двери.

Мы слышим быстрые шаркающие шажки. Дверь вздрагивает. Это Крыса налетела на нее с разгона и теперь недоумевает.

Стул, вставленный в дверную ручку, начинает ходить ходуном. Мы следим за единоборством Крысы с дверью. Чаша весов постепенно склоняется на сторону Крысы. Стул накренивается, Гордею приходится его поправлять. Неожиданно стул разваливается у него в руках, и Гордей сталкивается нос к носу с Крысой.

Мы встаем. Крышки парт дают залп.

— Гордеев — за матерью! С портфелем.

Она ждет, пока он покорно складывает манатки. Гордей выходит.

— Что-нибудь бы новенькое придумали...

Сядьте и встаньте, как полагается.

Встаем еще раз. Получается даже лучше — дружной и звонче. Кажется, стены рухнут.

— Я вижу, вы настроены по-боевому. Кто дежурный?

У нас даром ничего не пропадает. Без промедления отвечают:

— Гордеев!

— Зуев, сходи в учительскую, принеси мне стул.

И в ожидании проахивается вдоль доски. Крысу голыми руками не возьмешь.

Узкий рот с опущенными углами придает ей презрительное выражение. Прозвище ей известно, но тут она бессильна. Школа не знает промахов в кличках. Наши родители, знакомясь с ней, прячут улыбки — вылитая крыса.

Копейка приносит стул.

— Староста, кто отсутствует?

Староста Сальников сопит, оглядывая нас.

— Кто отсутствует, я спрашиваю?

— Филатов... Ну и Гордеев.

— Что с Филатовым?

— Ой, Анна Михална... — вылезает рыжий Пиня, и Крыса косится на него.

— Что? Хворает?

Пиня медлит. Мы стоим тихо.

— Его... крысы съели!

Удержаться от смеха невозможно.

— Пинчук, вон из класса! С портфелем.

— А чего я сделал?

— Поторопись...

Пиня, вскинув на плечо противогазную сумку, идет к двери и так ею хлопает, что сыплется штукатурка.

С поразительной быстротой Крыса взлетает со стула. В ее расплывшемся теле скрыта подвижность грызуна.

— С родителями, к директору! И пока мать не заплатит за дверь, можешь не являться! Рублем наказывать будем!

Ее тонкий высокий голос раскатывается в пустом коридоре.

Она подбирает осколки известки, заворачивает в бумажку, прячет и хлопает себя по бедру:

— Будем бить по карману родителей!

И с ненавистью смотрит на заднюю парту — туда, где, привалясь к стене, возвышается Бадя, огромный, краснорожий, угрюмый. Его широкую плоскую физиономию освещает бронзовый фингал.

— Садитесь...

Даже учителя боятся Бадю.

Из рыжего бесформенного портфеля она достает бесчисленные листочки, раскладывает свой пасьянс. Некоторое время она молчит, вглядываясь в свои каракули. Записи ее не интересуют. Она просто набирается сил.

— Что вам было задано? Берг!

— Стих про школьников.

— Не паясничай, Берг. Иди отвечать.

— Книжку потерял, Анна Михална...

— Надо было прийти пораньше и выучить. Черные живые глаза Берга смеются. Он огорченно разводит руками.

— Садись, двойка. Хлюпин!

Она уже понимает, что ее ждет.

— Не учил.

— Двойка. Данильянц!

— Не выучил.

— Двойка... — И тихо говорит: — Хочешь урок сорвать, Губайдуллин?

Бадя смотрит в окно. Страсти не туманят тяжелого Бадиного взора. Как Будде, ему ведома суть вещей. Он сразу видит, куда бить.





Рисунки Екатерины Рожковой

— Сальников! Может, и ты не выучил?

Сало долго вылезает из-за парты, оттягивая момент. Он сопит на весь класс, чувствуя, как Бада улыбается ему в затылок, и краска волной поднимается по его шее.

— Не могу, Анна Михална...

Сяо Лю, мой сосед, смеется.

Обреченность прорастает в Крысиных морщинах. Она кашляет.

— Смеешься, Грешилов?

Я спешу отвести глаза, но поздно.

— Весело тебе?

— Ничего я не смеюсь.

— Ты ведь у нас член совета дружины? Вас там этому учат?

Я встаю.

— Правда, весело? Измываться над старухой. И смеяться исподтишка... Знаешь, кто так поступал?

Глухая печаль ее взгляда пронизывает меня.

— Фашисты. Они сразу не убивали. Растягивали удовольствие. Сначала помучат, посмеются. А потом убьют. Правда, смешно?

И улыбается беспомощной, надтреснутой улыбкой.

Я мотаю головой.

Тихий короткий свист раздается с задней парты. Я оборачиваюсь — Бада подмигивает мне неподбитым глазом. Ненависть захлестывает меня, ноги сами собой делают шаг к доске.

— ... Ноги босы, грязно тело

И едва прикрыта грудь.

Не печалься. Что за дело!

Это многих славный путь...

Я стою у Крысиного стола и слышу себя, как сквозь вату.

Вот оно. Ползет по классу. Копейка перегнулся к Хлюпину, коротко шепчет ему в самое ухо. Тот замирает. Я понимаю, как ему хочется взглянуть на меня. Постеснялся.

А другие смотрят. Равнодушно. Сочувственно. Любопытно.

И Копейка улыбается мне в лицо, укрытый от беды, осененный могуществом Бади.

— А почему четыре? — с горечью спрашиваю я.

— Потому что читал без выражения.

Иду на место. Сяо Лю отодвинулся на самый край парты. Откалывается.

Черные лоснящиеся заводские корпуса проступают за окном в сыром тумане. На дворе под голыми тополями еще держатся островки грязного снега.

В ушах стучит это проклятое слово, перетекающее из уст в уста с парты на парту.

Слово это — облом.

Крыса прохаживается, упрятав за спину руки и слегка переваливаясь.

— Некрасов называл свою музу «Музой мести и печали»... Что тебе, Грешилов?

— Можно выйти?

— Нельзя. Скоро звонок.

Меня знобит.

Они будут бить меня всем классом.

Я слышу женский смех на лестнице. Хорошенькая химичка Виктория Борисовна что-то рассказывает старшей вожатой Вере. Они забирают из гардероба свои пальто и присаживаются на лавочку. Слушая химичку и улыбаясь, Вера натягивает боты, прячет туфли в авоську.

— Грешилов, ты чего домой не идешь?

— Сидит и сидит, — говорит Никитична. — Медом намазано, что ли?

Вера оглядывает вестибюль.

За окном Валька Топоров в черном флотском бушлате, перешитом из отцовского, прищипывается на ветру, не спуская глаз с дверей.

— Тебя ждут?

Я стыдливо киваю.

Мы выходим втроем. Валька с независимым видом пропускает нас. У ворот человек двенадцать. Вера решительно направляется к Баде.

— Только тронь его, Губайдуллин. Детской комнатой не отделаешься. Я в РОНО поеду. Вылетишь из школы, как пробка.

Вера с Викторией доводят меня до угла.

— Ну, — улыбается химичка, — дальше доберешься, герой?

Мне очень хочется, чтобы они проводили меня до дому, но язык не поворачивается попросить.

Свернув за «Бакалею», я припускаю во весь дух. Оглядываюсь — погони не видно. Размышляю секунду и ныряю в проходной двор.

Свист обжигает мне слух. Это Копейка, маленький и цепкий, повисает на моем плече. Я пытаюсь его стряхнуть, кричу, колочу изо всех сил по руке. Мы оба падаем. Они накатываются из-за угла и окружают меня.

Бьют портфелями, стараясь попасть по голове. Я прикрываюсь, как могу. Отступаю к стене. Не хватает воздуха, я быстро устаю. Удар сзади в затылок. Я роняю портфель. Теперь я безоружен. Берг, гадина, ты-то куда? Сегодня меня, завтра тебя...

Внезапно удары обрываются. Дышим.

Бада, стоя в сторонке, манит меня.

— Ходи сюда.

— Не пойду.

— Ходи, говорят...

Кто-то дает мне пинка. Иду. Подхожу, загоразивая рукой лицо.

— Убери грабку, — говорит Бада.

- Не уберу.
- Хуже будет.
- Не уберу.
- Кому говорят?

Опускаю руку.

И слепну. Удар приходится в переносицу, все вспыхивает багровым огнем, я куда-то лечу, врезаюсь в какой-то ящик. Все солоно — из глаз слезы, из носа кровь.

— Понял, сука? — назидательно говорит Копейка.

Они уходят.

Прямо передо мной — глухая кирпичная стена. Ящики. Гора угля. Примятая стрелка травы щекочет мне щеку — свежая, ранняя. Из-за ящиков возникает хмурый Сяо Лю, поднимает мой портфель, стряхивает с него налипшую грязь.

Я ложусь на холодную землю, царапаю ее, молочу кулаками. И долго, злобно плачу.

- Я никуда не пойду!
- Это что-то новенькое...

От резкого света лампы чернота за окном еще глуше и бесприютней. Мне нестерпимо хочется под одеяло, оставшееся у бабушки в руках, обратно, в сон и тепло, туда, где нет ни этой морозной ночи, ни школы, ни надоевшего стука маминой машинки.

Бабушка трогает мой лоб.

— А ну-ка, померь... — она уже стряхивает градусник, подозрительно приглядываясь ко мне. — И глаза у него блестят.

— Драться не надо в школе.

Мамин голос, слегка охрипший, доносится из-за шкафа, а машинка стрекочет не смолкая.

— Нет, он всю ночь воевал, разговаривал во сне. Я так и знала, что он заболел!

— И горло что-то побаливает, — сообщаю я как бы с досадой и на глазах у бабушки делаю трудный тягучий глоток.

Одеяло я получаю обратно. Бабушка — моя единственная надежда.

— Здоровый парень не может сдачи дать! Слушать тошно!

Ненавижу маму! И звук у машинки противный.

— Когда же она встала? — тихо спрашиваю у бабушки.

— Она и не ложилась. Сам себя человек не жалеет. Голодаем, что ли?

— А не голодаем оттого, что я не сижу сложа руки! — взвизгивает отъехавший стул, и мама, осунувшаяся, выдергивает у меня градусник и одеяло.

— Все равно он уже опоздал, — замечает бабушка.

— Вот я отцу расскажу! Барчук! Сию минуту

одевайся! Потому тебя и бьют! Еще и голову морочит, работать не дает!

А без одеяла как-то особенно ясно, что чудес не бывает.

Я сворачиваю в переулок, позади остаются шум машин и свет фар, тускло горящие витрины и торопливая толпа. А здесь — только колючий снег крутится под фонарями, молчат замерзшие дома, и хруст моих шагов испаряется ледяной воздух.

Нет на свете ничего тоскливее, чем опаздывать туда, куда вовсе и не хочется идти!

Я бегу, глотаю ветер, и слезы намерзают на щеках.

В вестибюле — одна Никитична.

Я влетаю в класс и от неожиданности спотыкаюсь — директор Яков Степанович важно прогуливается в проходе между партами, у стола стоит понурясь Копейка, а Нилыч невозмутимо пишет на доске условия задачи.

— Это называется — дневник! — осторожно, двумя пальцами Яков Степанович поднимает перед собой и показывает всему классу сильно похудевший, заляпанный Копейкин дневник. — От такого дневника в городе может вспыхнуть эпидемия, и ты, Зуев, будешь виноват. Это же просто бактериологическое оружие! — Все, конечно, смеются, и Яков Степанович добродушно усмехается.

— А почему ты без галстука? Разве ты не пионер?

Копейка молча вытаскивает из кармана жеваный галстук. Новый взрыв смеха.

— Ну и разгильдяй! Хотя что же требовать от рядовых пионеров, если член совета дружины опаздывает на контрольную!

И широко жестом директора указывает на меня. Я покрываюсь пятнами.

Нилыч, записав задачу, отвернулся к окну и сопит, засунув, по обыкновению, руки в карманы необъятных штанин. Он мрачен.

— Иди за матерью, Зуев. Скажи ей, я хочу твой дневник показать.

— Она не придет... — утрюмо бормочет Копейка.

Улыбка сбегает с лица директора.

— А не придет — так и ты можешь в школу больше не являться... А ты, Грешилов, зайдишь ко мне на большой перемене.

Дверь за ними закрывается, Нилыч кивком сажает меня на место.

— Левые — первый вариант, правые — второй! — объявляет он с облегчением. — Контрольная — районная, отметка в четверти будет от нее зависеть. Соображайте как следует...

Настороженный гул проползает по классу и стихает — мы читаем задачу. Задача ерундовая...

Сяо Лю толкает меня, кивая куда-то назад, я машинально оборачиваюсь.

Это Бадя зовет меня и, показав чистый листок, передает на переднюю парту. Он просит списать.

Кровь бросается мне в лицо. Я отворачиваюсь и долго не могу сосредоточиться. Сяо Лю искоса наблюдает за мной.

Бадин листок тем временем путешествует из рук в руки и прибывает ко мне. Бадя, усмехнувшись, как будто желая меня приободрить, пожимает плечом — мол, долго я буду злиться?

И, проклиная себя и весь свет, я пишу решение на его бумажке.

Нилыч стоит у окна, уставясь во мрак.

Мама купила новые занавески, и мы вешаем их всей квартирой. Сосед Миша вбивает костыль в стену, женщины подвязывают кольца, а я — на подхвате.

— Живей давай! — весело кричит Мишина жена Оксана. — Поглядеть охота.

Она в халате, разгоряченная, только после кормления, и ей не терпится участвовать. Витька дремлет у нее на руках.

Бабушка качает головой, ее мучают сомнения.

— Расцветка какая-то... слишком заграничная.

— Ой, мама, у тебя старорежимные представления!

— По двадцать восемь брали? — интересуется другая наша соседка, Соня, паспортистка из домоуправления.

Она озабоченно курит у дверей, отгоняя дым в коридор.

— По тридцать два, — сухо отвечает мама.

— Чего ты даешь? — говорит мне Миша. — Молоток давай.

Ошибаюсь я от усердия.

В дверь звонят, я бегу открывать.

— Жалко, не успели! — нервничает мама. — Только не говори ничего, пусть сам увидит...

Папа приходит усталый.

— Здорово, поросенок... — он привычно шлепает меня по спине и идет на кухню.

Раздевшись до пояса, он долго умывается. Я стою у двери с полотенцем и чистой рубахой в руках, сторожу, чтобы не зашли женщины.

— Я по четвертной контрольной пять с минусом получил.

— А почему с минусом?

— Помарок много.

Брызги летят по всей кухне, он фыркает и стонет, стирая с шеи полосы копоти, и с такой же яростью вытирается.

— У нас занавески новые, — не выдерживаю я. — Только это — секрет.

В комнате мы появляемся в самый ответственный момент — Миша закрепляет багет.

Отец здоровается, садится на свое место к столу.

— С обновкой, Константин Васильевич! — улыбается Оксана.

Миша спрыгивает на пол и задергивает обе половинки. Деревянные кольца сухо и тонко звенят. Все рассматривают покупку в торжественной тишине.

Мама старается выглядеть безразличной.

— Ну, как тебе? — спрашивает она, не выдержав.

— Нормально.

Бабушка сдвигает мамину машину и бумаги, ставит перед отцом сковородку с макаронами.

— Мне нравится, что рисунок скромный, — объявляет она.

— Хозяин доволен — с вас могоарыч! —

Миша оглушительно смеется.

— Ой, я вам так благодарна, честное слово! Мне прямо неудобно...

— Немыслимые все-таки деньги, — выходя, вздыхает Соня, и мама тускнеет.

— Да плюнь ты на эту воблу! — добродушно советует Оксана, пробуя Витькину пеленку. — Нам с Витькой нравится...

— Ради бога, тише! — пугается бабушка.

— Ее, что ли, деньги? Хоть приличная вещь в доме. А то все на эту чертову жратву.

— Совсем другой вид, правда? — Мама на глазах расцветает. — Знаешь, какую очередь выстояла!

Мы остаемся вчетвером. Бабушка берется за штопку. Родители молчат.

А занавески — восхитительные! По темно-вишневому фону бегут, извиваясь, блеклые зеленые огурцы, вспыхивают лимонные искры.

— Классные занавесочки! — говорю я. — Прямо как в театре...

Усмехнувшись, отец отодвигает сковороду. Розовые пятна выступают на маминых скулах.

— Тебе не нравится? Если ты насчет денег, то ты напрасно волнуешься... — быстро говорит она отцу. — Я все рассчитала. Это я взяла из тех денег, что отложены на лето. Ты премию получишь за первый квартал, я туда доложу. А мне, наверное, шестнадцатого заплатят, я взяла баланс печатать... Неужели ты сам не видишь, насколько стало уютней?

— Какая премия? В мою смену две плавки запоролы... — говорит он с досадой. — Ухнула премия.

— Ой, у меня там чайник... — вскакивает бабушка.

Мама пытается улыбнуться.

— Ну, возьму еще халтуру, — лепечет она. — Как-нибудь не умрем.

— Не ругайтесь, пожалуйста, — говорю я.

Папа надевает пиджак.

— Я к Сумарокову...

— Сыграй лучше со мной, — прошу я.

Когда бабушка приносит чайник, мама сидит, уронив на колени руки и глядя перед собой.

— А где Костя? Опять пошел в шахматы играть?

Вздыхнув, мама раскладывает бумаги на столе, заправляет машинку. Я тащу кожаную подушку, на которой она обычно сидит.

— А все — эти проклятые деньги... — говорит она еле слышно.

Я смотрю, как скачут мамины пальцы с коротко обрезанными ногтями. Машинка хлестко стрекочет, захлебывается.

— Тебе пора спать, — рассеянно говорит она.

Сцепив за спиной руки и покачиваясь, Копейка разглядывает плакаты на стенах пионерской комнаты. Смутная ухмылка теплится на его лице.

— Иди поближе, — говорит старшая вожатая Вера. — Не бойся, мы тебя не съедем.

— А кто боится? — храбрится он.

Мы сидим за столом, покрытым красным плюшем. Мартовское солнце, отражаясь от скатерти, бросает нам на лица огненные пятна.

— Ну, расскажи нам, Зуев, как ты дошел до жизни такой...

— Сколько у тебя двоек? — спрашивает Саня Колупаев, наш председатель.

— По какому? — интересуется Копейка, а мы хихикаем.

— Кончайте. По скольким предметам?

— Позабыл...

Вера справляется в тетради.

— По четырем. Да и по остальным дела у него далеко не блестящие.

— По трем, — спорит Копейка.

— Значит я, по-твоему, вру?

— Он географию сегодня исправил, — сообщаю я.

— А по трем — мало что ли?

— Вкатить ему выговор, чтоб знал... — предлагает Белоконь из седьмого класса. — Долго мы с ним нянькаться будем?

И замолкает под суровым взглядом Веры — все знают, что он торопится на тренировку, он у нас боксер.

Копейка бодро шмыгает носом.

— Ты же неглупый парень, Зуев, — говорит Саня. — Зачем ты из себя шпану корчишь?

— На него просто Бадя плохо влияет...

— Посмотри, как товарищи за тебя волнуются! — говорит Вера. — А тебе наплевать.

— Кому наплевать? — бормочет Копейка.

— Ты «Хижину дяди Тома» читал, Зуев?

Копейка молчит, ожидая подвоха.

— Что ты в рот воды набрал? Читал или нет?

— Постановку видел...

— Значит имеешь представление, как живут в Америке такие ребята, как ты?

— Это же до революции было, Вера Георгиевна, — замечает Белоконь.

— А думаешь, сейчас лучше? Вы же недавно были в театре. «Снежок» смотрели. Помните, как его травят? А ведь он хотел учиться, очень хотел! А ничего не вышло. И все только потому, что он черный! Наводит это тебя на какие-нибудь мысли, Зуев?

Я зажигаюсь от слов Веры.

— Государство нас кормит, поит, одевает — только учись! — с жаром объясняю я. — Неужели так трудно выучить хоть на тройку?

— Мы же тебе добра хотим, — поддерживают Саня.

Копейка молчит.

— Своего ума нету, — говорит Вера, загораживаясь от солнца ладонью. — Связался с Губайдуллиным, лебезит перед ним. На парте вырезал матерное слово... Ты мать свою любишь, Зуев?

Угрюмый взгляд Копейки упирается в пол. Над ухом у него — пятно зеленки.

— Мало матери забот, так еще придется платить за порчу школьного имущества. Никого ты не любишь — ни мать, ни товарищей, ни себя самого!

— А ведь он может учиться, — говорю я. — Если, конечно, захочет...

Вера встает задержать штору и замечает, как Копейка показывает мне из-за спины свой щуплый кулак.

— Грешилов, это он тебе?

— Ты же сам себе делаешь хуже, Зуев, — с сожалением говорит председатель. — Прямо нарываешься на исключение.

— Ага... — бурчит Копейка.

— Исключение — это крайняя мера, — сурово говорит Вера. — Исключить никогда не поздно. Я предлагаю послушать мнение класса. Грешилов учится с ним в одном классе, он лучше других может судить, как воздействовать на Зуева.

Все поворачиваются ко мне.

— Не бойся, Грешилов. Говори то, что думаешь.

Я заставляю себя поднять глаза и, глядя в упор на Копейку, с бьющимся сердцем говорю твердо:

— Предлагаю исключить из пионеров.

Воцаряется тишина. Вера, кажется, немного ошарашена.

— Ты только выйди! — негромко цедит Копейка.

— Замолчи, Зуев! — обрывает его Вера. — Ну, может быть, предупредим его в последний раз? Вызовем мать...



— Сколько можно? — взрываюсь я с неожиданной для себя яростью. — Они же весь класс в страхе держат! Он и Бадя! Сами не учатся и другим не дают! Сколько раз он обещал исправиться? Сколько мы ему выговоров давали? А толку что?

— Не ори, Грешилов, — говорит Саня. — Я с ним согласен, Вера Георгиевна. Мы сами приучаем их к безнаказанности.

Вера молчит.

— Ставлю на голосование. Кто за исключение?

Поднимают руки все, кроме Белоконя и Веры.

Копейка силится ухмыльнуться, хмурые слезы наворачиваются ему на глаза, и он, рванув с шеи галстук, швыряет его на пол:

— Подавитесь! — и выбегает, звонко всхлипнув.

— Тебе, значит, безразлично — пионер ты или нет? — кричит Вера ему вслед.

Топот Копейки затихает в пустом коридоре.

— Если так — я тоже за исключение, — решительно говорит Вера.

— Может, домой к нему сходить? — предлагает Белоконь.

— Правильно! — кивает Саня. — Вот Грешилов и сходит.

— Сам иди!

— Как тебе не стыдно, Грешилов! Кому же, как не тебе? Ты его одноклассник. Вот уж не ожидала от тебя...

— Да он боится, — говорит Белоконь.

— Прекрати! Давайте сформулируем наше решение...

В палисаднике перед Копейкиным домом спорят и кричат мальчишки.

Притаившись под аркой ворот и зорко вглядываясь в пространство двора, я чувствую себя дичью.

Мне надо пробежать метров тридцать.

Я вижу трещины краски на стене крытого вагонкой барака. Я даже различаю на вербе под окнами серый пушистый ворс цветка, высунувшегося из бутона.

Весенний дурман, холодный, свежий, стоит в воздухе. В голове от него делается пусто и тревожно-весело.

Я слышу свист, звякает о землю планка, и двенадцать палочек разлетаются веером. Мальчишки несутся врассыпную, и пока они прячутся, а водящий подбирает палочки, я припускаю по доскам, проложенным через лужи.

Шмыгнув мимо многолюдной кухни, перевожу дух в полутьме длинного коридора и вкрадчиво стучу в дверь.

Скудная мебель сдвинута на середину ком-

наты. На столе — табуретка, женщина в темных сатиновых шароварах, стоя на табуретке, белит потолок. Она застывает, глядя на меня с равнодушным любопытством, и мел капает с кисти на ее голые сильные руки.

— Здравствуйте... Вы — мама Коли Зуева?

С топчана на меня тарачится малыш. Голова его заматана пуховым платком, отчего она кажется огромной.

— Меня из школы послали...

Женщина морщится, поправляя съехавшую на лоб косынку. Она слезает на пол, застеленный газетами, и, оторвав клочок, торопливо обтирает пальцы.

— Нашкодил, что ль? — спрашивает она, не поднимая глаз.

Я мнусь, не зная, как подступиться.

— Просто на него Губайдуллин плохо влияет... — нежно объясняю я. — Он ведь может учиться, когда захочет. Никто его исключать не собирался, мы только хотели, чтоб он двойки исправил, потому что конец года скоро. Мы же его товарищи, правда?

Она слушает меня с тревогой и неприязнью.

— И мы за него болеем, а Губайдуллин сам не учится и других тянет назад...

— Маш, у тебя перловка есть? — в дверь заглядывает девушка, и газеты шуршат, вскользнувшись на сквозняке. — Займи стакан.

Малыш хнычет. Сунув ему прищепку для белья, Копейкина мать сообщает со странной, как будто злорадной усмешкой:

— Мой-то допрыгался. Выключать его хотят. Дружка себе нашел, с Губайдуллиным сынком, говорят, снюхался...

Девушка косится на меня:

— Чего ж ты ябедничаешь? Сам, небось, такой же охламон.

— Ничего я не ябедничаю, — обижаюсь я. — Мне просто как члену совета дружины поручили. Мы в одном классе учимся... С Колей.

— Кутузка по нем плачет, по Губайдуллину, — размышляет соседка. — И вся семейка-то — прямо кодла. Ты, Маш, сходила бы к участковому, ей-богу, дали бы ему годика три, чтоб прочухался...

Мать Копейки вздыхает, и, как эхо, вздыхает девушка. Вздыхаю и я.

— Звать-то вас как? — спрашивает она нерешительно, и я заливаюсь краской.

— Грешилов Алексей...

Девушка всплескивает руками:

— Это в управлении у нас секретарша — твоя мать, что ли, сидит? На машинке печатает?

Теперь они обе рассматривают мое пальто и меня.

— Перловки дашь? — спрашивает девушка.

— На кухне там, в моем столе.

— Плюнь, Маш,— советует она уже в дверях.— Не слушай ты его. А Кольке всыпь.

Малыш затих. Мы молчим все трое.

— Штаны ему только купила, хорошие, лыжные, восемьдесят рублей отдала,— хмурясь, говорит Копейкина мать.— А уж он их порвал, новые ему подавай. А где я возьму? Одна я, мужика-то нету, сбежал. Детей вон настрогал, а теперь ищи-свищи. И Колька весь в отца, обормот... Юрочка заболел, на бюллетне, за хлебом и то некому сходить.

— Давайте я схожу.

— Да не надо. Соседка уж принесла...

Она поднимает на меня задумчивый взгляд, словно ждет чего-то.

— Только вы его не бейте,— лепечу я.

Миновав коридор, я выскакиваю на улицу. В палисаднике играют в «ножички» четверо ребят, они оборачиваются, и Копейка тычет в меня пальцем.

Через мгновение я оказываюсь у дверей комнаты, из которой только что вышел.

Копейкина мать, забравшись на стол, размешивает в ведре краску.

Уставясь на нее, я молчу и моргаю.

— Чего случилось?

— Тетя...— всхлипываю я.— Выведите меня, пожалуйста!

— Зablудился?

О, как я презираю себя в эту секунду!

— Там.. ребята...

Она мигом понимает и, спрыгнув на пол, кричит в коридор:

— Светка!

Малыш опять плачет. Она оглядывается на него, но я поспешно нашариваю на полу прищепку и отдаю ему.

— Отведи ты его, ради Христа,— просит Копейкина мама.— Они его колотить собрались. А Кольке скажи, чтоб сейчас же домой шел...

Девушка смеется за дверь. Она появляется, натягивая на ходу ватник, и машет мне рукой:

— Пошли, начальник!

Березы в Малаховке стоят, осыпанные зеленоватым пухом. Земля еще не просохла, мы прыгаем через лужи, и мама тревожно косится на мои ботинки:

— Промочил?

Мы идем дачу на лето.

Гладкая тетка заводит нас в комнатку с мутным оконцем. На диване спит кто-то босяк, в выцветшей белесой гимнастерке.

Мама приглядывается к дощатой стене.

— Извините, а у вас клопы есть?

— Совсем почти что нету,— лениво говорит хозяйка. У нее усики над пухлой бархатной губой.

Парень на диване просыпается, ерошит соломенный чуб.

— Дачники? — ухмыляется он.— Задаток нужен.

На веранде от нас шарахается привязанный за нитку петух. Мама пугается, а мы с отцом смеемся.

С потолка струйка сочится в таз.

— Это зараз все законопатим,— обещает хозяйка, запахивая жакет на необъятной груди.

— Понимаете, у сына порок сердца, и ему категорически нельзя простужаться. Мы потому и вынуждены снимать дачу, ему врачи в лагерь не разрешают...

Тетка, слушая маму, зевает.

— Куда теперь? — интересуется папа, когда мы выходим из калитки.

— Нет, это просто нахальство,— мама возмущена.— За такие деньги — такую конуру!

Папа, конечно, молчит.

— Хвойная, дом восемь, где-то тут...— бормочет мама, перебирая бумажки.— Скажите, пожалуйста, это какая улица?

За забором копаются в огороде старуха в долгополом пальто.

— А вам какая нужна?

Мама горько усмехается:

— Вам что, сказать трудно?

— Вы мне скажите, что вам нужно, тогда я вам скажу.

— Господи, что за люди...— И мама шествует дальше.

— А Хвойная, дом восемь — это где? — спрашивает папа.

— Здесь,— торжествует бабка.— Я же вижу, что вам нужно. Только мы уже сдали.

— А вы не знаете, тут поблизости никто не сдает?

Старуха подходит к забору и охотно рассказывает, как идти.

Мы с трудом догоняем маму.

— Ты нарочно решил меня злить?

Но папа хитрый.

— Средства кончились...— сокрушенно говорит он и подмигивает мне.

— И солдат не жрамши! — подхватываю я.

Мама сразу все забывает, мысли ее перекачивают на еду. На опушке мы находим пенек посуше, подтаскиваем полусгнивший осиновый ствол. Мама раскладывает на газете яйца, бутерброды с маслом и колбасой, наливает из бутылочки сладкий остывший чай.

— Ей-богу, ты странная,— говорит папа.— То всю анкету выкладываешь до седьмого колена, то не можешь нормально объяснить.

Мама обижается:

— Тебя послушать — я просто непроходимая дура. Найди себе умную!

— А зачем им всем знать, какие у него болячки и что у нас на обед?

— Мы тебе действуем на нервы, я вижу. Ты не можешь один выходной провести с семьей. А между прочим, это твой сын.

— Не может быть,— говорит папа.— Эй, тип, ты чей?

— Твой, чей же еще?

Мы жуем, а высоко над нами ветер раскачивает верхушки сосен. Их мерный глубокий шум пробуждает во мне беспокойство, неясное и почему-то приятное.

Отец, задрав голову, следит за сереньким «дугласом», который то появляется, то пропадает за мохнатыми облаками.

— Тыща? — прикидываю я.— Или выше?

— Восемьсот примерно.

— Снизится — тогда и подстрелим.

Папа советует:

— Ты открой огонь, а прицелишься всегда успеешь.

— Почему? — удивляюсь я.

— Как говорил сержант Стычкин, если фриц — начальство не заругается, что проспали, а ежели свой — так все равно не попадем...

Мы смеемся. Мама вздыхает:

— Господи, да пропади она пропадом, эта война! Ты так говоришь, можно подумать, что ничего веселее в жизни не было...

Папа ничего не отвечает, достает папиросу. Я вижу, что глаза у него совсем прозрачные и на дне их вспыхивает далекий чужой огонек.

Перед огромной, во всю стену, картиной мы стоим, окружив золотушную девушку в круглых очках, и толкаемся исподтишка.

— Ваши глаза сразу притягивает к себе фигура человека в центре толпы. Он указывает на идущего к людям Христа. Это — Иоанн Креститель. Художник создал яркий образ вдохновенного пророка и грозного обличителя. Лицо его озарено решимостью, верой в грядущее освобождение народа...

Голос девушки слегка спотыкается. Прямо перед ней истуканом торчит Бадя, уставясь на нее, не мигая, и, как всегда, невозможно понять, то ли он заморожен рассказом, то ли спит, не закрывая узких глаз.

Осторожно, чтобы не звякнуть фольгой, Берг пытается развернуть конфету, но она все равно трещит.

— Ему же жарко,— говорит Сяо Лю.

— Кому?

— Они все голые, а этот в тулупе, Креститель...

Крыса оборачивается, но Копейка успевает убрать приставленные ей рожки. Отколовшийся Гордей в сторонке пристально рассматривает картину, на которой нарисована раздетая женщина с негритенком. Наткнувшись на взгляд Крысы, Гордей спешит к нам.

— Двадцать лет жизни художник работал

над своим произведением. Картина была закончена в 1857 году, в переломный для русского общества момент. Только что закончилась неудачей Крымская война... Какой вопрос был тогда главный, помните?

— Вы же учили! — ревниво подстегивает нас Крыса.— Что было через четыре года?

Бергу, наконец, удалось развернуть конфету, но Сяо Лю сцапал ее и отправил в рот. Берг дает ему затрещину.

— Берг!

— Крепостное право отменили,— сердито отвечает Берг.

— Ожидание этого исторического поворота и составило основное содержание картины. «По своей идее близка она сердцу каждого русского,— писал Илья Ефимович Репин.— Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником»...

Нас ведут в следующий зал. Крыса подгоняет нас.

— Поехали в Татарово,— шепчет Сяо Лю.— Все равно три дня осталось.

— Два. В субботу уже консультация по алгебре.

Навстречу нам попадаетея галдящее стадо малышей.

— Ну! — тихо рывкает Сяо Лю, когда они на мгновение отделяют нас от Крысы и экскурсовода.

Мы ныряем за угол, плуаем по залам и, выбравшись в залитый солнцем двор, врзаемся в очередь за газировкой.

— Свечи есть? — интересуется Сяо Лю у газировщицы.

— Чего? — недоумевает она.

— А на базе? — грозно спрашиваю я, высываясь из-за плеча Сяо Лю.

Очередь негодует, а мы с гиканьем скачем по Лаврушинскому к набережной.

Я просыпаюсь от звенящего птичьего голоса у меня над ухом.

Прямо на подоконнике цвиркает синица, задирает голову, и я вижу, как бьется ее напрягшееся шелковистое горлышко.

Теплый пряный запах смородиновых листьев льется в комнату.

Из пакли, торчащей между потрескавшихся бревен, выпутывается паучок и бежит сломя голову к потолку, карабкается через паущего на картинке Льва Толстого.

Не шевелясь, чтобы не спугнуть синицу, я подсвистываю ей. В открытом окне вырастает лохматая голова с оттопыренными, как крылья, ушами и спрашивает:

— Керосин нужен?

Голова рассматривает меня хмурясь, а пти-



ца, как ни в чем не бывало, прыгает у нее перед носом.

— Дрессированная? — удивляюсь я.

— Ей Барсик крыло отъел,— охотно объясняет парень, сгребая в ладонь синицу.

С веранды приоткрывается дверь, бабушка огорчается:

— Мальчик, зачем же ты его разбудил?

— Вам керосин нужен?

— Ой, нужен, нужен!

— Пошли,— решительно кивает мне голова.— А то разберут всё.

Мой новый знакомый терпеливо ждет, пока я натяну штаны.

— Тебя Лешкой звать, я знаю,— сообщает он.— Я тебя целый час жду.

— А ты кто?

— Я — Вовка. Вы у нас живете...

На дорогу бабушка делает нам пирожные — намазывает маслом черный хлеб и посыпает сахарным песком.

— Мне без масла,— требует гость.

Бабушка не может утерпеть:

— Надо говорить «пожалуйста»...

Мы завтракаем на ходу. Стоит прозрачный пасмурный день, за заборами цветут вишни. Редкие капли падают с неба, шурша в листья.

— В том году тут один художник в поселке «Известий» снимал,— рассказывает Вовка,— и к его сыну Бесков в гости два раза приезжал. Они потом в футбол играли и меня в ворота поставили. Он мне восемь голов забил. Ты тоже за «Динамо»? А кто болеет за «Спартак» — тот придурок и дурак! Ты в седьмой перешел? Я тоже, только у меня переэкзаменовка на осень по русскому. У нас в классе все отличники — дураки и зубрилы. Особенно девки...

— Мы теперь тоже с девками будем учиться,— говорю я.

— А чего хорошего-то? — фыркает он.—

Они только воду мутят! И шепчутся, шу-шу, шу-шу. Кто в кого втрескался.

— А красивые у вас есть?

— Ни одной!

На перекрестке стоит телега с бочкой. Мы занимаем очередь и подходим к лошади. Вовка скармливает ей свой хлеб с сахаром.

— Здравсьте, дядя Колпакыч,— кивает он деду в тюбетейке, который отпускает керосин. И дед здоровается с Вовкой.

— Как ты его назвал? — спрашиваю я шепотом.

— А его все так зовут — Колпакыч...

Вдруг Вовка толкает меня в бок. Посреди улицы едет девочка на дамском заграничном велосипеде с разноцветной сеткой на заднем колесе. Она держит руль одной рукой, в другой погромыхивает на весу бидон.

— Фикстула...— хмыкает Вовка.— У Люськи Кукиной снимают, там у них одни бабы...

Соскочив на землю, девчонка на мгновение теряет равновесие, но удерживается на ногах. Чувствуя к себе внимание, она оглядывает очередь независимо и нерешительно и внезапно мягким движением головы забрасывает за спину косу.

— А ничего...— тихо говорю я и почему-то сплевываю.

— Да ну! Лупоглазая какая-то... А у тебя велик есть?

— Мне скоро купят.

— А мне купили ХВЗ. Только отец на нем на работу ездит.

Неожиданно девчонка подводит свой «Диамант» прямо к нам и просит:

— Мальчишки, возьмите мне, пожалуйста, а то я опаздываю.

Темнокарие глаза ее распахиваются и становятся совершенно огромными.

Без колебаний Вовка отчеканивает:

— Дуня! — И ухмыляется ей в лицо: — Постоишь, не растаешь...

Обиженно дернув плечом, она отходит.

— Какая Дуня? — спрашиваю я с досадой.

— Всю жизнь мечтал ей за керосином стоять,— сварливым голосом говорит он ей вслед и косится на меня за поддержкой.— «Дураков у нас нет». А сокращенно: «Ду-у-н-я».

— А «я»?

Он довольно хохочет:

— Тебя позабыли!

Девочка топчется в стороне у забора, покусывая губу и все время поглядывает вдоль улицы, как будто ждет кого-то. Исподтишка я наблюдаю за ней, а Вовка — за мной.

— Взять, что ли? — усмехается он.

Я чувствую, что краснею.

Он идет к ней. Она не сразу отдает ему бидон, но Вовка что-то шепчет ей на ухо, она прыскает, и я ловлю ее короткий взгляд, цепкий, как у зверька.

Когда дед Колпакыч наливает нам керосин, она подходит поближе, и Вовка подмигивает мне всей щекой.

Ее зовут Оля.

Я сижу на земле, обхватив колени, и не свожу с нее глаз. Они танцуют с Люськой Кукиной, она вертит Люську по-всякому, и Люська ее слушается и мурлычет:

— ... На далеком Севере

Эскимосы бегали...

Фокстрот называется «Девушка играет на мандолине».

— А ты, Леша, танцуешь?

Швейная машинка стрекочет у крыльца. Люськина соседка Жанна, совсем взрослая девушка, большая и некрасивая, шьет и донимает меня расспросами.

— Я только падеграс умею.

Девчонки стоят, не разнимая рук, ждут, пока сестренка Люськи меняет пластинку.

— Ой, иголка упала...

— Вот бестолочь! Последняя иголка! — ругается Люська.— Мы теперь без музыки остались...

Все шарят в траве, сталкиваясь лбами, вокруг онемевшего патефона. Вовка хватается Люську за пятку, она визжит и лягается.

— А телевизор у вас есть? — спрашивает меня Жанна.

— Маленький.

— Все равно, значит богатые, — говорит она мечтательно.

— Совсем мы не богатые,— обижаюсь я.

— А какие ж вы? Бедные, что ли?

Оля тоже вскидывает на меня взгляд, полный простодушного любопытства.

— Мы — нормальные...

— Ну сколько батя получает?

— Откуда я знаю?

Жанна недоверчиво улыбается. У нее обветренные красные губы на загорелом лице.

— Небожь говорить не велели...

— Честное слово, я не знаю.

— Подумаешь, я тоже не знаю, сколько мой получает,— радостно говорит Вовка.

— Ты вообще долдон...

Жанна опять собирается что-то спросить, я жду с тоской, но, на счастье, незнакомый парнишка ловко проскальзывает в заборе и идет к нам. Он хмуро кивает нам с Вовкой и, развернув газету, протягивает Люське рентгеновский снимок — пластинку с черного рынка, оттиснутую на чьих-то ребрах.

— А, Валера...— насмешливо улыбается Жанна и косится почему-то на Олю.

— А Галка, рахитка, последнюю иголку посеяла...

— А вы лучше в почту сыграйте,— нахально

советует сестренка и тут же получает подзатыльник.

— Правда, давайте в почту! — оживляется Оля.

Валера, осмотрев мембрану патефона, требует гвоздь и напильник и посылает Галку в сарай.

— Только чур я буду почтальоном! — кричит она.

Приносят бумагу, булавки, карандаши. Мы нарезаем и подписываем номера, прикалываем на рубашки.

— Напишем Жанке, что она — королева! — сразу предлагает Вовка.

Но мне не до него. «*I love you*» криво пишу я, прижмив клочок к стволу сосны. Прибавляю «*so much*» и отдаю почтальону.

Патефон, громко шипя, наконец испускает бойкую музыку. Девчонки хлопают в ладоши: — «Истамбул!»

— Это же самая стильная вещь! — ахает Жанна.

Тут Галка вручает ей послание, она читает его, догоняет Вовку и колотит.

С изумлением я замечаю, что у Валеры в ладони тлеет папироса. Он курит, не скрываясь.

Люська с Олей перешептываются, давясь от смеха.

— Галка, — не выдерживаю я и ловлю ее за косу, — ты передала?

Она доверчиво кивает.

— Она ничего не сказала?

— Она сказала, что ты — дурак и что у тебя там грубая грамматическая ошибка.

Под сухой ветлой, сгорбленной над берегом, толкуются мальчишки. Я сторожу от них велосипеды и нашу одежду, сваленную на облысевшую траву. Они по очереди повисают на палке, привязанной к толстому суку, и, раскачавшись, падают в воду.

Гам стоит над желтой водой. Речка мелкая, а народу полно.

— Чокнутый, что ли? — неистово кричит Люська.

Это Вовка подныривает и хватается девчонок за ноги.

Я вижу, как Валера и какой-то рыжий сцепляют руки. Оля забирается к ним, хватаясь за их головы.

— Раз, два, три!

Она кувыркается вниз и выплывает довольная.

А Валера плывет настоящим кролем, выдыхая в воду.

— Ты чего не купаешься, Леш? — спрашивает Люська.

— Неохота...

Она натягивает платье прямо на мокрый купальник.

— Ребята сказали, в Летнем «Башня смерти» на пять и на семь.

— Я не могу, мне родителей встречать надо.

— С тарзанки ныряю и — ходу! — говорит Валера.

Он дожидается очереди и, красиво изогнувшись, стрелой входит в воду.

В руке у Оли желтая болотная лилия на длинном стебле.

— Ой, какая! — расстроено тянет Люська. — Где взяла?

— Тут один мальчик подарил...

— Хочешь, я возьму тебе билет? — предлагает мне Люська. — А ты приходи прямо к сеансу.

— Ты разве не идешь? — спрашивает Оля.

— Сказал же, не могу...

Он останавливается на пороге, загородив проем, стаскивает кепку с обритой наголо коричневой головы и рассматривает меня насмешливо и жадно.

— Не помнишь меня, Лешка?

Глаза у него водянисто-голубые под белыми колючими бровями. Он словно быстро ощупывает меня взглядом.

— Помню.

— Врешь, где тебе помнить! Тебе два года было... Ну, здорово, барбос!

Я целую его в сухую щеку, и в нос мне ударяет пронзительный сладкий одеколон пополам с табаком.

— Ты чего нос воротишь? Это меня в вашей чертовой столице в парикмахерской каким-то клопомором одолжили... — смеясь, он целует бабушке руку.

Дед расхаживает по веранде, топя сапогами, по-хозяйски все разглядывает, все трогает, заходит в комнату, и мы толпой ходим за ним.

— Шикарно живете. И граф Лев Николаевич! Это кто же его тут повесил? Ты, Лешка? Ты, что же, толстовец?

— Это хозяйский, — говорит отец, не сводя с деда сияющих глаз.

— Толстой на стенке — уже, значит, не мерзавцы.

— Люди как люди. Он — мясник.

Дед оглушительно хохочет:

— Мясник-толстовец! Вот это да!

Мы спускаемся в сад умыться.

— Ты Ивана помнишь, Костя? Лешка на него здорово смахивает... Это мой старший брат, — объясняет он мне. — Только он помер прежде, чем ты родился... — И смазывает меня по носу: — Вот с таким же румпелем.

— А глаза у него мои, — говорит мама.

— Коли хочешь знать, Люба, и глаза у него



грешиловские. А вот взгляд — точно твой. Ну, на кой черт парню этакий нежный взгляд газели? Ты драться-то умеешь?

— Да где там! Колотят его в школе.

— Кто же его драться научит? — возмущается дед. — Отец называется!

На веранде нас ждет накрытый стол. Окинув взглядом засыпанную укропом, всю в тающем масле картошку, блюдец с редиской и луком, бледные помидоры, дед крикает и ладонью снимает капельки, выступившие на кувшине с квасом.

— А у нас только-только багульник зацвел...

Он хватается чемодан, но отец вырывает у него из рук.

— Ну, зачем тебе тяжести ворочать? Я же вот он!

— Слушай, Котька, оставь меня в покое! Ей-богу, оденусь и уеду! Я прекрасно себя чувствую!

Он достает из чемодана мохнатые маленькие бурки с серебристым отливом, вышитые по краям.

— Ну-ка, мерь, Лешка. Это олень.

— Стынет все! — стонет бабушка.

Но дед заставляет меня натянуть бурки и снова лезет в чемодан.

— Всё на столе, чего тебе не хватает?

На свет появляется бутылка.

— А спирта у вас нет!

Наконец, он усаживается, и отец наполняет стопки.

— Кума, мы на «ты» или на «вы»? Ей-богу, запомывал!

— Не мудрено, — улыбается бабушка. — На «вы», на «вы», Василий Никитич.

— Надо будет на брудершafft. И вообще — не приударить ли мне за вами, а? Холостые, молодые — что нам мешает?

Мы смеемся. Отец поднимает стакан:

— Ну, батька, со свиданием!

«...Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбацкую лодку берет

И тихую песню заводит —

Про Родину что-то поет...»

Они поют, откинувшись на спинки стульев, уставясь куда-то вверх. У обоих необыкновенно суровые лица, и рука отца лежит на дедовом плече.

Кончив песню, мы сидим в тишине. Сумерки обступили окна.

— Ну-с, — осведомляется дед, — а мат получить не желаете?

— Сейчас чай будет... — заикается бабушка.

Но отец уже расставляет фигуры.

— Ты играешь, Алексей?

— Не очень хорошо.

— Да что ж это такое! Драться не умеешь и

в шахматы не играешь... А велосипед у тебя есть?

— Нету.

— Черт знает что! Разве парню можно без велосипеда? Сколько он стоит?

Я без промедления сообщаю:

— Восемьсот двенадцать рублей.

— Ты брось деньгами швыряться, — говорит папа. — Тебе сейчас на новом месте — только успевай раскошелиться. Купим мы ему велосипед.

— Раньше надо было думать, — отрезает дед. — Мой внук и деньги мои. Завтра же идем покупать. Кого ты из него воспитываешь?

— Нормального человека, — говорит мама с усмешкой.

Дед смеется.

— А зачем? Их и так развелось, как собак нерезаных. Куда ни глянешь — всё постные рожи нормальных...

Бабушка вносит с улицы самовар. От него вкусно тянет дымом сосновых шишек.

— Чай пить — помирать, чай не пить — помирать, уж лучше чай пить! — вздыхает дед и подмигивает мне. — Поехали, Лешка, со мной, на полное житье, а?

— Куда?

— В Макеевку.

— Поехали! — ору я.

— Это Донбасс? — беспокойно спрашивает бабушка. — Там ведь угольная пыль...

— Череповец еще предлагали, — объясняет дед. — Я решил: ну его к бесу! Хватит. Вреден Север для меня. И потом в Макеевке Адабашьян, а мы с ним еще до войны в Харькове работали... Так что я теперь — южанин. Вишни посажу под окном, буду вас киршвассером снабжать из собственных погребов...

Сделав ход, он вытаскивает коробку «Казбека», с удовольствием разминает папиросу, нюхает.

— Ну, зачем, батька? — укоризненно говорит отец.

— Я сто лет «Казбека» не курил, оставь меня в покое. Лучше бы Лешку драться научил.

— У него порок сердца, — говорит мама. — Ему бока намнут, пока он справку предъявит.

— Да я умею, — говорю я, — только я не надираюсь. Вот если меня тронут, тогда дам сдачи.

— И куда ж ты бьешь? — интересуется дед.

— Как куда?

— В какое место? В грудь, в лицо?

— В лицо одни хулиганы бьют, — замечает бабушка.

— В поддых, — говорю я, подумав.

Дед вдруг становится серьезным.

— Бить надо всегда первым, пока тебе вмазать не успели. Заруби себе на носу. И сразу — в лицо.

— Господи, чему вы его учите? — ужасается мама.

Папа смеется. Топорща белые брови, дед глядывается в доску, шевелит губами.

— Дай ход назад,— бурчит он.

— Ну, вот, начинается.

— Заморочили мне голову разговорами, я и зевнул! А позиция у меня гораздо лучше...

Вот они перед мной — приваленные к стене, как придется, в закутке рядом с баянами на полках и белыми жестяными лейками на полу. От них исходит дразнящий запах тавота, жирный и сладкий. Рамы обмотаны промасленной бумагой и перетянуты шпагатом, и в разрывах обертки видна черная или синяя окраска труб. Мутно поблескивают широкие хромированные обода.

Сонный дядька выдергивает велосипед из кучи.

— Этот? — спрашивает дед.

Вовка и папа тоже смотрят на меня в ожидании. От волнения мне начинает казаться, что продавец перепутал.

— Что же ты молчишь? — говорит папа.

— Они все одинаковые,— печально говорит продавец.

Дед поднимает заднее колесо, раскручивает на весу педали, вслушивается, пробует тормоза.

— В ходу тяжеловат.

Вовка советует взять харьковский.

— Харьковский лучше, и у него седло мягкое.

— Знаю я это харьковское рукоделие...— бормочет дед.

В полузакрытых глазах продавца пробуждается вялый интерес.

— Поцарапано вон,— показывает Вовка.

— Где?

— Что за ерунда! — вмешивается отец.— Все равно он его разукрасит.

— А харьковские есть?

— Тц! — отвечает дядька.

— Нету?

Дед зачем-то трясет велосипед, всхлипывает звонок.

— Я вообще-то как раз такой хотел,— говорю я.— Синий...

На улице мы сдираем бумагу. Открываются сияющие голубые ребра и зубчатка, рубиновый фонарик на заднем крыле, белая пластмассовая эмблема с красными буквами «ЗИС». Мне все еще не верится, а дед достает ключи из кожаной скрипучей кобуры, опускает седло, затягивает багажник и, как ни в чем не бывало, берется за руль.

— Ну-ка,— говорит он.

Оттолкнувшись, он на ходу перебрасывает правую ногу. Посадка у него прямая, он высоко держит голову на жилистой шее, напоминающая гуся.

— Он без рук умеет? — шепотом спрашивает у папы Вовка.

Холода нагрянули среди лета. Повисли на кислом небе оборванные, похожие на тряпки, облака.

На веранде Вовка, унылый, лузгает для синицы семечки, и она скачет перед ним на краешке стола. Я стучу в окно, зову его гулять.

— Не могу,— он задирает босую ногу.— Мать ботинки унесла чинить.

Улица — как вымерла, все попрятались. Колочий ветер бьет порывами, забирается под пальто и гремит в ушах. Тягуче, с натугой скрипят деревья.

И у Люськи на участке — никого. Под яблоней курится сиротливо какая-то ветошь, белый дымок волочится, прижатый ветром к земле.

Приникнув к отсыревшим доскам забора, я тщетно глядываюсь в густое крыльцо.

Где-то там, за черными слезящимися окнами — Оля.

— Оля...

Имя отделяется от моих губ туманным клубочком, мгновенно тающим.

Из-за угла выползает лошадь, пар окутывает ее лоснящиеся мокрые бока, и, обгоняя ее, Вовка шлепает ко мне по лужам в спадающих галошах.

— Так я и знал,— ухмыляется он.— Пошли к ним?

— Да ну.

Телега едет мимо, громыхая подвязанным к задку ведром. Всякий раз, как лошадь вытаскивает копыто из тяжелой грязи, раздается смачный лопающийся звук.

Вовка пронзительно свистит.

— Со скуки помереть можно,— говорит он.

Вскоре на крыльце показывается Люська, набросив ватник, высовывает ладонь на дождь. И, поколебавшись, спускается к нам.

— Вы чего делаете? — интересуемся мы.

— А вы?

— А мы к вам пришли.

Зевнув протяжно, она сообщает:

— А в Быкове девушку убили.

— Кассиршу,— уточняет Вовка.— Ее амнистированные убили и на кусочки разрезали. А потом кусочки собрали, сложили, посмотрят — а это кассирша из «Промтоваров».

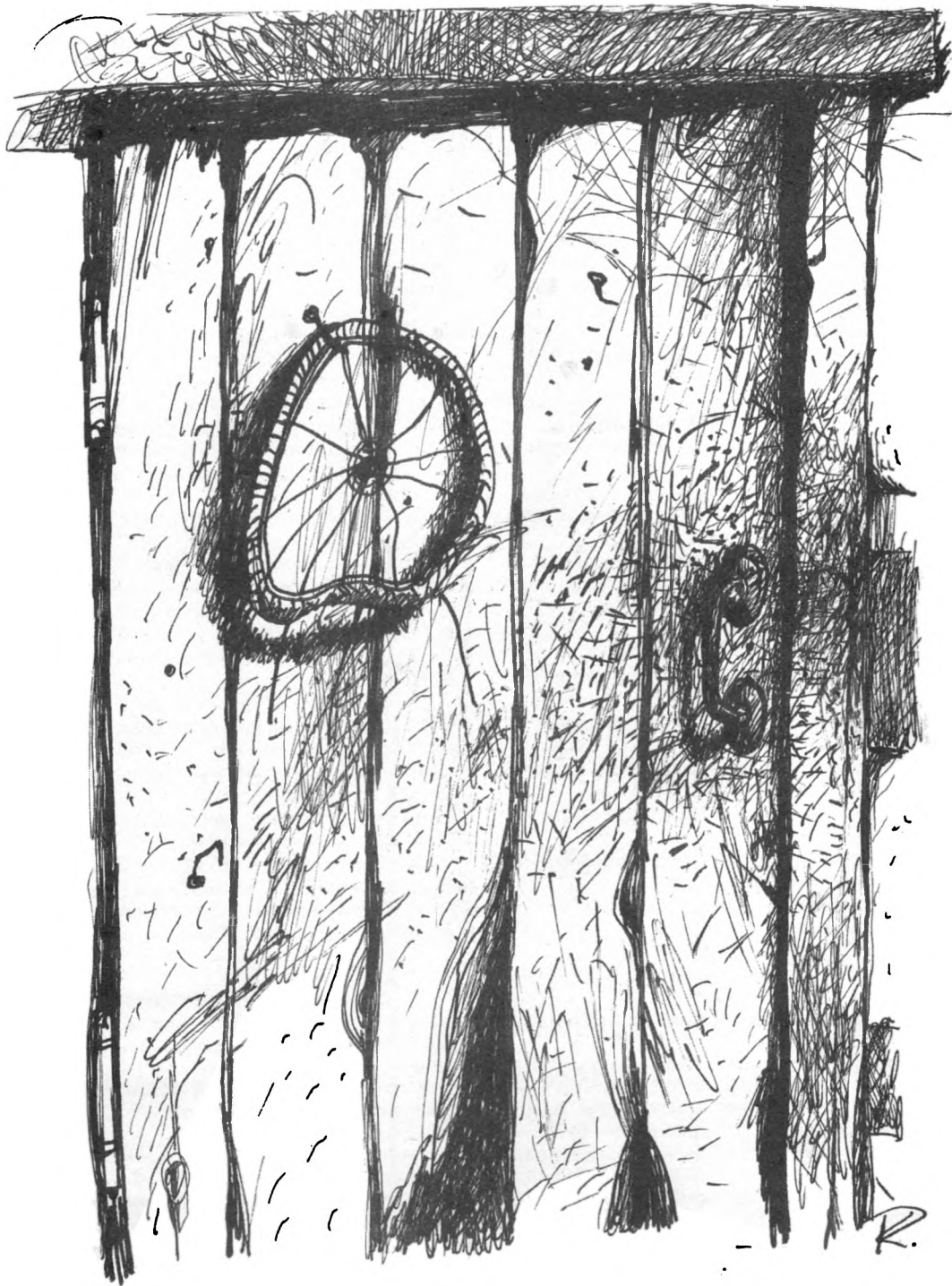
— Кто собрал?

— Мильтоны. К отцу на мясокомбинат с собакой даже приходили.

За Вовкиным рассказом я не заметил, откуда в саду взялась Оля. Она присоединяется к нам.

— Никак не могу согреться...— говорит она сизыми губами.

В волосах у нее вздрагивают застрявшие капли.



— У вас свет есть? — спрашивает Люська.  
— На нашей стороне ни у кого нет. Столбы вчера повалило.

Нет на свете такой вещи, которой бы не знал Вовка.

— А мне кабан снился,— говорю я.

— Кабан?

— Как будто я по лесу бегу, а он рядом бежит. И на меня поглядывает. Причем мне совсем не страшно, а наоборот, хорошо, что он со мной бежит. Такой ласковый кабан... Потом лес кончился, и я вдруг полетел. А он внизу бежит и стал уменьшаться, все меньше, меньше и совсем пропал. И так мне жалко стало, что кабана больше нет...

— Чего вы там мокнете? — кричит нам женский голос из окна.— Ступайте в дом и кавалеров зовите...

Оля задумчиво смотрит куда-то в пустоту.

— Это моя мама,— говорит она встре-  
нувшись.

Ужинаем мы с бабушкой при свечке.

— Спать рано, а читать темно,— ворчит бабушка.— Прямо как в ссылке...

— А мама когда придет?

— А куда ей торопиться!

От ее саркастической усмешки мечется пламя свечи. Причудливые тени разбегаются по бабушкиным морщинам.

— Засунули нас на эту чертову дачу, им и горя мало...

Дождь все шелестит в саду. Струя воды скатывается с крыши и звучно разбивается прямо под нашим окном. Хочется спать под ее бесконечное сбивчивое бормотание.

Лампочка над столом вспыхивает, а в абажуре сразу же оживают, шуршат мотыльки.

— Слава Богу! — веселеет бабушка.— Ты почему котлету не съел?

Погасив свечу, она приглядывается ко мне, как всегда, с суеврным страхом.

— У тебя глаза блестят!

— Опять двадцать пять...

Но она уже вскочила и несется в комнату, вытряхивает шкатулку с лекарствами, машет градусником.

— Только не хватает, чтобы ты заболел!

В полдень одуряюще трещат кузнечики в сухой траве за окном.

Печет нещадно, на белый подоконник больно смотреть, а бабушка водит ладонью в воздухе, нашаривая сквозняк.

Я терпеливо жду, пока ей надоест.

— Ей-богу дует! — говорит она, и у нее останавливается взгляд.

Обливаясь потом на горячей подушке, я играю с бабушкой в «шестьдесят шесть».

— И хоть бы какой-нибудь завалящий козырь... — бормочет она.— Одна дрянь.

— А валет?

— Ты что, подглядываешь?

— Раз у меня его нет, где же ему быть?

Тут ее опять подбрасывает на стуле.

— Я же чувствую, что дует!

— Как может дуть из стены?

На веранде кто-то сдавленно хихикает, доносится возня, и мордочка Люськи Кукиной просовывается в дверь.

— Можно? — спрашивает она, с трудом сдерживая смех.

— Заходите, заходите, только двери закрывайте...

Люська исчезает, я слышу шепот, и через секунду она втаскивает в комнату упирающуюся Олю.

— Здравствуйте...

Она улыбается неловко, и я вижу, что она загорела и у нее чуточку облупился нос.

Девчонки мнутя и, переглянувшись, прыскают, как по команде. Бабушка, поджав губы, рассматривает обеих.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спрашивает Люська.

— Я уже выздоравливаю.

— Какой скорый! — сухо говорит бабушка.— Доктор сказал, что тебе с нормальной температурой еще четыре дня лежать.

И зачем-то поправляет мою подушку. Я с досадой отбиваюсь.

— Я даже не слышал, как вы зашли,— говорю я.

— Мы же босиком,— объясняет Люська.

По глазам ее видно, что она вот-вот опять расхохочется.

— А вы учитеесь? — величественно спрашивает бабушка.

— А как же! Я в седьмой перешла, а вот Ольга в восьмой...

Оля с независимым видом предлагает:

— Может, вам помочь?

— Правда, давайте мы чего-нибудь сделаем! Хотите, за водой сбегаю?

— Ну, если вам не трудно...

Люська первой выскакивает на веранду, отпихнув Олю. Бабушка идет за ведром.

Руки у меня ледяные и колючая сухость в горле.

Мы остались вдвоем.

— Что ты читаешь?

— «Большие ожидания».

— А...— она неуверенно кивает.

— Это Диккенса, который «Дэвид Копперфилд» написал.

Она стоит, прислонясь к стене и упрятав за спину руки, точно она у доски. Смутная улыбка бродит у нее на губах. Вдруг она быстрым движением засовывает за ухо мокрую прядь волос.



— Купались? — выдавливаю я.  
— Что? — переспрашивает она хмурясь.  
— На речку ходили?  
— Нет, я просто голову вымыла...  
Бежит драгоценное время. Меня охватывает непреодолимое отвращение к себе.  
— Куда это Люська подевалась? — сердито говорит Оля.

Я спускаюсь на край берега, раздвигаю заросли, сажусь на корточки. Цветок слегка относит в сторону. Я подгребаю, толстый сте-

бель не поддается, пружинит, как резина, я надрезаю его ногтем и отламываю.

Мой букет остро пахнет болотом.

Короткая коса заросла ольхой, в разрыве кустов видны плети ряски в темной, неподвижной воде. Сверкнуло желтое пятно и пропало за маслянистой зеленью осоки. Вот они где прячутся.

Я складываю на мох свою добычу, раздеваюсь. Кочка оседает подо мной, выцеживая розоватую жижу.

Я вхожу в душную воду. Ольховый куст торчит из берега, нависнув над лилиями. Ухватываюсь за сук. Со дна бегут пузыри, скользким холодом окутывает ступни. Еще немного, и я касаюсь поверхности плоского листа, мясистого и шероховатого. И проваливаюсь с головой в яму. Я извиваюсь, колочу что есть силы по воде и, нахлебавшись зеленой, пахнущей гнилью бурды, сам не понимаю как, выскакиваю и вцепляюсь в ольху.

В протоке покачивается лодка.

— Дяденька, сорвите мне, пожалуйста, вот эти лилии.

Голый рыболов недовольно шурится и берется за весло. Сухо шуршит камыш расступаясь. Одну за другой он достает все четыре лилии.

— Спасибо большое!

Он бросил и промахнулся, лилии, не долетев, опускаются на воду. Я сползаю за ними, тянусь и не могу дотянуться — дно обрывается.

А дядька уже выгребает на середину, и лягушки провожают его скрипучим стоном.

— Боишься? — говорит он кисло.— Да тут мелко...

— Я плавать не умею, дяденька.

Но ему уже не до меня.

Отплывавшая, отдирая ряску.

Лилии уносит в протоку, они кружатся, колеблемые слабым течением, переливаясь на солнце матовой влажной желтизной.

Навстречу мне в сумерках пронесится «Диамант», обдав меня пыльным ветром.

Мы оба тормозим, она спрыгивает на землю и ждет, пока я развернусь. На руле ее велосипеда раскачивается полная авоська.

— Жанкин день рождения, все уже за стол садятся, а хлеб забыли купить...— Она прерывисто дышит.— Ой, красота какая...

Пальцем она осторожно поглаживает, словно котенка, чашечку цветка.

— Это кому же?

И поднимает на меня хитрые, сияющие глаза.

Я вдруг угрюмо бормочу:

— Мало ли кому...

Она смотрит на меня с простодушным изумлением и медленно, беспомощно крас-

неет. И дернув плечом и пряча лицо, суетливо нащупывает ногой педаль, соскальзывает, топчется. И я вижу, как у нее вздрагивают губы.

Я стою, тупо глядя ей вслед, с велосипедом в одной руке и с букетом в другой, как победитель велогонки.

Горбится передо мной пустынная улица в сером тающем свете.

Лилии я высыпаю в канаву.

Я бью, мяч гулко колотится в дощатую стену сарая, я бью еще и еще, раз за разом.

Бабушка стоит на крыльце, сложив на животе руки, уставясь вдаль. Когда мяч закатывается в траву у её ног, она с ненавистью пинает его и уходит в дом.

Пот щиплет глаза. Я утираюсь майкой. Разбежавшись, вкладываю всю силу в удар.

Я иду за мячом и у калитки натякаюсь на взъерошенную маму.

— Что с тобой? — пугается она.

Бабушка, дрожа от негодования, летит навстречу.

— Вы меня хоть золотом осыпьте, я с ним не останусь ни на минуту!

— Что тут у вас происходит?

— Он со вчерашнего вечера ничего не ел!

— У меня тоже с утра крошки во рту не было, — устало улыбается мама. — Лешка, ты сейчас умрешь. Мама, не падай в обморок. Мы с ним едем на юг.

— Куда?

— На юг, на море, в Гудауту!

И в изнеможении валится на диван.

— Денги некуда девать, — бормочет бабушка. — Такая хорошая дача... И Костя едет?

— Его не отпустили, — сухо отвечает мама.

— Опять? — спрашивает бабушка саркастически.

— Мама, не порти мне настроение...

Она нетерпеливо поглядывает на меня.

— Нет, как вам нравится! Я думала, он до потолка прыгать будет... Ты же моря-то никогда не видел!

Слова застряли у меня в горле.

— Нет, правда, это какой-то выродок, — нервно говорит мама.

Никто не отзывается на стук в окно.

На дверях замок.

Сквозь кисею занавесок мне виден стол с небранной посудой. Я зачем-то дотрагиваюсь до ржавой, нагретой солнцем дужки замка, и она тихонько лязгает.

Обогнув дом, я поднимаюсь на Люськино крыльцо, захожу в темные сени.

— Можно Люсю?

При виде меня желтый кот недовольно спрыгивает с пышных подушек. В комнате разговаривает радио.

— Кто-нибудь есть дома?

Кто-то кряхтит за перегородкой. Старик в меховой безрукавке привстает на топчане и, приоткрыв беззубый рот, вопросительно улыбается мне.

— Извините, а где Люся?

— В город поехали, в город! — кричит он и кивает.

— А Люся когда вернется?

— Что?

— Когда Люся вернется?

— Нет никого, в город поехали, — повторяет он неуверенно. — Скоро приедут...

Я показываю на стенку и тоже кричу:

— Вы не знаете, где ваши дачники?

Он напряженно вглядывается в мои губы.

— Леша, пойдй погуляй, — сдержанно говорит мама.

В сумерках мы стоим у вагона, отец стряхивает пепел с папиросы и косится на меня с сожалением. Ему явно не хочется, чтобы я уходил.

— Ну, ступай... — бормочет он.

Я слоняюсь в сутолоке по перрону, вдыхая угольный сладковатый запах вокзала, не зная, куда себя деть.

Мама плачет.

— Ты со мной никогда не считался...

— Это же работа, Люба.

Украдкой отец бросает взгляд на часы на столбе, и она взрывается:

— Ты знаешь одно только свое удовольствие!

— Хватит вам! — не выдерживаю я. — Люди смотрят!

Отец смущенно сопит. Виноватость в его глазах какая-то ироническая.

— Ну, поросенок, будь здоров... — и морщась добавляет: — и мать не сердит. Видишь, она нервничает...

Проводница принесла белье и привела военного с крыльями на фуражке. Забросив чемоданчик на полку, он оглядел нас и бодрым зычным голосом сказал:

— Что это вы, товарищи женщины, такие невеселые?

И застенчиво поставил на столик бутылку коньяку.

Наша соседка нахмурилась при виде бутылки. Мама молча постелила и ушла умываться.

За окном проплывал еще только Донской монастырь, а все женщины в вагоне уже были в халатах, а мужчины — в полосатых пижамах.

Переодевшись, все, как по команде, сели закусывать.

Только в нашем купе повисла унылая тишина. Пришлось раздеться и лечь. Военный, озираясь, курил в коридоре.





— А маму, значит, под потолок? — Он покачал головой. — Это, брат, не дело...

Я смутился и не стал ничего объяснять.

— Зачем же вы в чужое воспитание лезете? — сказала соседка, неприязненно улыбаясь, и, как мышь, втянула внутрь морщинистые щечки с пятнами пудры.

Я полез вверх.

Мама вошла и сразу сказала:

— Лучше не зли меня.

Летчик подмигнул мне.

— Что я, драться с тобой должна?

— Напрасно вы, гражданочка, переживаете, — ласково заговорил он, но она так посмотрела на него, что он осекся.

— Я хочу спать! — закричал я. — Оставьте меня в покое!

— Грудной он, что ли?

— Он хуже грудного! Я его стульями загораживаю, он и то умудряется падать!

— Это же не кровать, — засмеялся летчик. — Мы же тут специально наклон имеем, чтобы не загромоздить. Повернется — а его все равно к стенке поведет.

— Почему это?

— Как почему? — удивился он. — Гравитация!

Мама порозовела слегка.

— Вы будете отвечать, — сказала она, сдаваясь.

— А по маленькой для знакомства? — обрадовался летчик, достал из чемодана яблоко и протянул мне. — А, товарищи женщины?

Тетка кисло усмехнулась.

— Позвольте мне раздеться.

Ей почему-то не понравилось, что все так удачно разрешилось. Раздевшись, она потушила свет.

Летчик так огорчился, что мне стало жаль его. Он долго топтался в темноте, стягивая сапоги. Вдруг он крикнул, решительно налил стакан коньяку, выпил и прыгнул на полку.

Ночью я слышу грохот.

Кто-то тормозит меня, кричит, плачет. В тусклом синем свете я вижу две склоненные ко мне головы.

— Я же так и знала! Уверена была!

Летчик быстро ощупывает мою голову, бока, руки.

— Где больно?

— Да не больно ни капельки!

Мама недоверчиво следит за тем, как я поднимаюсь с пола.

— Господи, зачем я только вас послушала! С ним же нельзя быть спокойной ни минуты, это не ребенок, это какой-то кошмар!

— Мама, — шепчу я сердито, — ты же голая!

Они с летчиком пугливо косятся друг на

друга. На нем только белые подштанники, а мама в ночной рубашке.

Она с визгом кидается под одеяло, а летчик — к дверям. Купе наше сотрясается от хохота.

Наутро не только в нашем, но и в соседних вагонах уже знают, что я упал. У нас полно народу, сесть негде, и мне уже порядком надоело торчать в коридоре.

— Нет, вы себе представьте! — рассказывает мама очередному гостю. — Буквально сантиметр в сторону — и он бы ударился головой об стол! Это надо умудриться!

— Ну, хватит, — ворчу я.

Пузатый дядька в украинской вышитой рубашке осматривает место происшествия, прикидывает высоту.

— То, видать, как дернуло покрепче, ты и нырнул, — рассуждает он.

— Так он же не с этой полки упал, а вон с той, — возражают ему. — Мы же вон куда едем!

— А мы в Курске паровоз меняли, — вспоминает проводница. — Это в котором часу было?

Летчик стеснительно пожимает плечами. Он с утра не проронил ни слова.

— Это было ровно без двадцати три, — хладнокровно сообщает соседка. — Я сразу же на часы посмотрела.

— Точно! Как раз мы паровоз меняли, он нас назад подавал.

— Он и нырнул! — заливается дядька. — Без парашюта!

За окном летит нескончаемый южный день, дымный, солнечный, мелькают белые мазанки, крытые золотистой соломой, встает громада, черная среди желто-белесой степи, и поворачивается, пока мы ее огибаем.

— Ой, что это? — спрашивает девушка.

— Это терриконы, — объясняю я.

Человек в кителе смеется:

— А что такое терриконы?

Я презрительно пожимаю плечами:

— Сваливают в кучу пустую породу, вот и получается такая гора.

— С ним лучше не связываться, — улыбается мама. — Где он это все берет — хоть убей, не знаю!

— Перестань, мам!

— А что я такого сказала? — обижается она.

На станциях нас караулят бабки с ведрами и корзинами. Они бросаются к дверям и окнам вагонов и певучими голосами предлагают свой товар, а мы мечаемся между ними.

— Мама, это кукуруза?

Торговка торопливо разворачивает марлю, натирает солью дымящийся початок. Аппетитный пар щекочет мне ноздри.

— Покушай, хлопчик...

Мама удивляется:

— Ты никогда не ел кукурузы?

Загорелая краснолицая молодуха чертит босой ногой в пыли.

— Почему вишня?

— Десять карбованцев.

— Кило? — недоверчиво спрашивает мама.

Девушка пугается:

— Та ведро...

И дуря от дразнящего изобилия и неприлично дешевых цен, мы тащим с собой в вагон горячую вареную картошку и малосольные огурцы, вздутые, все в складочках, огромные помидоры, мелкие, каменные, необыкновенно сладкие груши и ведро вишни, которое нам нипочем не съесть.

— А в Уфе у Лешки последние штанишки украли...

Мама рассказывает, не в силах оторваться от помидора, жадно ловит его сахарный багровый сок, чтоб не пропало ни капли.

— Мы там прямо на пристани две недели валялись. У него единственные штаны были. Я постирала, сушиться повесила, а их увели... Он у меня там совсем мирал. Врач посмотрел и говорит: вы силы зря не тратьте, вы еще молодая, живы будете — еще нарожаете, а ему все равно не выжить...

— Тиф, что ли?

— Не дай Бог! — пугается мама. — Понос голодный.

— Да-а... — тянет толстяк. — Вот тогда бы эту обжираловку!

И самодовольно смеется и обводит всех взглядом — как хорошо, что все мы живы!

— Мы в сорок втором в Копейске жили, муж мой приехал на два дня, их там периформировывали... — вступает проводница. — Я картошечки достала. Муж говорит: у меня поллитра есть, сходи обменяй на что-нибудь. Ему, бедненькому, конечно, выпить охота, ну, он увидел, на кого мы похожи, и не выдержал. Водка тогда, сами знаете, дороже всех денег была. Взяла я эту поллитровку и пошла с дочкой на базар. Гляжу — инвалид безногий бутылку масла продает. Предлагает поменяться. А я, дура, думаю — ведь что ни купишь, все враз съедим, а масла надолго хватит. Поменялась я с этим инвалидом, чтоб ему ни дня, ни покрывши, прихожу домой, а в бутылке только стенки маслом обмазаны и сверху чуточку налито, так смотришь — вроде масло. А там — вода... Господи, как я ревела!

Она, кажется, и сейчас готова заплакать.

А слушатели кивают и улыбаются задумчиво, у каждого своя похожая история плывет перед глазами, осеняя лица особой, сладкотомительной грустью военных воспоминаний. В их улыбках — и жалость к себе, и превосход-

ство над самими собой тогдашними, прежними, времен войны...

— Эти инвалиды — это какое-то бедствие, — оживляется вдруг наша соседка. — Я живу на Дорогомилловской, так у нас на рынке до сих пор проходу нет от этих инвалидов. Пьяные вечно, дерутся, ругаются! Мы даже в Моссовет писали!

— А у нас во дворе контуженный жену убил, — говорю я. — Он ее из пистолета застрелил, потому что она с ним жить не хотела.

— Какой ужас! — говорит тетка. — И главное, что на них нет никакой управы. Милиция сама их боится.

Проводница вздыхает в дверях:

— Народ от войны лютый стал.

— Да войны уже десять лет как нет, а он — все лютый!

Летчик как-то странно щурится.

— Инвалиды буянят... — говорит он, заерзав, и неприязненно улыбается. — Интересно знать, где бы вы все были, кабы не эти инвалиды?

Воцаряется неловкая тишина.

— Я же совсем не в этом смысле... — заикается тетка, оглядываясь за поддержкой.

Летчик спрашивает у мамы:

— Извиняюсь, ваш муж на фронте был?

— Всю войну, — вздыхает мама. — Ранен два раза...

— Руки-ноги целы?

— Слава Богу, целы.

Он отворачивается к окну и бормочет:

— Счастье ваше...

Я караулю вещи на узком перроне. Толпа быстро растекается во мраке. В горячем, мягком воздухе, насыщенном влагой, струятся пряные запахи, и женщины кричат гортанными голосами.

Мама приходит в сопровождении высокой, прямой, как доска, старухи во всем черном. Мы берем чемодан и идем за ней.

Редкие фонари горят в кронах деревьев, бросая лучик света на темную зелень. Прямо на тротуаре сидят на стульях смуглые люди, разговаривают и смеются, разглядывая прохожих без всякого стеснения.

Мы сворачиваем в переулок. Шум и голоса улицы сразу отдаляются, смолкают. Старуха легко шагает впереди, то и дело пропадая во тьме, и мы с трудом поспеваем за ней, горючимся, перебираемся через насыпь железной дороги, карабкаемся в гору. Наконец, она впускает нас в калитку и зажигает лампочку над входом.

В домике стоит чужой, кислый запах.

Мы распахиваем оконце, и откуда-то снизу доносится мерный влажный шорох осыпающихся камней.

Мама растерянно смотрит на меня.

— Пойдем на море?

— Где море? — пытаюсь я у старухи.—  
Море, море?

Понять, что она говорит, невозможно. Держась за руки, мы ощупью спускаемся по тропинке.

Над нашими головами — черное бездонное небо с яркими звездами, похожими на крупинки соли. Невидимые волны накатывают на берег с глухим нарастающим гулом, и что-то мерцает в их сумрачной глубине, перемигиваются блеклые огоньки.

Мама зябко вздрагивает, и дрожь ее передается мне. Я беру ее руку.

— Как-то вдруг одиноко,— говорит она.

Сквозь строй обалдевших малышей, бабушек и мам с огромными букетами и цветами в горшках я проталкиваюсь к табличке «7-Б», которую держит Виктория Борисовна, молоденькая химичка, и сгоряча оказываюсь в толпе десятиклассниц.

Взрослые, недоступные, с короткими модными прическами вместо кос, они снисходительно косятся в мою сторону, и пот катит с меня градом.

Пинок в спину означает, что я добрался до своих.

Я ору бессмысленно, хлопаю по рукам, плечам, получаю в ответ ободряющие затрецины и толчки.

Все стали какие-то нескладные, худые. И шевелюры загустили — нам теперь можно, кончились наши страдания. Только Сало все такой же увалень и Копейка ни чуточки не подрост, и по-прежнему лысый, и опять пятно зеленки на темечке.

— Чего ж ты лысый, Копейка?

— А чего хорошего в зачесе-то? Только вшей разводить...

— Врет он! Лишай у него был! — хохочет Берг, и Копейка бросается на него.

Мы гогочем. Девчонки держатся особняком.

— Поберегите глотки,— говорит Виктория.

— А где же Крыса?

— Ты что, не знаешь? Крыса умерла летом.

— Врешь!

— Виктория Борисовна, это правда — про Анну Михалну?

— Да, ребята, к сожалению, правда...

— А у ашников одна баба чемпионка Москвы по гимнастике,— сообщает Пиня.

— А нам какие-то конопатые достались...

— У тебя тоже гимнастерка? У нас только Гордей и Берг в кителях, а так — сплошные гимнастерки...

— А я на коне ездил!

— А я в деревне с одной девкой целовался!

— Ты с кем сидеть будешь? — спрашивает Копейка.

— С Сяо Лю, конечно!

— Уехал Сяо Лю, у него отца в Молдавию перевели...

— Вот гад,— опечаленно говорю я.— И мячик мой зажуhal...

На лестнице мы украдкой разглядываем девчонок.

— Что? — смеется Виктория.— Барышни вас не устраивают?

— Ни одной хорошенькой!

— А вы на себя гляньте...

У дверей класса она нас придерживает:

— Пропустите девочек, будьте мужчинами.

После толкотни, сопровождаемой хихиканьем, девочки заходят первыми.

Мы бежим в конец и затеваем потасовку. Кто-то толкает меня, и я врезаюсь в Бадину заднюю парту у окна. И вспоминаю, что ее хозяин не показывался.

— Братцы, а где Бадя?

— Он на «Фрезер» работать пошел,— говорит Копейка.

Тут до него доходит, что мне задаром досталось лучшее место, на меня налетают, я отбиваюсь. После стычки моим соседом становится Пиня.

По звонку к нам в класс входит директор. Мы еще шумим, разгоряченные возней, и Гордей успевает схлопотать по уху от сидящей впереди девчонки.

Виктория Борисовна разворачивает газету и ставит на доску фотографию в рамке. С портрета смотрит на нас, улыбаясь, Крыса.

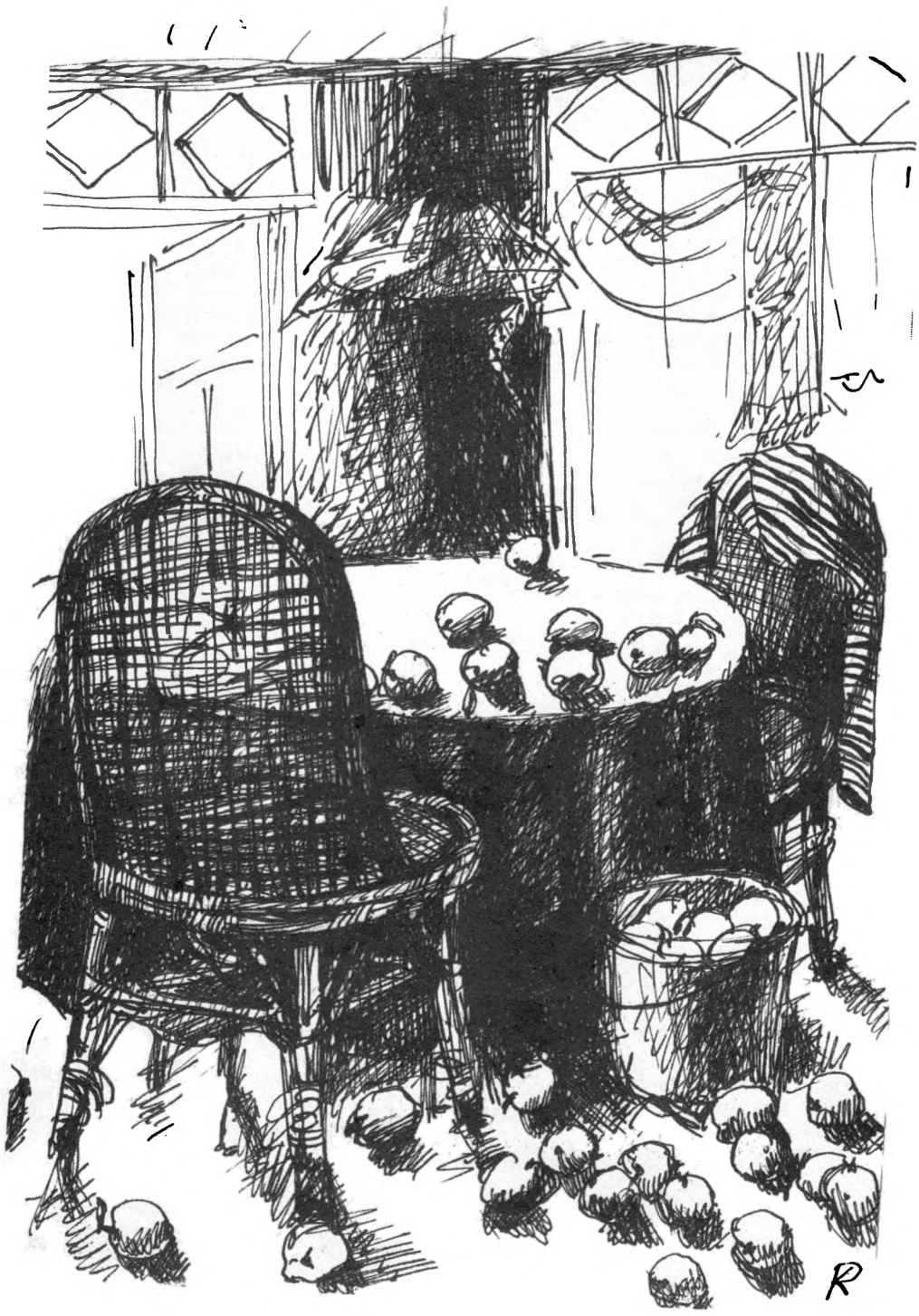
— Ребята,— говорит Яков Степанович,— двадцать восьмого июля скоростножно скончалась Анна Михайловна Непомнящая, ваш классный руководитель. Анна Михайловна прожила короткую и славную жизнь. Она прошла путь от беспризорницы в одной из первых трудовых колоний до заслуженной учительницы. В сорок первом году Анна Михайловна ушла добровольцем на фронт и провела в действующей армии три года. Тяжелое ранение вывело ее из строя. Анна Михайловна была награждена боевыми орденами. Девять лет своей жизни она отдала нашей школе... Прошу вас почтить ее память вставанием.

Стучат крышки парт, и растерянная, глухая тишина повисает в классе.

Ни с кем из учителей мы столько не воевали и никому не доставили столько хлопот.

Директор уходит, Виктория садится за стол и говорит:

— А почему это первая парта пустует? Я хочу видеть перед собой живые лица, а не мебель. Пинчук, ты ко мне хорошо относишься?



R

Пиня встает и краснеет. Все смеются.  
— Вот и хорошо. Переезжай ко мне. Девочка с челкой, как твоя фамилия?

— Патрикеева...— бормочет высокая, тоненькая девочка в очках.

— И ты, пожалуйста, садись на первую парту.

К общему восторгу Пиня садится с девчонкой.

— Другое дело... Теперь мне будет приятно приходить на урок. С сегодняшнего дня мы с вами приступаем к новому предмету — химии. Вы должны завести себе две тетради, одну — для лабораторных работ, а другую...

Дверь распаивается, на пороге вырастает взъерошенная девчонка с белыми бантами в черных, как смоль, косичках. Со скуластого темного лица смотрят на Викторию узкие глаза.

— Извините...— выпаливает она.

— Как твоя фамилия?

— Бедретдинова...

— На первый раз прощается. Ступай к Грешилову, на последнюю парту.

Опять класс гудит, все оборачиваются, а я заливаюсь краской.

— Повторяю,— говорит Виктория,— одна тетрадь вам понадобится для лабораторных работ, а в другой мы будем решать задачи. Наука химия изучает строение вещества, взаимодействие веществ и различные процессы, в результате которых молекулы одного вещества превращаются в другое. Откройте тетради, приготовьтесь записывать.

Двор за окном опустел. Родители разошлись. Поредели тополя у забора, и ветер гоняет по земле пожухлые, скрученные листья.

Украдкой я поворачиваю голову и натякуюсь на такой же вороватый настороженный взгляд моей соседки.

Хмыкнув, она сердито роется в портфеле, никак не может отыскать тетрадку. Солнце просвечивает насквозь ее маленькую смуглую мочку.

— Сегодня первое сентября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года...

1976 год

---

## Учебник по кинодраматургии

Александра Червинского

**«КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ  
ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»**

**(Часть 1)**

**можно приобрести  
в редакции по адресу:**

**103006,**

**Москва, Воротниковский пер., д. 10,**

**т. 299-11-78**

**О выходе в свет второй части учебника  
мы оповестим на страницах нашего журнала.**





В роли Сталина  
Роберт Дювалл,

В роли Нади Аллилуевой —  
Джулия Ормонд.

# THE 45TH ANNUAL EMMY AWARDS

В сентябре этого года фильм

## СТАЛИН

получил Гран-при  
на самом престижном  
ежегодном фестивале  
телевизионных фильмов

## «ЕММУ»

в Америке.

Сценарий и материалы по фильму  
опубликованы в нашем журнале № 2 — 1993 г.

Желающих приобрести журналы  
просим обращаться по адресу:  
Москва, Воротниковский пер., д. 12  
Редакция журнала «Киносценарии».  
Наши телефоны: 299-11-78; 299-47-74

---

АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!

---

## АНАТОЛИЙ УСОВ

# ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ



Э тот последний изгиб в моей биографии, который принес мне удачу и даже счастье, начался вот с чего: занимаюсь я как-то в своем пни-клубе, молотим с напарником друга ногами и кулаками.

Потом в раздевалке тренер мне говорит:

— Знаешь, Коля, ты, наверное, хороший парень. Ты даже, может, мне симпатичен. Но у меня хозрасчет, а ты два месяца ничего не платишь.

— Я найду работу, я за все заплачу.

— Есть один человек, ему нужен водитель-телохранитель, у тебя вроде были права... хорошие бабки...,— говорит он.

— Я подумаю,— говорю я.

— Ну, ты подумай,— говорит он.

— Я подумал...

— Ну?

— Что-то неохота за каждую тушу себя подставлять,— говорю я.— А если вдруг сам кого-то убью?

Тут он почему-то на меня разозлился:

— Чего же тебе охота?

Честно говоря, я не знал.

— Ты не обижайся, Коля, но ты лопух... Когда кругом столько возможностей, надо быть идиотом, чтобы ничего не иметь и ничего не уметь.

Тут-то и подвалил мой старинный кореш, мой армейский друг.

— Дедок, ты прав, но ты свободен...

Он хорошо смотрелся в длинном белом плаще и черной шляпе. На его ногах были туфли «инспектор».

Он хлопнул меня по плечу. Мы засмеялись и обнялись. Он мне сказал:

— Помнишь, как мы мечтали красиво жить — деньги, вино, женщины...,— а сам он едва не плакал, такой он был хороший товарищ.

И я был счастлив увидеть его.

«...Да, мы мечтали, когда мерзли на посту в Заполярье...»

Воет холодный ветер, метет поземку. Нас едва не сдувает, а мы идем с автоматами вокруг строго засекреченного объекта, утонувшего в глубоких сугробах, кричим и показываем руками, какие у нас будут большие деньги, и какие огромные женщины, с какими частями тела, и как мы их будем любить...

...А как-то приехал чукча, когда мы шли и мечтали, на своих оленях и привез нам бутылку спирта за пять патронов, и я отсчитал ему три патрона из своего «Калашникова», а Вова из своего два.

И как мы пристроились за сугробом и запузырили этот флакон. И как здорово нам тогда мечталось. И какое было над нами северное сияние — такое же прекрасное, как наша будущая гражданская жизнь.

«...Только, конечно, хрен...»

Мы идем с Вовой мимо этих золотушных комков с их бизнесом и суетой, мимо старух с водкой и сигаретами на продажу, мимо покалеченных бибирушек и стариков с гармониями.

«...Все это забрали другие. Каждый суетился сам по себе. А кто не мог суесться, мог сбросить себя в осадок,

спустить в унитаз — пришло время, которое мы так долго ждали, и когда никто никому стал не нужен, все даже перестали врать, что нужны друг другу...»

А мы идем с Вовой и радуемся весне. И какая-то девочка с мальчиком очень красиво поют по радио:

...Ты мне веришь или нет?.. Веришь мне или нет?..

Мы с ним очень неплохо смотримся: он в своем длинном белом плаще и черной шляпе — будто бы супермен и хозяин жизни; и я, будто его охранник, так, пацановато одетый, хотя тоже почти «хай кво»: джинсы, кроссовки, турецкая куртка из кожи.

«...Я был из тех, кто не мог суетиться.

Я умел заниматься своим каратэ. Поднять что-нибудь потяжелее. Крутить баранку и ждать — вот прилетит птица счастья, и уж тогда я схвачу ее за самую жопу. И вот она прилетела...»

Мой товарищ обнял меня и сказал:

— Я хочу, Дрын, чтобы ты жил красиво...

Оказывается, у него уже был свой «БМВ», не самой последней модели, но все же не какая-нибудь гнилушка. Он крутил руль, отводя ее от тротуара, и говорил:

— ...и ты будешь, Дрын, жить красиво, у тебя будут бабки, вино, женщины.

Меня сфотографировали на паспорт в быстром, специализированном ателье у Мауки. Вова хорошо расплатился с ним.

Мы сдали фотографии в турагентство на заграничный паспорт, нежные девочки принимали их своими белыми ручками и быстро-быстро все исполняли. И смеялись над Вовиним юмором. Он щедро заплатил им. Да еще дал каждой по «Марсу», чтобы не уставали. И дал «Марс» мне и раскрутил один для себя.

А какая-то девочка с мальчиком очень красиво пели:

...Я тебе конечно верю.

Даже в этом нет сомнения...

И я подумал, это пела моя душа.

— Какой ты стал весельчак,— сказал я ему, когда мы опять ехали в его «БМВ».

— Я ничуть не веселый. Я занимаюсь бизнесом, все должны видеть, что у тебя все о'кей и с тобой можно иметь дело. Что ты уверен и тверд, и если, не дай Бог, что случится, через все трудности перешагнешь сам.

Он подвез меня до какого-то места с красивейшими домами и спросил:

— Как ты насчет этого — чересчур запузываете?

Я пожал плечами и ответил:

— Зачем?

— Знаешь, бывают ребята, которым ничего доверить нельзя.— Он взял свой сказочный дипломат из настоящей кожи и вытащил из какого-то отделения несколько пачек денег и протянул мне: — Чтобы не скучно было.

— Я не возьму,— сказал я почему-то.

— Когда ты вернешься, тебе дадут 500 марок, отдашь, если захочешь.

Да, давно мы не виделись, почти год, и стали почти стариками — и ему уже почти 22, и мне почти столько же. Он посмотрел мне в глаза и спросил, щелкнув себя по хорошо выбритой шее:

— Турки тебя из-за этого выперли?

Да, был такой случай в моей биографии. И турки меня выперли со строительства неизвестно за что.

Я тогда вернулся с ездки на своем темном синем КамАЗе, передал его сменщику, как положено. Переоделся у своего шкафчика со своим замком, вышел на вечернюю поверку, как мы ее тогда называли, там турок выкрикивал фамилии, кого они в этот день увольняли. Вдруг слышу кричит:

— Головин!

У меня даже лоб вспотел, потому что нам хорошо платили. Я прижал его после в углу, спрашиваю:

— За что?

— В ваших услугах больше мы не нуждаемся. Спасибо,— и еще, жопа, протягивает свою ладонь для дружеского рукопожатия.

Наверное, из-за этого еще, что вспомнил и на душе у меня побелело, я пошел в «Арлекино». Дай, думаю, загляну, никогда там не был, может, с хорошей девушкой познакомлюсь.

Она сразу понравилась мне. Знаете, бывают такие глаза — большие и немножко сбоку, будто у стрекозы. Она смотрела ими на меня чуть-чуть исподлобья.

Мы плясали с ней, пили ликеры. Я нарочно вытаскивал пачку за тысячными бумагами, чтобы она видела, какой я крутой, и не брал у бармена сдачу. Мы курили «Салем» и целовались. Здесь все целовались. Ну, я был уже сильно бухой и не оглядывался по сторонам. Она стала гладить меня по рубашке и полезла пальчиками за пуговицы.

— У-у, какой ты здоровый,— сказала она, по-моему, это единственное, что она сказала за весь вечер.

— Я — каратист, — сказал я. — Чемпион мира. — И был дурак.

Я показал два своих коронных приема и так сильно двинул ногой по стойке, что пробил ее. Все вокруг завизжали и стали мне аплодировать. Девчонки полезли ко мне обниматься, повалили на пол. Сладкий вкус славы, он идет к нам через их губы.

Один толковый мужик когда-то сказал: никогда я еще не жалел, что промолчал, однако сколько неприятностей у меня было из-за того, что я сказал лишнее. Но кто слушает таких мужиков?

Так и я. Если бы не хвалились, что каратист, все было бы легче. А тут, когда мы дотащились до ее подъезда, а может, и не до ее, один из трех охломонов, что тут поджидали, сразу пшикнул мне в лицо из баллончика, а кто-то сзади изо всех сил ударил дубинкой по голове.

Они обобрали и раздели меня до трусов. Приятно, думаю, были удивлены, что у такого крутого мэна не нашлось баксов. Заграничный паспорт они засунули мне под резинку.

— Учти, Колян, — сказал папа, вынимая из гардероба свои лучшие вещи, — ...это я берегу с тех пор, когда был такой же дурак, как ты... это моя память, — на его глазах появились слезы.

— Спасибо, папа, — мы обнялись.

— Если и это пропьешь, сукин ты сын, будешь ходить голый, больше у меня ничего не осталось.

— Нет, — сказал я. — Не буду! — Мы опять обнялись.

Особенно меня поразили ботинки, они были с дырочками для шнурков и еще с какими-то крючками, за которые они потом цеплялись.

Так что я отправился за рубеж несколько чуть-чуть старомодный, в папином костюме из синего бостона, в галстуже и рубашке.

И вот я в поезде на Белорусском вокзале. Все барахольщики, все с товаром. Один я налегке. У всех бизнес, а у меня спецзадание.

Все в сраной польско-турецкой фирме, а я сам по себе, в ботинках со связанными шнурками.

Я выскочил и опохмелился пивом. Стало мне хорошо.

И вот, как писал один мой старый товарищ в письме на свою малую родину, необъятные

просторы России кружатся за моим окном.

И вот Брест, таможня, дикие, сумасшедшие толпы малого бизнеса. Огромная площадка с не прошедшими компьютер автомобилями.

И вот свершилась моя самая крутая мечта, которую я лелеял в самые чистые минуты жизни, когда сидел на толчке в Заполярье и мою задницу грыз мерзкий гнус или овевала пурга, — я за границей.

Я сижу на высокой горе, в чистеньком, как с открытки, кафе, перед мною две кружки с немецким пивом. На меня поглядывает из-за стойки хорошенькая дочка хозяина заведения. Она даже подходит ко мне и что-то говорит по-немецки. Я вижу перед своим лицом ее настоящий немецкий зад. Я поднимаю на нее глаза, вижу в ее глазах синеву нашего общего неба, глотаю пиво и говорю единственное немецкое слово, которое знаю:

— Яволь.

— Яволь? — с ужасом повторяет она и убегает.

Я вижу перед собой их чистенький немецкий город, их острые черепичные крыши, дома, утопающие в садах. Я страшно переживаю, как можно было все это построить, чтобы не осталось мусора.

— Господи, — говорю я вслух, — отчего я не родился здесь? Я ведь тоже умею работать и люблю жить.

Однако судьба мне сулила другое. Эти крутые ребята меня здорово уважали. Они приехали за мной втроем на роскошной «ауди-100» 1984 г., но в замечательном состоянии, цвета «снежная королева».

Я сразу узнал, что это свои, едва они подкатили. Все трое будто шкафы, все трое в куртках из роскошной кожи.

Они тоже сразу увидели во мне своего. Один, симпатичный и молодой, подошел к дочке хозяина заведения и стал с ней шутить — о, женщины, как она хохотала с ним! — а сам стриг глазами по сторонам, значит стоял на стреме. Это место они подобрали с умом: два подхода, оба просматриваются издали. Я почувствовал себя напряженно.

Двое других, чуть постарше, лет 26-ти, сели ко мне за стол, отгородив от меня своими сытыми рьями чистенький немецкий город. Нагло уставились в мои глаза и долго молчали. Я им сказал:

— Знаете, мужики, у зверей есть хорошее правило: когда к ним подходит какой-то зверь и вот так смотрит в глаза, они считают это за оскорбление или вызов на бой — а звери не мудаки, — я взял кружку и отпил пиво.

— Конечно... Мудак тот, кто говорит пер-

вым. Первым надо стрелять, говорить надо последним.— Его желтые глаза не улыбались.— Хер с тобой, давай паспорт.

Он сразу же презирал меня. Он смотрел на мою нищенскую одежду и презирал меня.

Я протянул паспорт и сказал:

— Спасибо, что научил.— Я сказал это очень спокойно, без вызова. Но его желтые глаза остекленели. Он посмотрел ими в мои глаза. Потом он плюнул в мою кружку с пивом и опять посмотрел мне в глаза.

Как же мне захотелось врезать ему. Взять кружку и... Я пригладил волосы и отвернулся. Он что-то сказал своим на родном языке. Они засмеялись. Он стукнул меня по плечу:

— Молодец... я такой же ежик, как ты, будешь моим лучшим другом. Поехали.

— За пиво не плачено, я пустой,— голос у меня почему-то сел, я поперхнулся.

Он бросил на стол 10 марок. Я пошел за ним. Они запели на своем языке. Я подумал, вот они — хозяева жизни. У нас они были хозяева, теперь прикатили сюда, в Германию, и тут тоже стали хозяевами. Я посмотрел на прощание на девушку-немку, дочку хозяйина этого заведения, не видеть мне больше твоих синеньких глазок. Она улыбнулась мне и помахала пальчиками. Господи, почему я не родился в Германии?

Мы мчались вниз в их роскошной «ауди». Желтоглазый сидел рядом с водилой. Он поглядывал на меня в зеркало заднего вида и молчал.

Я сидел, зажатым качками с обеих сторон. Молодой, не отрываясь, изумленно смотрел на папины ботинки на моих ногах. Другой ковырял спичкой в ушах.

Я смотрел в окошки и переживал — недолго же я побыл в тебе, Германия.

Они подготовили для меня такую машину, какие вы каждый день видите в рекламе о красивой жизни. Для них она уже наступила. Симпатичный темный китенок «мерседес-600». Какой-то парень брызгал его из «спрея», превращая роскошный новенький кузов в старую замызганную галошу. Понятно, такая, значит, у него работа.

Я гонял этот автомобиль по двору заброшенной фермы, кажется, по-немецки это называется «фольварк». Наверное, это была у них «хаза» или «маза» — как там они говорят, — одним словом, место выбрано тоже с умом: и в тишке, и все далеко просматривалось.

— Право... лево давай... «восьмерку»,— говорил их механик.— Давай задний ход... проедь между теми двумя...

Я делал все лучшим образом. Машина была

класс, слушалась, как родная. Кожаное сиденье обнимало меня, разные кнопки и разные огоньки светились со всех сторон.

— Эти все для чего? — спросил я про них.

— Слушай, это хуня-муня,— сказал механик с большим презрением.— Это для немцев, чтобы голова болела и лучший друг (член) не стоял... Давай прямо... У тебя как насчет этого?

— Когда как.

— А я доволен, но электронику не люблю...

Потом со мной занимался их химик, а может быть, фармацевт.

— Спать очень хочешь? — он участливо заглядывал мне в глаза.

— Нет.

— На, проглоти.

— Да я всю дорогу в вагоне спал.

— На.

Я проглотил и посмотрел вниз, он трогал руками мои штаны.

— Это настоящий бостон, да?

— Конечно.— Я посмотрел на его штаны, на нем были роскошные джинсы, черные, наверное за 200 долларов.— Мы в семье носим только бостон.

— Э-э... Захочешь спать, вот это будешь класть под язык,— протянул мне красивую коробочку.— Через один час. И смотри ничего не пей.

— Конечно,— сказал я.

Он подозрительно посмотрел на меня и, кажется, не поверил.

Подъехал тот, желтоглазый, на «опеле».

— Кушать очень хочешь? — спросил меня желтоглазый, вылезая из «опеля».

— Совсем не хочу.

— Ну, молодец.— Он что-то сказал своему драйверу на родном языке.

Драйвер понес в мой «мерседес» большую термос и корзинку, накрытую красивой салфеткой. Желтоглазый приподнял ее, я увидел — корзинка была полна бутербродов и двумя большими бутылками с питьевой водой.

— Будешь кушать дорогой.

— Спасибо.

— Держи,— желтоглазый протянул мне пистолет.

— Это я не возьму,— сказал я.

— Если ты такой смелый, иди на... но пешком и до самой Москвы,— лениво сказал желтоглазый.

Я взял пистолет, посмотрел в ствол и увидел перегордку. Это облегчило меня.

— Это газовый,— сказал я с большим облегчением.

— Конечно... Ты думал, я тебе атомную бомбу, да?

Они все стали смеяться.



— Дай ты мне, а? — сказал кто-то из них. Тут они прямо закатились от радости.

— Вот так он газовый,— он взял у меня пистолет и сунул под нос,— а так,— вставил в ствол нечто похожее на маленький фаустпатрон, поднял руку в сторону ограды и нажал на скобу.

До ограды было метров 50-70, ракета летела крутясь и вихляясь, с огнями и брызгами. Она попала в столбик и прожгла его.

— ...БМП прожжет. На, попади.— Он вставил вторую ракету и протянул пистолет мне.— По Фатерляндю поедешь спокойно. А в Польше ваша чечня оседлала дороги. Будут останавливать, бей в лобешник, их мама много жует.

— Ты разве сам не чеченец? — спросил я его.

Он засмеялся и сказал что-то своим на своем языке. Они тоже стали смеяться.

Я выстрелил и не попал. Зато видел: ракета пролетела метров двести.

— Кого присылают,— он тяжело вздохнул.— Ладно, держи документы — на машину и на тебя... Твой паспорт. Транзитный номер.

А на «китенке» уже был какой-то номер. И я спросил, чтобы что-то понять на всякий случай:

— Один вопрос. Машина новая, почему сразу его не поставили?

— Ты свой нос далеко не суй, чем дальше в жопу, тем больше говна — ты это еще не понял? — лениво спросил он.— Хаз, объясни маршрут господину... И давай быстро, через час ехать надо.

Их штурман объяснял маршрут, вода лезвием ножа-выкидухи по очень красивой и очень подробной немецкой карте:

— Штутгарт, Нюрнберг, Дрезден, Лабау — это Германия, это поедешь ночью, в город не заезжай, объедешь по автобану.

— Почему? — спросил я.

— Они русских не любят,— сказал он, глядя в мои глаза.— Вы им не даете места, где жить. Вам все мало.

— А вас они любят,— сказал я, наверное, с вызовом.

— Хороших мужчин все любят,— сказал он.— Вы, русские, всем все не даете.— Он сказал так, будто я лично ограбил его. Или сто лет ненавидел меня.

— А что я не дал тебе? — Я спросил с вызовом.

Он напряжился, как пантера перед прыжком. Но мне уже надоели эти политбеседы, и я сказал:

— Я знаю чего... Я не дал тебе по мозгам.

Он взвизгнул и кинулся на меня с ножом. Я включил свои рычаги и за 40 секунд, пока нас

не растащили, хорошо отбарабанил его по ребрам. Они кричали, как на базаре, некоторые вытащили стволы.

С радиотелефоном в руках подошел желтоглазый и что-то сказал им на своем языке. Они сразу угомонились. Потом сказал мне:

— В Бресте должен быть ровно в час дня.— Я посмотрел на часы.— Вот три куска,— он протянул российские деньги,— отстегнешь таможеннику.

— Какому?

— Любому. Вашему... За три куска маму продаст.

Мне что-то стало обидно.

— А ваш не продаст?

— Ты попробуй,— сказал он.

Они опять засмеялись.

Вдруг все застыли — в «фольварк» вкатил «крайслер» с затемненными стеклами. Желтоглазый поспешил к нему. Из «крайслера» вышел парень в длинном черном пальто. Они обнялись и поцеловались по своему обычаю. Причем даже мне было видно, что парень здесь самый главный. А он был совсем молодой, наверное, моложе меня. Желтоглазый что-то сказал ему. Тут же с той стороны «крайслера» выскочил охранник и взял меня на прицел. Парень, прищурившись, посмотрел на меня. У него было очень белое и очень красивое лицо, длинные черные волосы.

Я подумал, всё, сейчас будут стрелять. Вот она, красивая жизнь — женщины, вино, деньги... Я посмотрел на «своих», у всех были стволы наготове. У водителя «ауди» на коленях лежал «Калашников». А у меня ничего, кроме газовой пукалки под ремнем за спиной.

Но главные о чем-то спокойно поговорили. Парень сел в «крайслер» и укатил, номер — с номером происходили какие-то чудеса, пока он ехал, сменились четыре штуки, как на электронном табло.

Желтоглазый подошел и сказал:

— Поедешь сейчас.

Он сказал что-то своим. Потом сказал мне: — Тебя будут сопровождать, тебе больше не нужна пушка.

Я отдал.

Он протянул мне 5 тысяч в наших российских деньгах.

— На, дашь поляку. В Бресте тебя будут ждать с бензином. Или не в Бресте. Я вижу, ты понял, с нашими не надо шутить.

— Кое-что понял,— сказал я.

— Слушай, мы не засранцы, не надо так говорить, с нами русские тоже хорошо работают. Думаю, ты к нам привыкнешь. И мы тебя тоже полюбим, как брата.

— А аванс? — спросил я.— В смысле — будет?

Он сказал что-то своим. Потом сказал мне:

— Все свое ты получишь в Бресте. Я думаю,

тебе не надо говорить, что всегда лучше молчать, чем обо всем все рассказывать. Ты понял?

— Я понял.

— Тогда давай, парень, садись и не отрывай жопу, пока не приедешь в Брест.

И вот я уже в своем «китенке», сиденье ласково обнимает меня. На дисплее маршрут, очень подробный, дурак разберется. Смеркается. Я выкатываю из «фольварка». «Ауди» пристраивается за мной.

Я подкатил к автобану. В «ауди» на минуту зажегся свет, я увидел — рядом с водилой сидит тут штурман, с которым мы подрались.

Я выкатил на автобан, дал 100 км, 150 — они держались, как привязанные, 200 — они начали отставать.

..Я посмотрел на часы — времени целый вагон. Посмотрел на дисплей — до Бреста всего 1607 км и 008 м... И тут мне пришла в голову хорошая мысль. Я подумал, когда я еще буду в Германии? Может быть, никогда. Когда еще мне повезет? Тоже ведь неизвестно. Да пощи вы... в родное Цхинвали с вашими планами, у меня есть свои...

Я прибавил еще. 260. Они будто встали. Я летел по автобану с этой сказочной скоростью, обходя все, что двигалось в моем направлении. Я перемахнул горку. Развилка — город, объезд. Я направил авто в город.

Немцы рано ложатся спать, на улицах никакого веселья не наблюдалось, но дома светились, реклама играла, и я нашел, что искал.

«Найт клуб», это даже я понял, а дальше то ли «Саме», то ли «Сима». Я сидел в «мерсе» за затемненными стеклами и размышлял. Вначале я надумал оставить в машине все документы. Я их оставил, положил на всякий случай под коврик.

Потом продал запасное колесо на автозаправке. Я уже тут понял, что мне лучше всего прикидываться глухонемым. Прикидываясь глухонемым, я выбил из мужика 75 марок. Он сделал хороший бизнес. Когда я отъезжал, он уже поставил это новенькое колесо на витрину и ладил к нему табличку «300».

Потом я надумал не ставить «мерс» у этого клуба. Я отъехал за квартал, за поворот, потом еще за один и там оставил. Я запер дверцы и проверил, хорошо ли их запер. Я запер их хорошо. Я перешел улицу и пошел к «Найту» по другой стороне.

Вначале все было прекрасно. Правда, мужик у входа что-то мне говорил, я его вежливо отодвинул.

Внутри был ресторан без жратвы, тихая дискотека, и одни мужики — все в костюмах,

за столиками и за стойкой. Но были и девочки, мужики их подманивали, они подходили. Но я сильно разочаровался — все какие-то ненастоящие немки, я таких у себя дома тучами видел.

Я загрустил и даже немножко выпил какого-то поила за 8 марок. Программа была интересной: какой-то амбал бросал ножи в голую тетку. Тетка ловко уворачивалась.

Я посмотрел на часы, ладно, думаю, можно поехать не торопясь, и тут вышла она, единственная и неповторимая. Я таких даже в журналах не видел, она была такая длинная и такая стройная, что когда переступала с ноги на ногу, казалось, переливалась из одной формы в другую. Одним словом, настоящая немка.

Я тут же вскочил и начал махать рукой. Я был самый первый. Она кивнула мне одними глазами. Прошла к диск-жокею, что-то шепнула, диск-жокей поменял музыку. Она прошла на некое подобие подиума и задвигалась в такт ей. Да, это была настоящая немка. Остальные, которые выходили за нею, тоже были, конечно же, ничего, и высоки, и стройны, и ухожены, но я решил — брать так уж брать. Я каждую минуту махал рукой, чтобы все видели — я самый первый.

Однако потом в их канцелярии произошла некоторая заминка. Из-за того, что я прикидывался глухонемым, и еще, наверное, из-за папиной экипировки меня приняли за дебила, и старая кляча что-то долго мне говорила.

Но я показал себя, я трахнул на стол все, что получил за колесо. Однако старая бестолочь что-то все объясняла, показывая один палец, а другим дежая его пополам. Что же, думаю, у них за порядки: вполсилы надо все делать или прибор показать? Ладно, думаю, будь что будет, надавил указательным пальцем себе на горло, выдал из себя будто глухонемой:

— Яволь,— и стал расстегивать ширинку, путаясь в папиных пуговицах.

— Найн! Найн! — закричала старуха и, отчаявшись что-нибудь объяснить, отсчитала 60 марок, семь пихнула назад и, тряся 60-ю остальными, наконец-то сказала слово, которое я, кажется, понял — «аванс» или, как там по-немецки — «абрамс»? Дала команду амбалу. Амбал пошел меня провожать. Мое бедное сердце бухало на всю Германию.

Она глянула мне в глаза и выбросила на выбор несколько упаковок с презервативами.

— Ой,— сказала она чисто по-русски и с чисто русским презрением, правда, вежливо улыбаясь,— такого у меня еще не было — глухонемой... Ты, чурка с глазами, если ты

глухонемой, сиди дома... Или женись, дрыхни со своей дурой... Ну, иди сюда, что ли... Раздевайся, псина.

Конечно, я из России и привык ко всякому обращению. И деньги — аванс уже уплачен. Конечно, она не немка, и я вроде обманут, и надо бы дать подшевле. Но ведь хороша...

— Ну, ты, что там встал, паралич схватил? — спросила она, вежливо улыбаясь. — Ложись, тварь.

Но с другой стороны, чтобы тебе так хамили, да еще по-русски. Да я еще колесо продал, а за него отвечать.

— Пиши,— говорю,— на обороте квитанции, что ничего не было.

— Да ты русский...— сказала она.— Козел! Чего ты приперся? Своих тебе не хватает?

— Я говорю, не хочу с тобой дискутировать. Пиши: «Ничего не было». На,— говорю,— пиши!

Однако, господа, выясняется, денег в борделе не возвращают.

— А вот это — шиш! — радостно сказала она и показала русскую фигу.

— Как это «шиш»? — спросил я.

— А вот так,— сказала она.— Было — не было. Деньги в борделе не возвращают.

Конечно, после всех этих дискуссий мне уже не хотелось. Но я стал раздеваться.

— Ничего не будет,— говорит она.— Вот так. Ты мне хамишь.

— Да ты что? — говорю.— Ты принцесса? Или ты — блядь? Я уже 60 марок истратил. Да я за эти деньги всех понесу.

Тогда она ударила меня приспособлением, похожим на газосварку, и стала кричать. Подвалили два крутых мужика. Они с ходу прыгнули мне в глаза из баллончика и стали шаркать «демократизатором» с электрошоком. Они отлупили меня, как дешевку, и выкинули из борделя. А эта баба смеялась и нехорошо кричала вдогонку.

«...Они, конечно, не знали, что подобное со мной не проходит, будь это хоть самое дальнее зарубежье. Да еще эта химия — мать ее так — в Москве брызжут, приедешь в Гамбургер, та же картина. Да еще тот гад плюхнул мне в пиво...»

Я поднялся, папин пиджак остался у них наверху, я был в рубашке, но мне было не холодно. Я купил минералку на автозаправке и промыл глаза. Теперь я хоть что-то видел. Я купил шланг на последние деньги. Это был хороший, довольно толстенький шланг, правда, стены у него были тонкие.

Я набил шланг песком на детской площадке. Кроме меня в песочнице сидели на корточках четыре собаки и дико тужились. А хозяйка потом закапывала за ними лопаточка-

ми дерьмо. Конечно, это не мое дело, но я не выдержал и сказал:

— Здесь чилдрен будут играть — эх, Германия...

Я пришел в бордель с этим шлангом и заплатил всем сполна. Старуха кинулась наутек. Амбалов я сразу же завалил, вместе с их долбанными баллончиками. Я мог взять в кассе все, что у них имелось, но я взял только свои 60 марок, да еще взял то, что истратил на минералку.

Я им долго платил, потому что амбалы время от времени поднимались и набрасывались на меня. Потому что высовывались то одни, то другие люди — и все с той же целью. Я хотел найти эту красавицу, которая все начала, и с нею тоже что-нибудь сделать. Но в какие бы двери я ни совался, ее нигде не было.

Я платил им до тех пор, пока не услышал, как внизу воют сирены. Я сбросил с лестницы какого-то азиатского моряка, который хотел меня задержать, и ушел по крышам, через чердак.

Внизу выли машины, крутили своими проблесковыми маячками, бегали полицейские, разговаривали по радиотелефонам. Я полюбовался ими, выглядывая из-за трубы, и ушел по крышам.

Я спустился с крыши по пожарной лестнице, отряхнул штаны и рубашку. Сориентировался, в основном по сиренам, и точно вышел к своему «мерседесу».

Однако с немецкой полицией, оказывается, шутки плохи. Едва я тронулся с места, посмотрев на часы и сказав себе «ничего, успею», со всех сторон налетели полицейские автомобили, зажали меня. Пovyпрыгивали полицейские, наставили на меня коротенькие автоматы. Долбанули «мерс» по колесам...

В полицейском участке со мной пробовали поговорить. Но я стал мычать, тыкать себя в язык и ухо указательным пальцем.

Тут пришел один из тех, что взяли меня, положил на стол все мои документы. Они что-то стали говорить между собой, я понял только два слова — «русиш» и «швайн». Спорить с этим не приходилось.

Меня ответили в то, что у них есть, наверное, КПЗ. Там были три мужика. Я молча поклонился и сел. Какой-то огромный черный хипарь, наверное, турок, стал что-то мне говорить. Я, конечно, молчал. Тогда он подошел ближе и растопыренной пятерней двинул меня в лицо.

Я встал, отошел на полтора метра, посмотрел, смогу ли тут развернуться. Тесновато,

конечно, но я развернулся и с разворота втырил ногой точенько в подбородок.

Я, конечно, не антитурцист, но если тебя бьет турок или еще кто, ты тоже поневоле бьешь их. И я втырил ему несколько раз по его жирному брюху.

Он кинулся к двери, стал барабанить, кричать. Вошел надзиратель, он стал жаловаться ему, показывая на меня...

Потянулись тюремные будни.

Меня привели к следователю. У него сидела молодая красивая баба с такими ногами, что я сразу ощутил сильное неудобство. Тоже настоящая немка.

— Здравствуйте, вы говорите по-русски, не так ли? — почти без акцента спросила она.

Я, конечно, молчал.

— Скажите, пожалуйста, вы дезертировали из группы войск или вы приехали из Москвы? Я должна огорчить вас, ваши документы немножко подделаны. Машина украдена.

Я молчал, но, наверное, изменился в лице.

— Я вижу, вы меня понимаете,— сказала она с сочувствием.

Мужик что-то сказал ей. Она ответила. Он опять что-то сказал.

— Господин следователь говорит, ему показалось, что для вас это является неожиданностью, что вызывает у него некоторый интерес.— Как же она хорошо выговаривала слова, и какие же прекрасные были у нее губы.— Вы что-то хотите сказать?

Я, конечно, молчал.

Мужик опять что-то сказал ей.

— Господин следователь предлагает вам хорошо подумать над этими новыми обстоятельствами и сделать самостоятельное заявление.

Меня отвезли в тюрьму (меня уже перевели туда из участка).

Я гулял по двору и хорошо думал над этими новыми обстоятельствами.

Значит, я ее своровал? Наверное, это у них — «в особо крупных размерах», потому что машина самая дорогая. Значит, большой срок, значит, надо бежать. Я посмотрел на высокие гладкие стены, на сетку над головой — как?

Какие-то люди все пытались поговорить со мной, прогуливаясь рядом или ходя мимо. Но я, конечно, молчал. Надо сказать, что здесь было много каких-то других, не немцев,— то ли турок, то ли арабов, может быть, югославов. Эти, правда, не разговаривали. Кучковались между собой, что-то курили, смеялись толкались. В одной группе я увидел, как они

показывали друг другу вздрюченные приборы, наверное, соревновались, у кого больше.

И тут я увидел, у стены стоял, смотрел на меня и очень понятно для меня улыбался тот громадный тип, которому я вломил в КПЗ. Около него вились молодые и слушали, что он им говорил, показывая на меня.

Эти волки толпой поспешили ко мне. Что-то прокричали на гортанном языке остальным. Меня окружили, вроде бы как играя друг с другом... и, вроде бы как играя со мной, стали меня лупить.

Я отбивался, конечно, как мог, и многим, наверное, навсегда отбил охоту обижать глухонемых. Но, как говорят, стая шакалов и льва сжирает.

Когда надзиратели пробились ко мне с дубинками, я стоял на четвереньках и кашлял кровью.

Надзиратели провожали меня в ихний медпункт, я увидел, что один очень важный авторитет как-то странно смотрит на меня и что-то говорит обо мне другому авторитету с четками. Я подумал, всё... Гибралтар...

Эта шлюха притащилась ко мне с визитом и передачей. Я подходил к ней с надзирателем и удивлялся, до чего хорошо. Вы знаете, у профессионалок все-таки появляется свое выражение на лице — волчье что ли. Нет, может, не волчье, но чересчур жесткое и деловое. А у этой было очень спокойное и очень милое выражение на лице. Глаза были даже заплаканы. И ни одного грамма краски. Ощущение свежести, отмытости, хорошего немецкого мыла.

И надзиратели смотрели на нее с уважением.

— Господи, тебя здесь бьют,— испуганно сказала она про мои синяки и гематомы.— Ты страдаешь из-за меня?..— тут в ее голосе почему-то появилась радость.

Я подумал, вот падла. Она еще что-то там бормотала. Я, конечно, молчал и думал, что же за блядская жизнь на дворе, если бабы с такими лицами становятся не артистками, не врачами, не учителями, а шлюхами.

Она переключившись в корзину для передач все, что мне принесла, а принесла до шиша — и соки, и фрукты, и всякие колбасы-окорока, и все в аккуратненьких упаковочках. Она говорила:

— Прости. Из-за меня все случилось. Я буду не я, если не выгатачу тебя из этой конюшни. Зови меня просто — Наташа.

Я, конечно, на все ее эти реплики не отвечал.

У нее на глазах показались слезы:

— Ну что ты молчишь... ну нельзя быть таким злым...

Я уловил момент, когда надзиратель не смотрел мне в лицо, и сказал, не меняя выражения на своем лице и почти не размыкая губ:

— Зачем ты сказала, что я русский и говорю по-русски?

— Ты думаешь, они совсем без мозгов? Ты можешь думать о немцах все что угодно. Но то, что немцы не дураки — ты должен знать наперед...

Я это и без нее понимал. Я смотрел, как у них все тут организовано:

...и здесь, в помещении для свиданий...

...и в коридоре, по которому меня вели,

...и во дворе,

...и в столовой.

И куда ни помотришь, надзирателей вроде и не очень много, но везде в уголочках скромненько висят телекамеры — все просматривается.

А эти ребята не хотели от меня отставать. Я сажился в столовой с тарелочкой противного протертого зеленого супа — то ли суп, то ли подлива, одним словом, не наш борщ — кто-то выдернул из-под меня сиденье. Я упал и облился этой подливой. Надо мной смеялись. Я встал и посмотрел на всех, кто был сзади меня. Я сразу узнал, кто сделал это — наглый, молодой засранец.

Я взял супницу — литра три там еще осталось — и так надел ему на башку, что он до смерти будет помнить, чем его здесь кормили.

Его трое дружков кинулись на меня, я опрокинул на них стол, а четвертого сзади шарахнул по башке чумичкой, пятого отлупил кулаками.

Тут же подскочил надзиратель, дал мне дубинкой, заломил руки, надел наручники.

Ихний начальник режима на меня, конечно, крепко орал. Размахивая обеими кулаками.

Но я скромно молчал. И бить меня он, конечно, не бил.

Меня отвели в карцер. Очень симпатичное, чистенькое помещение, со своим сортиром. Правда, без телевизора.

На ужин дали пожрать только воды и хлеба. Ладно, думаю, хоть отосплюсь. Тепло. Тихо. Уснул.

Сплю. Чувствую, вроде кто-то надо мной завис. Знаете, бывает во сне, будто что-то наваливается на вас. Или будто кто-то нехороший смотрит. Вот эту тяжесть я вдруг ощутил. Дернулся. Махнул руками. Меня ошгло по лицу — по щеке у самого глаза, вниз.

Вскочил. Он хотел с маху чиркануть меня поперек горла. Это был тот длинный наглый тип, которого я накормил супом. Он был лев-

ша. Я выкинул под бритву подушку. Ногами ударил в живот. И долго молотил кулаками по корпусу.

Прибежали и кинулись на меня надзиратели. Но оттащить не могли. Я молотил этого. Я ничего не видел перед собой. Думал, что у меня вытек глаз, и хотел убить его.

Тогда они применили электрошок. Я рухнул, подергался на полу и затих.

В ихнем лазарете, где я уже стал постоянным клиентом, ихняя медсестра наложила мне швы. Я был сильно побит. У меня появился огромный и страшный шрам. Но я был счастлив, мой глаз не вытек. Бровь она мне выбрила наполовину и там тоже наложила шов. Так что я стал совсем красивый.

Она, видно, жалела меня. Руки у нее были добрые. И говорила, кажется, хорошие, добрые слова — добрым голосом. Хорошая тетка. Я взял и поцеловал ее руку. Она почему-то всхлипнула. Но тут же сделала вид, что не всхлипнула, что ей просто смешно.

Меня опять привели к следователю. Опять я увидел эту переводчицу с ногами до самых ушей. Была еще какая-то женщина со строгим и жестким лицом. Красавица-переводчица сказала мне:

— Господин следователь никогда не скажет об этом, это не его компетенция, однако в наших тюрьмах всегда очень хороший порядок. Кому не нравится этот порядок, кто плохо ведет себя, у нас есть особые тюрьмы — но там есть другой порядок. Я это говорю, потому что вы симпатичны мне.

Я посмотрел на ее кругленькие коленки и подумал, ты тоже симпатична мне. Посмотрел в ее глаза и увидел, что она все понимает и что я симпатичен ей не как ровня и никогда не стану таким.

Герр следователь что-то стал говорить. Красавица переводила:

— Между тем в вашем деле обнаружили новые обстоятельства: машина, конечно, была украдена и уже обнаружен ее владелец. В баллонах автомобиля, дверях и панелях обнаружено большое количество сильно действующего наркотика. Личность владельца автомобиля исключает его принадлежность к наркобизнесу. Если вы хорошо подумали над обстоятельствами, вы можете сейчас сделать самостоятельное заявление, что значительно облегчит вашу судьбу.

Я молчал как молчал. Хотя мне стало очень невесело.

Герр следователь что-то сказал женщине со строгим лицом. Она энергично зашевелила ртом и заработала пальцами, одним словом, у

меня появился еще один переводчик с обыкновенного на глухонемой.

Я молчал как молчал.

Герр следователь встал из-за стола, подошел и сел напротив меня. Вблизи он не был таким молодым мужиком, как казался. Он опять говорил. Красавица переводила.

— Я вижу, вы только сейчас узнали об этом...

Он начал показывать мне фотографии наркоманов, — действительно, страшные фотографии человеческого несчастья.

— Героин делает человека зависимым от себя. Разрушает его физическое здоровье, психику. Миллионы загубленных судеб. Нереализованных возможностей... Подумайте, стоит ли скрывать негодяев?..

Я уронил фотографии, наклонился за ними и почти столкнулся лицом с господином следователем и переводчицей. Странно было видеть их лица в бытовой обстановке, так близко к себе. Я видел, что им тоже такая близость показалась странной. На какое-то мгновение мы даже застыли. Дорогие мои, неужели не видно, что я не стукач, я не могу им быть по натуре. Наверное, в моих глазах появилась какая-то просьба, или растерянность, или испуг, или мольба. Но он неправильно оценил меня, он выпрямился и начал давить:

— Юноша, я вижу, вам здесь несладко. Но если вы сядете на двадцать лет, поверьте, там будет не сладко.

Тут я, наверное, действительно дрогнул, потому что двадцатки не ожидал.

— Потому что вы будете сидеть не у нас, а у себя, в России.

Он наслаждался эффектом, хотя я ничем не обнаружил, что что-нибудь понимаю, и продолжал. Я смотрел на нежные прекрасные губы его переводчицы, на ее нос, глаза, нежное лицо, шею и думал: через 20 лет я буду совсем старик, я никогда не имел и уже никогда не буду иметь ничего вот такого и ничего вообще нормального, человеческого. Красавица переводила:

— Я вижу, вы ничего не слышали. Я повторяю: если вы сообщите данные о тех людях, что посадили вас в этот автомобиль, герр следователь убежден, нам удастся убедить суд, что вы только курьер, не знающий о содержании пакета, который несли в своей сумке. Как он сам убежден в этом. В таком случае вам придется отвечать только за хулиганство в публичном доме и нанесенный ущерб в количестве сорока тысяч марок. Действительно, нельзя быть таким плейбоем, — это она, наверное, добавила от себя.

Я молчал и думал, что буду молчать. Я знал, где героин — там длинные руки. Там никакая Германия не защитит. Хотя, конечно, и раз-

вернувшаяся перспектива безрадостна и хрен ли в такой-то жизни. Но я не стукач, не доносчик, я никогда не хотел сотрудничать ни с какими органами, вот в чем еще проблема. Я всегда хотел быть сам по себе.

Герр следователь смотрел на меня, стараясь понять ход моих мыслей. Потом опять стал говорить. Красавица опять ради меня зашевелила своими сказочными губами:

— Я вижу, вам хочется еще немножко подумывать. Очень хорошо, мы, немцы, не суетливы. — Он взял со стола целлофановый пакет, в котором лежали лекарства, которые мне дали в дорогу, чтобы я не уснул за рулем. — Это ваши лекарства, на коробке отпечатки ваших пальцев. Их, видимо, дали вам эти люди. По внешнему виду и некоторым своим качествам это стимулятор, а на самом деле яд, который убил бы вас через 48 часов после употребления. Вот результат анализа.

Он протянул мне результаты, я их не взял. Я молчал как молчал. И делал вид, что ничего не понимаю, как делал раньше.

— Что касается пищевых продуктов, они тоже отравлены... Они не оставили вам ни одного шанса.

Герр следователь заглянул мне в глаза, засмеялся и что-то сказал, переводчица расхохоталась, даже женщина с суровым лицом улыбнулась. Одному мне было здесь не смешно.

Дали команду надзирателю. Переводчица что-то спросила у следователя. Он разрешил.

— Господин следователь сказал, — она опять начала хохотать, а следователь с достоинством улыбаться, — теперь он, кажется, понимает, почему в России всегда происходит что-то странное... потому что все русские делают вид, что они глухонемые.

Она вопросительно посмотрела в мои глаза, но мне это не показалось смешным.

Когда я был в туалете, какой-то парень тронул меня за плечо и сказал очень плохо по-русски:

— Пошли, русский, хозяин зовет...

Мне было все равно, и я пошел с ним.

У хозяина была отдельная камера с телевизором. Здесь телевизор был почти в каждой камере, этим не удивишь. С фруктами на богато накрытом столе. Едой здесь тоже не удивишь, правда, столы везде были голые, а фрукты давали попроще.

Это был солидный мэн. Он лежал на тахте и щипал виноград.

— Кушай, — сказал он по-русски.

Я взял кисть поменьше.

— Али это сиделал? — спросил он про мой



шрам и повторил на своем языке, чтобы парень понял.

— Али,— сказал парень.

— Пусть придет.— Это, наверное, был самый главный пахан.

Парень понял и побежал выполнять поручение.

— Кушай,— сказал пахан, показывая на виноград.

Я опять взял кисть поменьше. Пахан улыбнулся глазами-маслинами и дал мне огромный и спелый персик.

Привели Али, он еле стоял и время от времени кашлял. Наверное, я ему поломал ребра. Пахан бросил мне нож, я успел поймать только за лезвие и порезал два пальца. Это был хороший финарь, из отличной стали.

— Убей его,— показал пахан на Али.

Али с ужасом смотрел на меня.

— Нет,— сказал я.

— Почему? Он хотел убить тебя, сейчас ты можешь убить его — убей.

— Не мое дело решать чью-то судьбу,— сказал я.

— Ты знаешь, какой твое дело? — спросил он.

Я не знал.

— Идти своей дорогой,— сказал я.

— Ты знаешь, какой это дорога? — спросил пахан.

— Пока нет,— честно сказал я.

— Я знаю. Раздевайся.

Я подумал, что имеется в виду гомосексуализм, к которому, говорили, охочи восточные люди, и сказал:

— Нет.

Пахан опять улыбнулся своими маслинами и уточнил:

— По пояс,— и махнул ладошкой, чтобы Али увели.

Я скинул рубашку, снял майку. У меня есть, что показать, я неплохо накачан, к тому же не «бройлер», у меня настоящие рабочие мышцы — кто понимает, тот понимает. Этот «мэн», кажется, понимал.

(Дальше пойдет «бобслей» и голос Коли за кадром, его по-прежнему я обозначу в кавычках.)

С этого времени мое положение круто переменялось.

Меня поместили в отдельную камеру. Здесь был цветной телевизор «Филипс». Санузел за стеклянной перегородкой с туалетом и душем. Я смотрел и балдел — это тюрьма?

Шестерка пахана принес два спортивных костюма. Один — «адидас». Другой — «найка». Выложил кроссовки «ребок», какие на воле мне даже не снились. Выложил кеды.

Каждое утро шестерка будил меня, делал гоголь-моголь из шести больших и чистых немецких яиц. Открывал банку с черной икрой и заставлял, чтобы я ее тут же съедал.

Я надевал свой костюм, кроссовки. Шестерка провожал меня мимо дежуривших надзирателей во двор. Электронные часы показывали только 4 утра. Я начинал тренироваться, делая все упражнения, которые только помнил. Мне было нужно отягощение. Я вешал шестерку себе на загривок, бегал с ним, приседал, делал наклоны и отжимался.

В 6 утра был общий подъем, начиналась тюремная суета.

Я убежал к себе. Мылся под душем. Вешал сушить спортивный костюм, надевал другой — чистый и свежий. Шестерка забирал первый с собой, чтоб постирать. Завтрак мне приносили в камеру. Здесь был обычный тюремный завтрак, но еще большой кусок мяса, вареные овощи, фрукты, шестерка опять делал гоголь-моголь и открывал банку с икрой.

Потом после короткого отдыха меня забирал надзиратель.

Меня сажали в тюремный автомобиль и привозили в спортивный зал. Здесь были всякие приспособления. Я работал с ними.

У меня были не очень крепкие кулаки. Я много работал над кулаками. Когда был в камере и смотрел телевизор, я придельвал к стене подшивки толстых немецких журналов и бил в них.

Когда утром разминался в тюремном дворе, прижимал к груди кулаки и падал ими в песок и гравий — шестерки соорудили мне в уголке два таких ящика, с песком и гравием.

И так — много, очень много раз. О гравий я разбивал руки в кровь, слизывал раны для дезинфекции и опять падал и падал.

Пахан смотрел на меня с одобрением.

Надо мной была та же решетка. По бокам толстые бетонные стены, но я знал, я надеялся, я верил, их скоро не будет.

Я загорел и стал здоровый, как буйвол.

Те, кто раньше хотел как-то обидеть меня, шарахались при моем приближении.

Я все время думал. Что бы я ни делал, я думал. Особенно хорошо мне думалось, когда я бегал или стоял под душем и чистойшей, без всякой вони, немецкая вода омывала меня...

«...Я вам скажу, уголовный мир любит себя позабавить. Настоящий уголовник азартен. Какой он ни будь денди, какой у него ни торчи компьютер вместо

мозгов, ему надо, чтобы у него на глазах кого-то убили. Или хотя бы пустили хорошую кровь.

Одним словом, мне сделали предложение участвовать в рукопашном бое со смертельным исходом. Я слышал, что такие бывают в Москве, точнее, в Реутово... Я согласился. Их условия: 50 000 марок и удобная сидка — если победа.

Я не хотел этих денег. Я хотел свободы... Или конца...

А пока я тренировался, присматривался ко всему, копил силу. От их продуктов я стал здоровый, как слон...»

За это время герр следователь не очень донимал меня своими допросами. Меня приводили к нему поздоровевшего и немножко наглого. В глазах переводчицы я иногда ловил интерес.

Я так же молчал, когда он спрашивал, а переводчица переводила. И думал, что в коридорах я.

Но тут как-то поймал его пристальный, лзучающий взгляд. Он тут же отвел глаза. Я стал наблюдать за ним искоса. Больше он так не смотрел. Но ведь и переводчица, болтая свое «ля-ля», смотрела на меня как-то странно, будто они с ним были в сговоре.

Надзиратель вел меня по коридорам, я шел и думал...

«...Один раз я перехватил взгляд своего следователя, и мне показалось, что он как-то хитро смотрел на меня — с какой-то иронией и лукавством. И я подумал, не выстраивают ли вокруг меня какую-то схему. Честно говоря, будь на его месте я, я работал бы на «живца», где «живцом» был бы я... Но не так... Так чересчур сложно. Я не сообщил бы про героин. Я отпустил бы меня из тюрьги и приделал «хвоста»... Но ведь они немцы — хрен знает, какие у них мозги... Ну ладно, подумал я, хочешь игру, будем играть — ты будешь Карпов, а я Каспаров...»

Наташа приходила ко мне каждый день и приносила фрукты. Вы даже не знаете, что такие бывают. Например, «фейхоа», или, например, «авакадо». Штучка к штучке, на каждой накладке.

Она стала такой красивой, что я боялся на нее смотреть. Я закрывал рукой рот, и пока она несла всякую ерунду, шастал глазами по сторонам — не может быть, чтобы здесь был

только один телеглаз, наверняка еще штук пять, супертайных.

Я думал, что здесь полно микрофонов, и пока что-то шептал ей, прикрывая левой рукой рот, правой выстукивал по столу дробь, будто очень волнуясь. А Наташка, будто тоже волнуясь, царапала по столу ногтями.

...Я не знал, что в столе прямо напротив моего рта был вмонтирован совершенно невидимый со стороны телеглаз, и в специальной комнате сидит переводчица с глухонемой и не спускает глаз с монитора, на котором мои губы, осторожно, но не до конца перекрытые пальцами. И микрофонов, действительно, было несколько: и целенаправленный по оптической линии — ему сильно мешали мои пальцы, которыми я прикрывал рот, и «блошки» — им мешали мои пальцы, которыми я стучал по столу. Я не знал, что она сняла трубку и отдала распоряжение...

Но я помню, как в комнату для свиданий вошел второй надзиратель, взял меня за обе руки и оторвал одну ото рта, а другую снял со стола.

Но у меня уже сложились с ним прекрасные отношения. Я подхватил его на руки и стал с ним приседать. Я смеялся, потому что мне было весело. Прибежал третий надзиратель и вдвоем с первым отняли от меня второго.

А я смеялся, я все разгадал. Они объявили, свиданье окончено. Наташка кинулась мне на шею и, впившись губами в мои губы, протолкнула в рот капсулу. Это был первый наш поцелуй.

Надзиратели тут же кинулись ко мне открывать рот, причем один сильно сжал горло, чтобы я не мог проглотить. Я дал открыть рот, переместив капсулу под язык.

Я смеялся над ними, я сам поцеловал Наташку в ее мягкие сладкие губы и тут же показал надзирателям рот, и она показала свой. Это был второй наш поцелуй.

Свиданье было окончено. Надзиратели повели меня.

Мне попался по пути Абдулла, «шестерка» большого пахана. Он как-то странно посмотрел на меня. Я подозрительно посмотрел на него. Я, наверное, теперь на всех смотрел так, подозрительно, хотя, наверное, не все делали из меня «живца».

«...Наташа приходила ко мне через день и приносила фрукты. Я думал, что без нее я вряд ли смогу обойтись. Но я не знал, когда будет этот бой, и не знал место. Я не хотел Наташе говорить все. Но себя я доверил. Мы сговорились: днем она ждет меня в одном месте. Ночью в другом, утром в третьем. Я

выучил назубок те улицы, по которым можно туда добраться, и те автобусы, которые туда идут. Хотя мы сговорились, я беру такси. Она встречает меня за два квартала от того места, где стоит машина, у дома с проходным двором. У нее было водительское удостоверение, она должна была взять машину напрокат, вывезти за город. А дальше я бы уже чесанул сам.

Я понимал, что она «на прицепе». Что она может быть «на посадке» или может меня заложить... Я решил: доверяю, и если она продаст, значит мир — сплошное дерьмо и нет смысла в нем жить... так к ней я тогда уже относился...»

Я долго не знал, где достать изо рта капсулу и посмотреть, что там лежит. Я хотел сделать это в своей камере, но посмотрел по сторонам и увидел как минимум пять точек, в которых наверняка могли быть телекамеры.

Я пошел в санузел, но и там были три очень подозрительных точки. Я не с понта все говорю, я все облазил и везде заглянул.

Я будто случайно уронил стакан и заглянул под стол, но и там, внизу, было место, из которого можно было за мной наблюдать.

Наверное, у страха глаза велики, но береженого бог бережет. Я дождался отбоя и залез под одеяло с маленьким фонарем для ночного чтения в общей камере. Я вынул изо рта капсулу. Открыл. На тончайшей бумаге был нарисован план: место и улицы, которые туда ведут со всех сторон города. Все было сделано с умом, каждая улица была обозначена надписью по-немецки, чтобы я мог заучить. Буквы были такие махонькие, что я еле-еле их разбирал. Я всю ночь учил эти маршруты и перестал учить только тогда, когда скис фонарь.

Я выбрался из-под одеяла и сделал вид для телекамер, которые мне казались везде, что я только проснулся. И полон сил.

«...Я рассчитывал, что смогу убежать по дороге туда — в городе, с машиной, это несложно сделать. Если, конечно, чуть повезет...»

Мне, конечно, не повезло.

Мне наложили на глаза повязку, а руки сковали наручниками.

Потом повели, поддерживая с обеих сторон под локти. Я чувствовал, что иду вниз, будто по аппарели. Какие-то повороты, чуть вверх.

Посадили, видимо, в автофургон — высоко, пришлось самому забираться. Потрогал обшивку — стальная. Те, кто провожал меня, что-то сказали на своем языке, стали смеяться. Это был не немецкий язык, скорее всего какой-то из наших кавказских, а может быть, азиатский.

Так что я не знал, куда еду. Знал, по крутым богам, что ребята рядом не слабые. Догадывался, что они вроде «свои» — кто-то заматерился по-русски. Знал, какой у меня противник. Кто-то сказал почему-то по-русски, видимо, для меня:

— Гера покрепче.

Узнал один ориентир, когда кто-то из них завопил водиле:

— Куд манда Виндештрассе, мудила!

Знал, что мы въехали в подземный гараж. Догадался, что лифт идет вниз этажа на три.

Вцепившись в меня с обеих сторон, они, довольно долго и сильно петляя, вели куда-то по коридорам.

Тут я понял, что отсюда, видимо, не сбежать.

В подземном бункере какой-то человек обрил мне не только голову и под мышками, но и все остальные волосы. Вначале он стриг машинкой, а потом брил бритвой, с обильной пеной.

Мне было плевать, я смотрел на бетонные стены, на узкий и низкий выход, закрытый толстой стальной дверью с массивными рычагами, на двух «качков», стоявших около нее.

Потом «парикмахер» смел мои волосы и ушел.

Пришел другой человек. Он обтер меня губкой с каким-то уксусом. Вытер. Стал массировать, обильно поливая оливковым маслом. Все поливал и все массировал, даже голову.

Так что на главное место меня привели, будто отлакированного.

Гера, действительно, казался покрепче. Намного покрепче. Он ходил на чемпиона по боддбилдингу. Вставал в одну позу, в другую, демонстрируя и так мышцы, и эдак. Бабы просто визжали. Я посмотрел на себя, на него, у меня только член был побольше, остальное было поменьше. Его тоже натерли маслом, он блестел не хуже меня.

Народу в этом зале сидело немного. Но народ, как один, очень крутой. Со своими чмарами. За столиками с выпивкой и закуской. В основном, по-видимому, это были чеченцы. Но были также русские, узбеки, евреи, может быть, даже немцы, одним словом, ин-

тернационал. Хотя точно я не ручаюсь, потому что не очень разбираюсь в национальностях.

Стены были бетонные, но густо покрыты коврами.

Голые девочки в черных передничках разносили жратву и напитки. Мой лучший друг сразу поднялся, едва я увидел их круглые попки. Я придавил друга руками, но все уже увидели, показывали на меня и смеялись. Одна дама завизжала и стала крутить языком, демонстрируя, что она могла бы мне сделать. Ее приятель дал ей по роже. Одним словом, обстановка была самая непринужденная.

Гера встретил меня неласково и правильно сделал, это хорошо разозлило меня.

Приемы были разрешены всякие — можно было лупить друг друга ногами. Можно было хватать за ноги и делать подсечки.

Я дрался с ним и смотрел — дверей было три. Это явных. Наверное, были еще год коврами. Пушки у мужиков вроде не выпирали. Хотя сколько нукеров стояло с той стороны дверей, одному Богу известно.

Гера хорошо колотил меня. Два раза я думал: хана, больше не встану, лучше умереть, чем так жить. Но я вставал, потому что по их правилам добивали лежачего, и Гера пытался добить. Ладно, не мне судить.

Тут и мне повезло. Перехватил ступню у лица, по ходу крутанул, пока Гера падал, успел попасть ногой точно в поддых. Он вскочил, но это был уже не тот Гера, он без ума кинулся на меня, я пробился сквозь его бицепсы-трицепсы и врубил свои рычаги. Тут я сильнее. В зале завывли. Гера заухал под моими ударами, вошел в клинч, но мы оба в масле, тут хорошо не зажмешь. Что еще сильно мешало, наши причиндалы коснулись друг друга, как будто мы какие-то гомики. Дамы завизжали от радости.

Один хмырь выскочил к нам за канат — рефери остановил схватку — и объявил куража:

— Если один из вас трахнет другого, даю двадцать тысяч марок.

Все заржали от радости. Я обозлился и спросил у него:

— Если я трахну тебя?

Он поблуднел, выгацил выкидной нож и кинулся на меня. Я встретил в прыжке, сразу двумя ногами, и срубил его.

Ко мне кинулись его друзья, их удержали какие-то здоровенные парни, выскочившие изо всех трех дверей.

Эти друзья показывали мне потом, чиркая ногтем по горлу, что ждет меня, если я останусь живой. Я понимал, это не шутка. Их приятеля унесли, я его здорово приложил.

Так что терять мне теперь было нечего — и там, и тут ждал один исход. В таких жестких условиях я хорошо раскручиваюсь. В меня

будто вселяется второй «я». И теперь эти двое ломали, терзали, били Геру.

Он растерялся. В лице не было прежней твердости.

Все вокруг выли от возбуждения. Орали:

— Худой! Тощий, добей!

«Тощий» — это ко мне, хотя сейчас я тянул кг на 84, не меньше. Гера все старался войти в клинч, обхватывая меня здоровенными мышечными руками. Я вдруг услышал, что он шепчет мне в самое ухо:

— Слушай, парень... — Мы, конечно, возились, ломались, орали, чтобы нас не «застукали». — ...Я знаю здесь все... Я знаю все про тебя... Я такой же, как ты... Они нас наебывают... Самому тебе не уйти... Я знаю, у кого стволы, и знаю, как выйти наружу...

Я посмотрел на него и сказал:

— Я тебе верю,— дико заорал и шмякнул его на пол.

Сам прыгнул на него, чтобы с лета дать одной ногой в горло, другой в живот, но вроде бы промахнулся. Он дернул меня за ногу. Я упал. Он кинулся на меня и со звериной рожей схватил руками за горло. Я заорал. Он сумел в это время сказать:

— Отдохнем и после гонга — в среднюю дверь, это — выход...— и тоже заорал, как зверь, потому что я, заломив ему палец, за руку вывернул его всего наизнанку и, вскочив, дал кулаком в позвоночник. Он врезался головой в рефери, и они вдвоем влетели в его красный угол.

Дали гонг. Я сел отдыхать. Дружки того юмориста показывали мне ножи и стволы и чиркали ногтями по своим заросшим черной щетиной горлам. Я согнул в локте правую руку и потряс ею в их сторону известным любому народу движением.

Один, самый горячий, кинулся ко мне с финаером. Вокруг многие уже упились, орали, делали ставки. Никто не задержал этого парня. Он с ходу кинулся под канат. Я вскочил и шарахнул его по балде кулаком. Кулак я хорошо закалил в песке и гравии.

Другие тоже вскочили. Третьи вскочили держать. Началась какая-то кутерьма.

Тут дали гонг. Опрокидывая всех и вся, мы с Герой кинулись в среднюю дверь. Оттуда как раз выскочили трое качков делать разборку. Мы сделали всех троих.

Я влетел в коридор первым. Сбоку кинулся парень с коротеньким автоматом. Я в прыжке дал ему между ног и ребром ладони по шее. Я отнял у него автомат и пошел дальше.

Были какие-то разветвления. Я бежал и не думал, правильно ли иду, потому что, когда идешь, нельзя сомневаться в дороге.

Выскакивали какие-то люди и стреляли в меня.

Я стрелял в них и, может быть, убивал.

Вот, кажется, лифт.

Я нажал на кнопку. Встал спиной к стене, держа ствол наготове. Геры почему-то не было. Я не знал, как быть — бежать выручать? Куда? Никакой дороги я не запомнил.

Подошел лифт. Расползлись двери. Я прыгнул в лифт.

В лифте страшно закричала немолодая расфуфыренная особа и, закатывая глаза, сползла на пол. Хорошенькое я, наверное, представлял собой зрелище — голый, бритый, лакированный и с автоматом. Таких насильников, я полагаю, в фатерлянде никогда не было.

Один этаж — не гараж.

Второй — не гараж.

Третий — не гараж. Открыли стрельбу. Я промолчал.

Четвертый... И пятый...

Старушка очнулась и вытащила из сумочки пистолет. Пришлось отнять.

— Гараж?! — спросил я.— Верис гараж?!

Она опять потеряла сознание. Я успел подумать лишь «почему?» Расползлись дверцы и тут же по лифту ударили, как минимум, из трех автоматов. Да, это был гараж, и они знали, что мне надо сюда. Я не высовывался, а они били и били. Распотрошили старушку, как куклу. Я стоял в мертвой зоне.

В лифт влетела граната. Я схватил ее и кинул обратно. Там рвануло.

Я выскочил из лифта и с ходу подстрелил одного самого любопытного. То ли от гранаты, то ли от стрельбы рванул бензобак в машине.

Но я уже был на полу, перебирался между автомобилями на четвереньках. Увидел метрах в двенадцати чьи-то ноги в кроссовках, спрятались за колесо и ждал. Ноги переминались, человек нервничал. Он оказался сообразительным, присел посмотреть на полу. У него был автомат, я вlepил очередь в его любопытную голову.

Я сидел, ждал, чем проявит себя кто-то другой. Слышно было, как горела машина, полыхнули соседние. Я открыл дверку и вполз в машину, у которой сидел.

Не высовываясь, я соединил проводки зажигания и погнался отсюда. Тут проявился последний, он выскочил, наставив на меня ствол. Я крутанул руль — пуля прошла мимо — и сбил его.

Я закладывал виражи, выезжая из гаража.

Выездные ворота разъехались передо мной — электроника.

Пока мне не повезло только в одном, я был голый и не во что было одеться. Из соседней машины, на перекрестке, на меня странно смотрели. Я представляю картину — голый,

обритый, в новоменьком БМВ. Я глянул в зеркало — к тому же с такой страшной, сдвинутой, в синяках и гематомах, рожей... Я помаhal им рукой, чтобы не подумали вдобавок, что я сумасшедший.

Однако мне недолго везло.

На следующем перекрестке я увидел в зеркало заднего вида — мчится, как ненормальный, джип, набитый чеченцами или еще кем-то другим, одним словом, из СНГ.

Я дал на отрыв.

Они не отставали. Показывали мне руками, чтобы я тормозил. И это — Германия? Где полицейские?

С этой погоней я совершенно запутался в улицах, выскочил то ли за город, то ли на какой-то пустырь с длинным забором, будто въехал в родную Россию с вечной стройкой за вечным забором.

Это было совсем некстати. Преследователи в наглую открыли стрельбу.

Я славлю тех, кто вывел метро из-под земли. Когда подбили мой БМВ, я увидел веселенькие вагоны внизу под откосом. Я кинулся вниз и попал одному точно на крышу.

Погоня оказалась слишком настырной. Они обстреливали меня и вагоны. Летели стекла. Дико кричали люди.

Но они чересчур увлеклись. Им бы надо было смотреть на дорогу. Тогда бы они не врезались в эстакаду, не слетели с откоса и не взорвались. Но произошло именно это: они врезались в эстакаду, расплющив машину. Слетели с откоса и взорвались.

А мы влетели в тоннель.

Поезд замедлил ход. На станции мне нечего было делать — голому красавцу на крыше вагона. Я приподнялся и вцепился руками то ли в какой-то поперечный то ли трос, то ли кабель и поджал ноги.

Состав прокатил подо мной. Я спрыгнул вниз, сильно ударившись щиколоткой об рельс. Осмотрелся и увидел, что вбок ведет какая-то штольня. Я вошел в нее.

Конечно, это было опять преступление. Но что делать, я оставил мастерового голым, с неплотно, я это подчеркиваю, неплотно связанными руками перед собой и некрепко привязанными к толстому кабелю на стене. Рот я ему забил все-таки плотно, но минут через двадцать, если не суетиться, он сможет вытолкнуть все языком.

Сам надел его подземную робу, взял в руку молоток на длинной ручке, в другую железный чемоданчик с инструментарием. И пошел, как говорят, в никуда.

Часов через восемь на некой площади откинулся канализационный люк и на волю вылез независимый мастеровой Николай

Головин, СНГ. Правда, я попал в какой-то дерьмовый поток. Был весь мокрый, с меня стекали фекалии.

Шофер такси наотрез отказался меня везти. Страшно кричал, вращая глазами.

— Авария ди! — доказывал я ему. — Эшлер-га киряк ди.

Доказывал, кажется, по-татарски, но другого языка я сейчас не мог вспомнить — сильно угорел от фекалийев. Таксист умчался от меня на огромной скорости.

Делать нечего, я подошел к табличке и вчитался в название. «Тербенпалац... Дербенпалац...» Блин, одним словом.

Я осмотрел себя. Я сам себе нравился. Конечно, я весь в фекалиях. Но на мне какой-то мундир с погончиками. В руках молоточек и чемоданчик. Одним словом, труженик. Возвращается после тяжелой работы. Никто меня не узнает.

Я смело пошел по какой-то улице — «Бундерштрассе»...

Под утро мы встретились. Скажу честно, я сильно замерз. Хоть и Германия, а по ночам в мокрой одежде холодновато.

Наташа поджидала меня в условленном месте. Чистенькая и нарядная. Она всегда казалась мне чистенькой, свежей, будто только что умывалась с душистым мылом.

— Хорошо, — сказала она. Понюхала воздух: — И запах хороший. Ты ко мне близко не подходи.

Мы пошли через обусловленный нашей программой проходной двор. Я шел чуть поодаль, чтобы несильно пахло.

— Тут негде умыться. На весь город ни одной колонки, — сказал я. — А из фонтана меня полицейский выгнал.

— Я думаю, — сказала она, видимо, положительно оценивая действия полицейского.

Она взяла напрокат хороший автомобиль — БМВ, двухдверный со съёмным верхом. Я уважаю эту модель. И цвет тоже хороший, неброский.

— Мой папа называет такой цвет «шаровый», в него красят военные корабли, — сказал я, садясь рядом с Наташей. — Мой папа служил на флоте...

— Знаешь что, садись сзади, а лучше ложись, чтобы тебя не видели... Подожди, я что-нибудь подстелю.

Она подстелила клеенку. В головах оказалась какая-то спортивная сумка, но я ее отодвинул, чтобы не пачкать.

Мы поехали. Наташа для женщины довольно хорошо управляла машиной.

— Там в сумке... я тебе купила одежду. Думала, ты будешь в тюремной.

— Спасибо.

— Как тебе удалось убедить? — спросила она, больше упирая на «как».

— Нормально.

— Не очень тебе там досталось?

— Терпимо, — сказал я. — Слушай, ты отвези меня за город и останови у какой-нибудь речки, я немножко помоюсь.

— Будет сделано, — сказала Наташа и посмотрела на меня в зеркало заднего вида.

Немцы встают рано и тут же начинают работать. Движение на дорогах было уже интенсивным.

Скажу честно, я сразу уснул.

Проснулся я уже часов в десять. Светило солнце, пели птицы. Наташа растолкала меня и сказала:

— Река... подана.

Река была метрах в семистах от трассы. Хорошая такая, незагаженная, река.

Я загадил ее. Я разделся. Завернул в одежду камень потяжелее, затянул узел брючным ремнем, вошел в воду и утопил там, где поглубже.

Вода была ледяная, с гор. Я хорошо отмыл себя красивым немецким мылом — и тело, и голову, которая была такая же голая, как тело. Лицо и голову сильно саднило, это меня обработал Гера, правый глаз ничего не видел, его закрывала распухшая бровь. Руки тоже саднило, я их разбил о Геру. И тело саднило — я его ободрал, когда прыгал на вагон метропоезда.

— Наташа, брось мне чего-нибудь, — попросил я, отмывшись.

— Чего?

— Ну, вытереться... прикрыться.

— ...Надо говорить, «Наташа, дай, пожалуйста, полотенце». А вообще лучше, чтобы тело само высыхало, — сказала она и бросила красивое китайское полотенце.

Я не стал вытирать себя. Выходя, обернул полотенце внизу, будто юбочку.

— Атлет, — сказала она. Я, наверное, неплохо смотрелся. — Викинг. Нибелунг после схватки с Тором... Хорошо над тобой поработали...

Я сидел боком на сиденье машины в штанах и кедах — все было по мне, будто она десять раз меня измеряла. Наташа стояла между моих ног, вызывая во мне страшное беспокойство, и обрабатывала мое лицо перекисью, зеленкой из немецкой аптечки.

Ее тело, когда она оборачивалась или что-нибудь доставала, упиралось в меня. Видимо, это ее тоже несколько беспокоило.

— Ты пошире расставь ноги, — сказала она.

— Да я и так уже широко... я ведь не балерина.

— А вот с этим я не знаю, что делать, — она

дотронулась до моей набрякшей над глазом брови.— Это, видимо, гематома. Больно?

Ее руки были так близко от моего лица, что я не выдержал и поцеловал куда-то между кистью и локтем.

— Вот это не надо,— сказала она чуть изменившимся голосом.

— Извини... У тебя нет ножа?

Она достала из сумки обеденный нож. Я потрогал лезвие.

— Туповат.

Я открыл чемоданчик работника немецкого метрополитена, я забыл утопить его вместе с одеждой. Непонятно, что это были за инструменты, по-моему, набор взломщика. Классные никелированные инструменты из отличной стали. Ножик тоже нашелся, острый, словно ланцет.

— Йод есть?

— Надо спрашивать «дай, пожалуйста, йод»,— сказала она.

— А что изменится?

— Отношения,— сказала она.

Я посмотрел на нее.

— Дай, пожалуйста, йод,— сказал я.

Я продезинфицировал лезвие ножа йодом, посмотрелся в зеркало и вскрыл гематому над правым глазом. Хлынула дурная, черная кровь.

— Ну ты зверь,— испуганно вздрогнув, сказала Наташа.— Ты себя не жалеешь. Представляю, что ты вытворяешь с другими.

Я добавил кровь, и глаз освободился. Я приклеил на порез бактерицидный пластырь. Я надел майку. Она была точно моего размера. Надел куртку, она тоже была, как влитая. Наташа молчала.

— Я тебе за это верну,— сказал я.— ...Из России.

— Да?.. Спасибо,— сказала она.

Я не знал, как попросить ее, потому что было неловко. Но все-таки я попросил, потому мне больше не у кого было просить.

— Спасибо...— сказал я.— Ты не дашь мне чуть-чуть денег? Я доеду до какого-нибудь Киля... а там каким-нибудь парходом или еще чем.

— Зачем? — спросила она.— Я поеду с тобой. Я отвезу тебя в одно тайное место. Тебя будут искать, там отсидишься.

Вы знаете, если бывает счастье, я его вдруг ощутил. Легкое, быстрое прикосновение счастья.

— Спасибо,— сказал я.

— Скажите, пожалуйста, какой вежливый,— сказала она.

Мы ехали по сказочному Шварцвальду, немецким горам, где один пейзаж красивее другого. Солнце стояло в зените.

Потом я сидел за рулем.

Потом снова Наташа.

Часов в пять Наташа сказала:

— Знаешь, я трое суток совсем не спала: ночью ждала тебя в одном месте, днем в другом, утром в третьем — ты это глупо придумал. Я очень хочу спать.

— Какой разговор,— сказал я.

Мы свернули к мотелю. Остановились. Посмотрели один на другого. Она спросила:

— Зачем ты сбрил волосы?

— Меня разве спрашивали?

— Тебе идет, ты как будто Юл Бринер.

— Спасибо,— сказал я.

Она открыла дверцу со своей стороны.

— Подожди меня здесь,— взяла сумочку, наверное, с документами и пошла в махонький административный корпус, на открытой террасе которого сидел старый мужик и пил пиво. Он что-то сказал мне, поднимая кружку. Я покивал головой и поулыбался, чтобы не обнаруживать из себя иностранца.

Нас поселили в один номер. Хозяин мотеля; старенький одувачник на согнутой ножке, улыбаясь, вышел с Наташей из конторы и показал, как идти.

Он что-то сказал второму старику, на открытой террасе. Тот удивленно и вроде бы даже испуганно уставился на меня.

Это был не номер, а вроде бунгало. Правда, со всеми удобствами. И на отшибе.

Наташа старалась не смотреть на меня. И я старался не смотреть на нее. Она тут же пошла под душ.

Она долго плескалась там. Я видел сквозь матовое стекло ее силуэт. Меня начало колотить, будто я сильно замерз. Место было сельское, слышно, как где-то орал петух. Мычали коровы. Далеко-далеко тархтел трактор.

Она вышла в халате — чистая, сумасшедше близкая и сумасшедше чужая. Я сказал, чтобы меня не колотило при ней:

— Пожалуй, тоже пойду... Погреюсь...

Я включил самую горячую воду. Но меня все равно колотило. Я еле согрелся.

Потом мы лежали рядом. Каждый на своей кровати. Было почти темно. Свет мы не включали. Где-то лаяла собака, будто у нас в деревне.

Я думал, она уснула, и ненавидел ее за это.

Она сказала:

— Я знаю, ты никогда не будешь относиться ко мне серьезно... — Я молчал, я не мог говорить. У меня тряслись не только руки и тело, но даже и подбородок.— ...но я так хочу... иди ко мне...

Я пошел.



И я опозорился, все случилось так быстро, как в дурном сне. Мне было стыдно. Я не знал, как вести себя в таких случаях...

Я осторожно, чтобы не задеть лишний раз, слез с нее. Я сказал, чтобы что-то сказать, чтобы как-нибудь пошутить.

— Это называется — покушение с негодными средствами,— сказал я Наташе, наверное, очень гаденько улыбаясь.

Где-то неподалеку истошно, как сумасшедший заревел бык. Мне бы так, как там он.

Она склонилась надо мной чистым счастливым лицом. В ее глазах были слезы. Она сказала, касаясь меня губами:

— Глупый... мне никогда не было так хорошо, как сейчас... и вообще, когда ты касаешься меня, я просто схожу с ума от того, как мне делается хорошо...

Она прильнула к моему рту губами. Я почувствовал, как здорово жить. Как все тепло и огромно. Я слился с ней и не расставался до полудня.

Я чувствовал, когда ей становилось особенно хорошо, и спрашивал:

— Тебе хорошо?

— Да...— выдыхала она, по-сумасшедшему раскрывая глаза.— Да.

.....

— А так тебе хорошо? — потом спрашивал я.

— Да... так... так...— говорила она.

Мы вспотели, как в сауне.

Был уже день. Два старика, хозяин мотеля и его друг фермер, сидели на открытой террасе мотеля, пили темное немецкое пиво из высоких кружек и с удивлением смотрели, как ходит худонное наше бунгало.

— Скажи, Фриц, разве ты мог бы без всякого перерыва пятнадцать часов заниматься этим? — спросил хозяин мотеля.

Старик фермер уныло помотал головой:

— Найд,— сказал он.

— А русские могут. Ты знаешь, Фриц, эти русские — сексуальные маньяки,— сообщил хозяин мотеля.— Я был в Сибири, я знаю... Это у них от мороза...

Я сидел за рулем. Нам было весело и хорошо.

Мы мчались по чистенькой красивой Германии, как по картинке. Мы откинули верх, теплый немецкий воздух трепал наши волосы.

Наташка обнимала меня.

Потом она спросила:

— Почему ты не спрашиваешь, как я оказалась там?

— Что? — я не расслышал, мимо с ревом проносился рефрижератор.

Наташа кнопкой подняла верх и подняла стекла.

— Почему ты не спрашиваешь, как я оказалась там? — очень серьезно спросила она.

Ох, как я не хотел этого разговора.

— Я думал, может быть, тебе неприятно вспоминать об этом,— очень нейтрально, как можно мягче сказал я и посмотрел на нее.

Но на нее нашло.

— Почему? — с вызовом спросила она.— Я же блядь, я же не королева.

Тут я вспомнил, что говорил, когда хотел вернуть свои шестьдесят марок, и мне стало жарко.

— Знаешь что,— сказал я, но еще не знал, что сказать.— Часто люди... В жизни так бывает: люди иногда говорят друг другу гадости... Но если они хотят потом поддерживать отношения, надо помнить хорошее, а то отношения будут плохими.

— А с чего ты взял, что я хочу поддерживать с тобой отношения? — враждебно спросила она.

Я промолчал.

Тут через дорогу перед машиной помчался заяц.

— Слушай, тут так всегда — зайцы? — спросил я.

Ей было плевать на зайцев.

— За указателем поворот направо, делай «восьмерку» и сворачивай на автобан,— не глядя на меня, сказала она.

Я сделал классный разворот за указателем, вошел на «восьмерку»...

— Знаешь, чем ты особенно мне противен? — каким-то противным скрипучим голосом спросила она.

Ну, ну, девочка, ну, ну. Я взглянул на нее, в ее глазах была открытая неприязнь.

— Ты сытый, самодовольный, благополучный тип. Тебя жизнь никогда не била!

Конечно, находились другие, чтобы меня побить, подумал я, но ничего не сказал. Я глянул на себя в зеркало заднего вида, конечно, я немножечко, как бы это сказать, раздобрел в тюрьме. Но чтобы меня жизнь не била, тут она не права.

— Конечно. Всегда находились другие,— сказал я.

...Я лихо промчался по этому классному трехэтажному перекрестку. И у выхода увидел полицейского у мотоцикла. Он смотрел на меня, похлопывая по ноге жезлом. Но я сделал вид, что очень обеспокоен дорогой, и не уперся в него глазами. Я думал, уже все, проскочил, однако он засвистел.

— Нам. Стоять,— сказала Наташа.

Я тут же кинул машину к обочине и застыл как вкопанный. По российскому обыкновению, Наташа прихватила сумочку с докумен-

тами и, по российскому обыкновению, пошла к полицейскому.

Честно говоря, я подумал: «Хана, недолго тешилась старушка». Я опустил стекло и смотрел, как она идет. Она хорошо шла и хорошо смотрелась — не как блядь, как королева, как очень скромная и уверенная в себе королева.

Полицейский подвез Наталью к машине на мотоцикле. Он пристально посмотрел на меня, будто хотел запомнить на всю жизнь. У него было доброе простое лицо. Он вежливо взял под козырек и умчался на мотоцикле.

— Что это он? — спросил я, пуская машину.

— Я сказала ему, что ты мой жених, русский космонавт, — сказала Наталья.

— Они еще балдеют от космонавтов?

— Может быть... Я сказала, что в следующий полет ты полетишь с немцем. Он спросил, а что у него с лицом. Я говорю, была проблема с посадкой...

Она обняла меня обеими руками, прижалась ко мне, мешая рулить. Прошептала в самое ухо:

— Прости меня, дуру...

— Да ладно, — сказал я. — Я и не обижаюсь.

— Поцелуй меня, — сказала она, дернув за рычаг скоростей и переведя его на «нейтралку» и потянув ручной тормоз.

Мы остановились.

Я поцеловал, как умел.

Она обняла меня правой рукой за шею и поцеловала сама. Это был класс, ребята.

Мы въехали в маленький, очень уютный город.

— Здесь есть православная церковь, — сказала она.

— Да? — просто так удивился я. — Откуда?

— Не знаю, — сказала она. — Заедем, я хочу исповедаться...

Церковь была очень маленькая, можно сказать, крошечная. Мы остановились перед оградой. Наташа повязала косынку, сказала:

— Пошли.

Честно говоря, я хотел отсидеться. Я начал было поднимать верх.

— Зачем? — спросила она.

— Чтобы запереть двери.

— Здесь это не делают.

Ну, руль я все же замкнул и пошел, испытывая какую-то странную робость, почти страх, по пяткам за Наташей.

Войдя в церковь, Наташа перекрестилась. Я посмотрел, как она это делает, и сделал так же.

— Поставь свечи, — шепотом сказала она и дала мне деньги.

— Куда? — шепотом спросил я.

— Везде, — прошептала она.

— Как свеча по-немецки? — прошептал я.

Она кивнула головой, и я увидел, что здесь свечи на самообслуживании.

— Я пошла, — сильно волнуясь, сказала Наташа и пошла к службе, что-то стала спрашивать у него. Потом куда-то пошла с ним.

Здесь был ящик, куда надо было опускать деньги, и гнезда со свечами по разной цене. Я взял по средней, но много.

Я ходил на почему-то дрожащих ногах по церкви, зажигал свечки и ставил в специальные гнезда перед суровыми ликами икон. Руки у меня почему-то тоже дрожали. Таясь от старушек, я потихонечку крестился.

Старушек было четыре. Две сидели на одной лавочке и две на другой. Они перешептывались о чем-то и не спускали с меня пристальных, впавших в глазницы глаз.

Наконец я поставил свечку у последнего места, поклонился и едва устоял на ногах. Я весь почему-то покрылся потом и вообще чувствовал себя очень странно. У меня остались четыре свечи. Я не знал, что с ними расделать, и потихонечку пошел с ними к выходу чтобы побыстрее оказаться на воле.

У самого выхода меня догнала одна из старух и крепко взяла за руку.

— Никак нельзя, молодой человек, — сказала она по-русски очень красивым молодым голосом. — Никак нельзя, молодой человек, выходить из церкви, не подождав, пока ваши свечи не сгорят хотя бы на две трети.

— Почему? — с ужасом спросил я.

— В церковь всегда приходят очень дурные, злобные люди, они хотят избавиться от своего зла, наговор же легче всего ложится на только зажженную свечу. Возвращайтесь назад и молитесь Спасителю...

— Где? — спросил я.

Она показала на середину.

Я вернулся назад и встал под самым куполом и посмотрел туда. Там было небо, был Бог, и Он смотрел на меня. И я не мог оторвать от него глаз. А вокруг шла какая-то битва, какие-то белые с белыми крыльями воевали с другими, с черными крыльями. Меня стало еще сильнее тряссти, какая-то жалость ко всему охватила меня, какие-то страх и горе, и какая-то радость. Казалось, я сейчас улечу туда. Я не выдержал и заплакал. Все как-то поплыло передо мной. Я упал.

Меня било в паучей первый раз в жизни. Я помню, будто сквозь сон, какие-то люди пытались вывести меня из этого состояния, совали что-то под нос, терли уши, вытягивали и прижимали ноги и руки.

Но я не хотел, не хотел, не хотел выходить оттуда...

Пришла любимая, долгожданная тьма. И свобода.

А потом пришел свет.

Я открыл глаза и увидел Наташу.

Я был в светлой больничной палате. Было очень светло и бело. За окнами распустилась сирень и пели птицы.

Наташа сидела у окна и вязала. Она подошла ко мне и заглянула в лицо. Я увидел совсем близко ее прекрасные глаза и, кажется, заглянул куда-то далеко-далеко, в самую душу.

— Слава Богу, кажется, он выживает,— сказала Наташа.

Надо мной склонилась медсестра в огромном белом треугольнике на голове.

— Я,— сказала она.— Швайсендрасе мезен-трассе,— и пошла за доктором.

— Здравствуй,— сказала Наташа.

Я собрался с силами и обнял ее. Она поцеловала меня.

— Ну ты напугал нас... Думали, ты умрешь... Будешь теперь знать, как резать брови грязным ножом.

Ах, какая это огромная радость — выздороветь.

Через два дня меня выписали.

Я посмотрел на себя в зеркало, выходя из больницы, и увидел, что волосы на голове чуть-чуть отросли, теперь был не как бритый, а как стриженный под «нулевку».

Наш БМВ стоял и ждал нас на стоянке. Я сильно переживал по поводу автомобиля. Я спросил:

— Как теперь с ним? Ты же взяла на одну неделю?

— Брунда, потом доплачу, здесь это просто.

— А в каком размере — в десятикратном?

— В том же самом.

— А на что ты тут жила?

— Какое твое дело.

— Сколько ты заплатила за больницу?

— Ты зануда,— сказала она.— Но ты живой зануда, а это главное, ты понял, милый?

— Как ты сказала? — спросил я.

— «Милый»,— сказала она.

— Ты знаешь, мне вообще-то никто так не говорил,— сказал я.

— А я буду,— сказала она.

Вот жизнь, можно задохнуться от радости. Я обнял ее. Мы обернулись и увидели, что доктор и медсестра стоят у открытого окна и машут на прощанье руками.

Мы тоже помахали им и сели в машину.

Мы ехали по этому славному небольшому и очень чистому городу со старинными, но еще очень крепкими и ухоженными домами.

— Я тогда исповедалась, а на следующий день причастилась,— сказала Наташа и посмотрела на меня, она была за рулем.— Так

что я теперь новая. Я тебе нравлюсь новой?

— Ты мне и старая нравилась,— сказал я.

— Ты не хочешь исповедаться? — спросила она.

— Я тут совсем темный... я не знаю, что это такое.

— Ты рассказываешь о своих грехах, кашешься, батюшка отпускает тебе их. Он имеет это право от Бога,— объяснила Наташа, разворачиваясь на площади у старинного замка.

— Я думаю, мне он вряд ли отпустит мои грехи,— сказал я.

Наташа внимательно посмотрела на меня.

— Ты там убил кого-нибудь? — спросила она.

— Не знаю... Думаю, да.

— А в армии ты убивал? — спросила Наташа.

— Нет. В армии нет. Я служил на посту СНИС, я там даже людей не видел.

— Скажи, а ты вообще-то крещеный? — спросила Наташа.

— Может быть, хотя вряд ли. У меня родители атеисты.

Наташа очень обрадовалась, что я некрещеный.

— Так давай окрестим тебя?

— Давай,— сказал я.

Мы заехали в магазин и купили для меня большую белую рубашку, такую длинную, чтобы можно было в ней стоять без штанов.

Батюшка, он мне сразу понравился, такой добрый, обходительный старикан, спросил очень молодым, сильным голосом:

— Вы, видимо, из России?

— Вы очень наблюдательны,— сказал я.

— В вашем случае это нетрудно,— сказал он, начиная приготовления к обряду крещения.

Он тихим голосом говорил молитву и готовил для обряда воду в купели из серебра, он окунал туда крест, как-то странно поднимал его, будто наблюдая, как стекает с него вода, и потом будто пускал плавать.

Я переодевался, снимая с себя ботинки, носки, штаны, рубашку, майку и надевая ту длинную рубашку, которую Наташа купила мне для крещения. И опять почему-то я волновался и опять ощущал такое стеснение, будто вот-вот упаду.

— Мариенгофов, конечно, не знали? — спросил батюшка.

— Фамилия знакомая, но лично — не доводилось,— я стоял смиренно, будто в строю.

— Чудо из чудес — крещение,— говорил батюшка, продолжая процедуры с крестом,— и человек преображается, приобщаясь таин-

ства. И вода, как говорят ученые, меняет состав на биомолекулярном уровне после свершения таинства. Подойди ближе.

Едва не теряя сознание, я подошел. В правой руке у него были ножницы, левой он пытался прихватить мои короткие волосы.

— Волосев у вас, как у младенца, не ухватишься. Болели?

— У него был сепсис. Ему всю кровь поменяли,— сказала Наташа.

— Я помню... вы тут сознание потеряли...

— Да,— сказала Наташа.

— Я видел ваш лик в прошлый раз... Бороться мы должны. Но не друг с другом, а с собой, со злом внутри себя... Надо приучать себя делать доброе. Это закономерно и естественно — творить добро...

Я не знал, положено ли мне говорить что-нибудь, я посмотрел на Наташу, она кивала головой.

— Вы правы,— сказал я.— Это совершенно закономерно...

Начался обряд.

У меня опять стала кружиться голова, и я боялся опять упасть, как в прошлый раз. Помню, брызгал на меня водой с широкой кисти. Потом брал меня за руки и опускал руки в купель. Что-то спрашивал. Я не понимал.

«Имя!» — дошло до меня.

— Николай...

— Крещается раб Божий Николай во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и Святого Духа — аминь...

Потом он опускал кисточку во что-то маслянистое с очень приятным запахом и рисовал мне крестики на лбу, глазах, ушах, рту, груди, руках и ногах.

Наташа понимала, что происходит со мной, и осторожно поддерживала меня под локоть.

У священника было взволнованное лицо, глаза за очками блестели, будто наполнялись слезами. Да, наполнялись, слезы катились из уголков глаз. Волнуясь и задыхаясь, он говорил, рисуя на мне каждый крестик:

— Печать дара Духа Святого, аминь... печать дара Духа Святого, аминь... печать дара Духа Святого, аминь...

Потом мы почему-то долго сидели в машине у церкви, и, кажется, Наташа чего-то ждала.

Я молчал. На груди под рубашкой у меня висел крестик. Я никак не мог обрести своего обычного состояния.

Наташа тоже молчала. Она, кажется, все чего-то ждала.

Я слышал голос священника, что он говорил напоследок:

«Отныне, раб Божий Николай, становишься ты частью огромного братства, и обретаешь

могущественного Покровителя в лице Господа нашего, но и сурового Судию, который все видит... Люби Господа своего превыше всего. Чти заповеди и люби людей...»

Потом батюшка выехал со двора церкви в крохотном автомобильчике. Прищурившись, посмотрел на нас, узнал и поклонился нам.

Уже смеркалось.

Потом Наташа сказала:

— Поехали?

Я не мог понять, почему она так спросила, таким голосом.

— Поехали,— сказал я.

Было уже темно.

В эту ночь мы сказали, что любим друг друга.

Мы почти что не спали. Мы опять остановились в загородном мотеле. Вначале мы ужинали в его небольшом пустом ресторанчике и рассказывали о себе.

Потом мы лежали лицом друг к другу. За окном пели птицы и цвела сирень. А мы рассказывали о себе. Иногда Наташе так трудно давалось прошлое, что она начинала плакать и тогда я целовал ее слезы, ее лицо, ее тело. Она находила мои губы и целовала их. Я был еще слаб, и когда она целовала меня, я едва не терял сознание.

Иногда ее прошлое очень трудно давалось мне. Тогда я подходил к распахнутому окну, чтобы дохнуть свежего воздуха и потискать правой рукой мышцу над сердцем.

Наташа подходила ко мне и обнимала меня.

Заснули мы только под утро. Лицом к лицу, дыхание к дыханию.

«В эту ночь мы сказали, что любим друг друга. Она исстрадалась жить без любви. Меня тоже вроде никто никогда не любил... Честно говоря, в своей жизни я не очень-то верил, что кто-то кого-то может любить. Появлялся вопрос: за что? И чем больше я думал, тем больше понимал, что в общем-то не за что. Тем более, меня. И вот оказалось, что так тоже бывает. Как здорово мне повезло в Германии. Оказалось, что с заграницей Наташа лопухнулась не хуже меня. Она была фотомоделью и манекенщицей, победила в России на каком-то конкурсе и училась на курсах шейпинга, языку, моделированию. Заключение контракт, приехала работать модельером и манекенщицей, и здесь ребята, которые все устраивали, так повернули, что она оказалась в найт-клубе, да еще всем должна — и вырваться ей отсюда пока нет никакой нор-

мальной возможности... Одна девочка убежала, они догнали ее, вернули, десять дней измывались, совсем опустели, а потом убили... У них везде связи с такими же негодяями, как они. Наверное, и с моими тоже как-нибудь связаны... Да, я знал, что наша мафия самая паршивая в мире, но даже подумать не мог, что она так широко все охватила. Несчастные немцы, несчастные все, кто пустил нас к себе. Сколько же людей эти гады делают несчастными по всему миру. Она сказала, что везет меня через всю страну, на самую Балтику. Там у одной старушки, ее дальней родственницы, в тайне от всех росла Наташина дочка, двухлетняя Катя, которая родилась уже здесь, в Германии...»

Заснули мы только под утро. Лицом к лицу, дыхание к дыханию.

Если б вы только знали, какое это счастье просыпаться утром в Германии, в рыбацьем поселке, в доме на берегу моря. Еще не проснувшись, вы слышите, как накатывает на берег вода. Как шумит она крупным песком.

Вы открываете глаза, потому что на вас смотрит самая красивая женщина в мире. Она спрашивает:

— Ты что будешь на завтрак?

Обхватив ее сказочно красивую ногу, прячется маленькая светленькая девчушка. Я хватаю девочку на руки, она что-то верещит по-немецки. Она дичится меня, потому что ни слова не понимает по-русски, а я не могу говорить по-немецки. У Наташи счастливое лицо. За десять дней, что мы здесь, она хорошо загорела, пожалуй, даже лучше меня.

— Мы тебе с Катей кашу сварили,— говорит она.

Мы сидим на открытой веранде, перед нами ухоженный немецкий с огородом и цветочными клумбами сад, за садом море, и едим кашу. С нами Полина, когда-то пригнанная в Германию на работу и нашедшая здесь судьбу.

— Может, хочешь бутерброд с беконом и пива? — спрашивает Наташа.

— Да я вроде уже кофе пью,— пожалел я, что не выпил пива.

— Во смотри, яки гарны мы булы.— Полина каждый раз показывает мне альбом с фотографиями. Их у нее миллион.

На фотографиях группами и отдельно подростки, юноши, девушки — «восточная рабочая сила в Германии, 1944 г.». Вопреки сло-

жившимся представлениям, упитанные и прилично одетые.

— Это Леночка... Это Оксана... Ой, гарна была дивчина, чернобрива, тонюсенька. Вышла замуж за американского негра. Сейчас где-нибудь в Штатах, если он ее не сожрав, такой был страшный... Это опять ми... Вот смотри, это мой Курт... настоящий юнгштурмовец. Вмер дюже быстро. Бо изранен весь був, до семидесяти не дотянул. А вот это Вовчик...— Тут были фотографии, где «ми» стояли с американскими солдатами-освободителями. И очень много фотографий ее покойного мужа Курта.

На каждой, от самых молодых ногтей, Курт был с ружьем, рос Курт и росло ружье. Его папа тоже всегда был с ружьем. Такая это была семья, все в округе ловили рыбу, а они предпочитали охотиться.

И сейчас в доме было полно оружия, чуть не на каждой стенке висело по парочке — это было видно даже отсюда, через открытую дверь веранды.

А потом мы уходили в дюны. Я нес на руках их — Наташу и ее маленькую дочку Катю. Они были, как две пушинки, Наташа, килограммов на 56, и Катя, килограммов 8, не больше. Наташу я сажал на правое плечо, Катю на левое. Я мог идти с ними так хоть целый день, чистый воздух и хорошая жратва сделали меня опять очень здоровым.

Полина стояла у дома и смотрела на нас.

Наташа обычно плавала на маленьком надувном плотике и читала книгу в специальной непромокаемой обложке.

Катя возилась в песке, строила бесконечные кулички и замки. Я строгал палочки хорошим немецким ножиком, чтобы в замках не обваливались строго засекреченные переходы.

Это было нормальное спокойное счастье, как будто мы были в отпуске и как будто у нас была семья.

Наташа, положив подбородок на книгу, смотрела на нас. Мне показалось, ей что-то надо. Я вошел в воду и подплыл к ней.

— Как ты узнал? — спросила она, будто это было для нее очень важно.

— Ты смотрела,— сказал я.— Тебе что-то надо?

— Скажи, милый, ты действительно любишь меня? — Она взяла меня за чуть-чуть подросшие волосы и подергала их, будто проверяя, как они выросли.

— Да,— сказал я.

— Почему ты никогда не говоришь мне об этом?

— Я люблю тебя,— сказал я.  
— За что ты любишь меня? — спросила она.  
— За все,— сказал я.  
— Вот видишь, ты знаешь, за что, а когда любят по-настоящему, тогда не знают...

Я, видимо, огорчился, она пожалела меня.  
— Поцелуй меня.  
Я обернулся, не смотрит ли дочка.  
— Ты сумасшедший,— сказала она.— Скажи, а что бы ты делал, если бы я вдруг умерла?  
— Не знаю, я, наверное бы, не хотел больше жить.

Ей это понравилось.  
— Я тоже,— сказала она.— Посмотри мне в глаза.  
Ее глаза из-за близости моря казались зеленоватыми. Я смотрел в их далекую глубину.

— Ты знаешь, милый, я, кажется, забеременела.

В моих глазах, видимо, что-то там изменилось.

— Почему ты так огорчился? — спросила она.

— Я не огорчился... так быстро?..  
— Когда любишь, это всегда происходит быстро,— сказала она.— Но если ты настаиваешь, я могу сделать аборт.

— Я не настаиваю,— сказал я,— и не буду настаивать.

Она долго смотрела в мои глаза.  
— Эх, ты,— сказала она.— Я пошутила, а ты испугался.

Честно говоря, у меня вроде бы отлегло от сердца, но я не испугался, это было не так, и я возразил.

— Наверное, есть многое, чего я боюсь, но я не боюсь иметь с тобой детей, я хочу этого...

Она что-то прошевелила губами. Я не слышал.

— Что? — спросил я.  
— И я хочу,— тихо сказала она.— Сейчас... здесь...

— Но ведь здесь вода,— я опять покосился на Катю, она была недалеко, метров 40.

— А как же те несчастные, которые всегда в воде — всякие дельфины, киты, крокодилы?..

— Только не крокодилы,— сказал я.  
— Конечно, не крокодилы,— она скинула с себя купальник и сползла по мне в воду.— Если бы ты знал, какой ты стал красивый... Подожди, я сама, вот так... так... Зачем тебе быть красивым?..

Оказалось, что здесь в общем неглубоко, я стоял на ногах, и мне было по самый рот, так что я едва не захлебывался. Я подвинул плот, чтобы Кате не было видно, чем мы тут занимаемся...

Мы возвращались домой, шли по песчаному пляжу, влезали на дюны и спускались с них. Наташино лицо, как всегда, делалось грустным. Она остановилась на гребне, посмотрела вдаль и сказала:

— Вот это тянется до самой Финляндии — через Польшу, Литву, Латвию...

Мне показалось, что на ее глазах набухли слезы. Хотя ветра не было и песок не мог попасть. Она сморгнула их и улыбнулась.

— Жила в Риге одна неплохая семья: отец русский, военный, мать латышка, учитель музыки, дочка — отличница с первого класса. Все были счастливы. Девочка училась в инъязе, работала манекенщицей, модельером, один раз даже в кино снималась... Отец недавно умер... Слава Богу, до отсоединения, не дожил до этого ужаса. А я дожидая, из меня сразу сделали человека второго сорта: отец-то русский. Ни работы, ни перспективы, и постоянное унижение: вы нам не подходите, вы — русская. Хотя я латышский знаю лучше их...

У нее по лицу текли слезы. Я обнял ее и сказал:

— Не надо, Наташа, тебя больше никто никогда не обидит... я обещаю тебе.

Катя устала, я взял ее на руки, она тут же уснула. У входа в поселок нам встретился старик Отто. У него было прокопченное ветрами, изрезанное глубокими морщинами лицо, молодые голубые глаза и узловатые руки.

Он поздоровался с нами за руку и что-то сказал Кате, обращаясь ко мне. Наташа перевела:

— Завтра выхожу в море, ты поможешь мне?

— Какой разговор,— сказал я.

Наташа перевела и сказала мне:

— Ты старайся, мне кажется, он присматривается к тебе.

Он действительно смотрел на меня своими молодыми голубыми глазами. На его носу росли волосы. Он похлопал меня по плечу и сказал:

— Гут...

Я тоже похлопал его по плечу и тоже сказал:

— Гут.

Он что-то сказал Наташе, она мне не перевела.

По пути домой мы зашли в магазин. Он был маленький, а всякой всячины в нем было много. Наташа складывала всякие продукты в коляску.

— Что он тебе сказал? — спросил я про старика.

— Что наконец-то у меня появился хороший парень... Смотри, не болтайся ему,

чем я там занималась. Они уверены, что я служу в банке.

Мне стало почему-то обидно, но я ответил очень спокойно:

— Дорогая, даже если бы я хотел проболтаться, объясни, пожалуйста, на каком языке?

— Ну, а какой вывод? — читая на ярких коробках и некоторые складывая в коляску, спросила Наташа.

— Никакого, — сказал я.

— Нет, милый, вывод один: язык надо угадать.

— Может, мы все же вернемся, у меня ведь не только языка, у меня ведь и документов нет, — сказал я.

— Нет, милый, туда, где относятся к людям так, как у нас, нельзя возвращаться. Я-то еще ладно, я всего навидалась, но у меня дочка, я хочу, чтобы она жила в стране, где государство уважает и ценит своих граждан...

Она еще говорила, но я вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я поднял голову и увидел за стеклом витрины человека, поворачивающегося к ней спиной. Я не разглядел его, но меня что-то неприятно кольнуло в сердце.

— Извини, — сказал я Наташе и выбежал из магазина.

Человек сажился в белый «опель-омега» и не смотрел на меня.

— Стой, кацо... подожди, геноцвале...

Человек посмотрел на меня не понимая и укатил на своей «омега». Вроде бы все, но неприятное чувство, сродни страху, ощущение опасности, осталось. Я обернулся. Рядом стояла Наташа.

— Это исключено, — сказала она. — Хвоста не было, я смотрела.

— Я тоже смотрел.

— Вертолет над нами не кружился. Со спутника они тоже вряд ли вели наблюдение.

— Ты уверена, что твоя тайна — это только твоя тайна?

— Я не уверена, я убеждена. Я — вот такой конспиратор...

И все же я стал присматриваться к ружьям покойного Курта. Особенно мне понравился многозарядный карабин 12-го калибра.

— Нравится? — проходя мимо меня с ворохом высокошего белья, спросила Полина.

— Неплохо бы на кабана поохотиться, — сказал я, забирая у нее белье.

— Да я сама, — сказала она.

— Да я сам, — я все же забрал белье.

— Так поохотья, — сказала она.

— Да патронов, наверное, нет.

— У Курта всё есть.

— Да порох, наверное, отсырел.

— Это — Германия, здесь чему не положено отсыреть — не отсыреет.

Я проверил патроны и зарядил штук сто пулями.

Я взял ружье, патроны и вышел в дюны чуть-чуть пострелять. Вроде бы получалось. Карабин бил хорошо. За 50 метров пуля пробивала довольно толстую доску.

Затыкая уши, подошла Наташа.

— Все-таки у тебя есть подозрения? — спросила она.

Я пожал плечами.

— Почему человек не может чуть-чуть поохотиться?

— Неужели ты сможешь убить... кабана? — она с осуждением смотрела в мое лицо.

— Кабана смогу, потому что он злой. Вот зайца не смогу, корову не смогу, лошадь не смогу... А вот волков — каждый день.

— Кабан — не злой, он — свинья, — сказала Наташа.

— Он — вепрь, — сказал я.

— Вепрь — это ты, — сказала она и побежала.

Я догнал.

Она была сильная, я еле поборол ее.

Ночь в Германии тоже прекрасна.

У нее была чудесная кожа, ночью она светилась.

Она любила водить грудью, соском, по шраму на моем лице, который оставил мне тип, хотевший зарезать меня в тюрме. Это ее здорово возбуждало, соски набухали, в глазах появлялся туман. Она говорила:

— Беденький... ты страдаешь из-за меня... всю жизнь Наташка страдала за всех, теперь нашелся один... Не плачь, милый, не надо... Хотя я, конечно, не плакал. — ...Я тебя буду жалеть.

У нее были длинные волосы. Она накрывала ими себя и меня, и ничего вокруг больше не было.

— Ты не уйдешь от меня к другой? — шептала она.

— Для меня все другие в тебе одной, — говорил я, я тоже чувствовал себя ненормальным.

Она брала мои губы в свой рот. И все это приводило ее в экстаз. Мы, наверное, здорово шумели за этим делом. Потому что один раз пришла Катя. Мы не сразу заметили маленького человечка в белой ночной рубашке с зайчиками у открытой двери.

Она спросила в самый неподходящий момент:

— Мама, что ты делаешь с дядей? — разумеется, по-немецки. (Здесь и далее в этой сцене синхронный перевод на русский.)



— Массаж,— по-немецки ответила мама,— у дяди радикулит, я его растираю.

— Можно я посмотрю?

— Конечно,— Наташа быстро, будто занималась этим всю жизнь, перевернула меня на живот и действительно изо всех сил начала массировать мне поясницу и позвоночник.

— Знаешь, что мне сейчас показалось? — спросила она меня.

— Что? — спросил я.

— Что, в общем, неплохо, что мы с тобой встретились, а?

— Конечно, неплохо...

— А еще знаешь, что?

— Что? Слушай, не так сильно — (это про радикулит и массаж).

— Что нас разлучит только смерть.

— Конечно,— сказал я.

— А смерти нет... ведь мы с тобой христи-ане! — радостно сказала она.

— Конечно,— сказал я.

— Здорово вы их всех надули?!

— Да.

— О чем вы говорите? — спросила девочка, присматриваясь, как мама калечила мой позвоночник.

— О жизни,— сказала Наташа.

— А почему вы оба голые? — спросила дочка, хотя мы уже были довольно прилично задрапированы простынями.

— Как же, доченька, радикулит ведь болит в теле, а не в одежде,— сказала Наташа.

— О чем вы говорите? — спросил я.

— Надо знать по-немецки и будешь сам понимать,— сказала Наташа.

— Я тоже хочу лечить дядю,— сказала доченька и тоже взялась за мою спину. Ручонки у нее были хоть и маленькие, но крепенькие.

Потом мы лежали втроем: Наташа, Катя и я. Я — завернувшись в отдельную простынь и на отшибе.

— Я теперь буду ложиться с вами и всегда помогать вам,— обещала Катя.

— Что она говорит? — спросил я.

— Она говорит, что будет теперь спать с нами,— сказала Наташа.

— О, это здорово,— сказал я, плотнее закутываясь в одеяло.

— Иди ложись с моей стороны,— сказала Наташа, она протянула руку и засунула под мое одеяло.— Ну, иди...

— Слушай, ну так же нельзя...— сказал я, но она не мне подчинилась.— Наташ, ну ты так вроде нормальная баба, а вот что касается секса, ты совсем ненормальная.

Она крепко сжала мне это место.

— Ой...— сказал я.

— А ты не груби,— сказала она. Девочка с любопытством крутила личиком то в мою сторону, то в ее и смеялась.— Милый, ты дол-

жен знать, что самая нормальная баба та, которая в этом деле самая сумасшедшая... а, съел?

Катя запрыгала на кровати и закрыла маме ладошкой рот.

— Мама, мама... Полина говорит, ты с дядей жених и невеста — это так или это не так?

— Так,— ответила мама.

— Тогда почему вы никогда не целуетесь? — с обидой спросила дочка.

— Что она? — всполошился я.

— Велит, чтобы мы с тобой поцеловались,— сказала Наташа.

— Ну уж это как-то... совсем...

— Может быть, ты все-таки уступишь ребенку?

Пришлось уступить. Наташка хулиганила и целовала меня по-настоящему. Ее дочка прыгала над нами, хлопала в ладошки и кричала по-немецки:

— Теперь у меня будет братик! Теперь у меня будет братик!..

Уснули мы почти под самое утро. Сон был короткий, но очень хороший. Катя спала между нами, мы обнимали ее с обеих сторон.

Утром я хотел захватить с собой карабин. Но Наташа увидела, как я тайком заворачивал его в куртку.

— Это еще зачем? — шепотом, но очень сердито спросила она.

— Так,— шепотом сказал я.

— В море кабаны не водятся,— сказала она, забирая у меня сверток.

С этим я, конечно, не спорил.

— Немцы хоть они и очень спокойные, но всегда все замечают и обо всем делают свои немецкие выводы, а нам это не надо.— Она потрясла свертком.— Мы — маленькие тихие мышки...

Я, конечно, не возражал, но все-таки почему-то были у меня предчувствия.

— Поеду-ка я с тобой — что-то ты не нравишься мне сегодня,— и Катю с собой возьми...— сказала Наташа.

Мы поехали, вернее, вышли все вместе. Старик Отто не возражал против двух красавиц на судне, о чем-то болтал с Наташей, пока я вытаскивал сеть из стариковского пикапа.

Я не знаю, как назвать этот корабль, катером — вроде нельзя, для сейнера — маленький, для лодки — большой, может быть, это баркас, но я не знаю, бывают ли у немцев баркасы. Одним словом, в длину у него было 11 моих шагов, а в самом широком месте чуть меньше трех. Все было аккуратненько, по-немецки: рубка, каюта, где можно даже поспать на двух койках, машинное отделение с

мощным дизелем, холодильное отделение для свежей рыбы и даже аккуратенький туалет с душем.

Мы вышли недалеко, к Даггер-банке, это чуть дальше Восточно-Фризских островов, у старика было там место, которое он любил, сделали два хороших заброса — я выходил на надувной лодке — и наполнили почти двадцать лотков в холодильной камере.

Наташа приготовила нам поесть — что здесь не проблема, старик дал мне порулить, или, как там у них, поштурвалить, указав путь по компасу. Дал посмотреть в бинокль, это был отличный бинокль, я увидел километра за три какое-то суденышко, которое шло вроде бы в нашу сторону, и все шутил и хлопал меня по спине.

Наташа вдруг кинулась его целовать, а он смеялся и показывал в мою сторону. Она подошла и обняла меня.

— Милый, этот чудесный старик хочет взять тебя в компаньоны, — сказала она.

— Это неплохо, — сказал я, потому что это было действительно хорошо, и улыбнулся старику.

Он подмигнул мне и показал большой палец.

— Правда, он не может платить тебе пока хорошо — всего 20 марок.

— В месяц? — спросил я.

— В день, — сказала она.

— Да я за такие деньги сам буду у него вместо баркаса! — закричал я от радости.

Старик начал смеяться, будто что-то там понимал.

— Нет, милый, это тебе не удастся, — сказала она.

— Почему? — спросил я, мне хотелось петь и смеяться.

В этот момент к нам подошло судно, которое я видел в бинокль.

— Вы, бляди, — сказали оттуда по-русски, — будете дергаться, потоплю всех к такой-то матери! У меня базака!

Да, подумал я, карабин бы мне очень не помешал.

Это было такое же судно, как у нашего старика. За штурвалом стоял старик. За всякими надстройками прятались четверо наших молодцев, наставив на нас автоматы. У пятого, действительно, была базака.

Наташа застыла, я никогда не видел ее такой бледной и такой напуганной.

— Добегалась, курва? — спросил ее оттуда длинный красивый тип.

Да ладно, подумал я, дал полный газ и крутанул штурвал в их сторону. Тут рассвирепел мой старик, оттолкнул меня от штурвала, сбросил газ и не дал нам столкнуться — немцы очень любят порядок.

Те, якобы «наши», эти долбанные качки —

откуда они все повылазили, когда все накачались? — влезли на наше судно. Они, видно, знали меня, один, это уже шестой, остался на том судне и держал меня под прицелом.

— Сука! — сказал длинный Наташе. — Я тебя так накажу, весь мир вздрогнет.

Наш старик начал качать права. Его, не споря, пристрелили в живот и спихнули за борт.

Наташа страшно закричала и схватила Катю на руки. Я пока что молчал, эти гады стояли вразброс, ну, совсем неудобно, и тот, что «шестой», не отводил от меня ствол РПК.

— А тебя опустим хором до нижней точки... красавчик, — это относилось ко мне.

— Это немец, глухонемой, будете за него отвечать! — сказала моя дорогая Наташа.

— Ну что, глухонемой, ты, говорят, большой любитель подраться, давай выходи — один на один, — длинный отдал своему автомат, оставив в руках только дубинку, наподобие нашего «демократизатора».

Я вышел. Он, засмеявшись, легонечко ткнул меня этой дубинкой. Что-то я уже который раз покупаюся на электрошоке. Это был сильнейший разряд, не знаю, как там меня дергало и выгибало, но мне показалось, уже все, конец, я побывал там... Только слышу, будто Катенька плачет. Тихо-тихо, издалека, из тьмы.

Я чуть открываю глаза, больше они у меня почему-то не открываются, вижу, Наташа бьется в немой истерике, ее держат два здоровенных амбала.

Еще один держит Катеньку, а другой негодяй, сняв с нее трусики, смазывает вазелином библейское место. А длинный мажет вазелином свой огромный член.

Руки были у меня за спиной, а на руках были наручники. И в теле, кроме ломоты и боли, ничего не было, никакой силы.

— Смотри, сука, — сказал длинный Наташе и велел своим: — Пошире, — и шагнул к девочке.

Я все же, хоть чуть-чуть, но пришел в себя. Я вскочил и со страшным воплем, который, наверное, потряс всех, срубил этого гада двумя ногами. Он взвыл страшнее меня, наверное, я перебил ему позвоночник.

Я пролетел сквозь него и вскочил на ноги. Никто не знал, что у меня хорошая выворачиваемость суставов, я вывернул руки над головой, шархнул блондина обеими кулаками по голове, выхватил у него автомат. Раньше я не видел таких конструкций. Но машинка была рабочая. Одной очередью я распотрошил четверых.

Тот, у кого я был на мушке, открыл было по мне стрельбу, старик с того судна шархнул его по голове ломом и, как падаль, скинул за

борт. Сам тут же пустил двигатель и помчался от нас в сторону берега.

Наташа сидела на палубе, крепко обхватив Катю, и смотрела на меня обезумевшими глазами. Ее колотила крупная дрожь. Катя тихонечко плакала.

— Сейчас, — сказал я моим дорогим девочкам. — Сейчас будет полегче.

Я пошел в рубку за лекарствами. По дороге на всякий случай собрал все оружие. Нашел у одного ключ и снял с рук наручники. Один автомат был мне знакомый — «Калашников, укороченный», другой тоже вроде был наш, то ли «Кедр», то ли «Кипарис», я их всегда путаю, три других, наверное, были немецкие или еще чьи. Раны у всех, кого я убил, были страшные, пули из такого оружия летят, переворачиваясь через себя, и, попав в кого-нибудь, еще потом летают по телу.

Я взял с собой всю аптечку, взял воду, она у них вся в пластиковых бутылках. Автоматы оставил в рубке, взял с собой только «Калашникова» и вернулся к своим девочкам. Они сидели так же, как и сидели.

— Сейчас, лапонька... сейчас все пройдет... Я дал Наташе попить воды, ее зубы не разжимались, я еле разжал, потом они колотили по краю пластмассового стаканчика. Дал попить Кате.

— Дринки, Кэт... дринки... — Она вроде бы поняла.

Я не видел спиной, что один из них в этот момент зашевелился, и никто меня об этом не предупредил. Я разглядывал аптечку и думал, может быть, сделать Наташе какой-нибудь хороший укольчик. Нашел. Кажется, это был промидол. Взял разовый шприц, зубами разорвал облатку, поставил иголку, сломал ампулу, набрал промидол в шприц, воткнул иголку в бедро. Я склонился и поцеловал его.

Если бы я это не делал, наверное бы, Наташа осталась жива. Потому что именно в этот момент тот блондин, вытащив из-под плечной кобуры ПМ, поднял его двумя руками и шарахнул мне в спину. Меня только ожгло по левой лопатке, а Наташе попало в живот.

Ох, какое это было несчастье. Я тут же искромсал его из «Калашникова», но это уже ничего не меняло...

Этот «ПМ» делает страшные раны, его убийная сила на километр. У Наташи был разворочен весь низ живота, я не знал, что с этим делать. Я поставил ей еще два укола, один вроде от столбняка, а другой — морфий. Потом наложил индпакет и обклеил пластырем. Катя смотрела на это, но было как-то не до нее. Наташа, кажется, уходила.

— Тебе больно? — Я представляю, какая это страшная боль.

— Нет... спасибо, милый... Катю... оставь Полине... Я не умру?

— Нет. Ты только чуть потерпи, сейчас мы приедем, — я взял ее на руки и понес, чтобы положить в удобное место, за рубкой. — Катя... Катя!..

Катя пошла со мной, я прихватил еще сумку с медикаментами.

— Какая ты легонькая, Наташа... милая ты моя...

Она попробовала улыбнуться и почему-то заплакала — не то чтобы как человек, просто покатались слезы.

Я положил ее на ровное место и сделал еще один укол морфия, чтобы не было хотя бы больно. Она пошевелила губами и попросила глазами, чтобы я наклонился. Я наклонился.

— Почему ты не предложил... венчаться... там... когда крестили...

Я еле разобрал, что она шептала.

— Я не знал, — сказал я. Я, правда не знал.

— А я загадала... если ты... предложишь, будет все хорошо... а ты мне не предложил... — На этот разговор, кажется, ушли последние силы. Ее нос на моих глазах обострялся, а губы белели.

— Я предложу, я обязательно предложу. Ты только, пожалуйста, потерпи... — Я ревел, слезы у меня катились...

— Я... терплю...

Я гнал это судно на самой огромной скорости. Я хотел успеть. Я даже не остановился, когда увидел судно второго старика, у него что-то случилось с мотором, он мне махал рукой, показывая канистру.

Но я не успел. Она умерла. Я почувствовал этот миг. Я скинул скорость и закрепил руль. Я склонился над ней, мне казалось, я видел, как отходит ее душа. Я закрыл ей глаза и сложил на груди руки. Я взял Катю и отнес вниз в каюту, там было самое безопасное место. Потом я взял базуку и посмотрел, как ею пользоваться. Кажется, я разобрался. Я вытащил все деньги, все документы у тех, кого я тут уложил. Я взял у одного сигареты и закурил, хотя после армии я не курил. Я выкинул их всех за борт, чтобы не смердили воздух рядом с Наташей.

Я проверил, как наполнены магазины и, опробовав, сложил все оружие в рубку, себе под руки.

Потом я встал за штурвал, врубил «самый полный» и понесся к берегу по компасу.

Мне повезло, я вышел на нужную точку.

Эти гады здорово нас уважали. Они приехали за нами на трех машинах. Они не знали, на каком судне мы должны подойти, и лупились на нашу «Элизабет». Я сбросил скорость и стал смотреть на них через бинокль. Двоих я знал, они были связаны с «мерседесом» и героинном. Остальных я, может быть, тоже знал, но они сидели в «джипе», это был отлич-

ный автомобиль, могучий, с высокой посадкой. Их было в нем четверо.

Я закрепил руль носом на этот «джип» и приложился к базуке. Я терпеливо ждал, когда до берега останется метров сто.

Они, кажется, увидели, что у меня в руках, и выскочили из машины. В этот момент я нажал на спуск. Я попал точно туда, куда целил. «Джип» разворотило. Потом он взорвался.

Остальных я щедро полил из «Калашникова». Я вышел из рубки и поливал, веером, от живота. Я надеялся, может быть, и меня убьют. Они стреляли, но никто не попал. Попадал я.

А теперь я стою на самой высокой дюне и смотрю на место, где я был так счастлив все это время. Сейчас четыре утра, солнце только встает, поселок спит. Там, на кладбище, навсегда осталась Наташа.

«...Я никак не мог оторваться от места, где мы были так счастливы и думали, что так будет всегда.

От этого моря. От этих дюн. От их покоя...

Там, на кладбище, осталась Наташа.

У Полины осталась Катя.

А у меня было еще одно дело...

И наверное, я сюда никогда не вернусь...

Спасибо всем, кто живет здесь.

Благословенен ваш сон и радостно пробуждение...»

Я сел в машину, одну из тех, на которых приехали за нами эти ребята. Поправил под сиденьем «Калашникова-УКА». Поправил курточку на крючке, подвернул, подтянув, тесемку, чтобы не выглядывал «Кипарис». Остальное оружие, а я взял всё, я спрятал в багажнике.

Еще раз просмотрел те шесть паспортов, удостоверений и водительских прав, что у меня остались от них. Среди них был тип, который сильно смахивал на меня. Я оставил его документы себе, остальные спрятал по-дальше.

Я выехал на автобан и повернул в ту сторону, откуда приехал сюда две недели назад с дорогами моими Наташей и... нет, Катя ведь жила здесь.

Я должен был разобраться с ними со всеми, чего бы мне это ни стоило.

---

## Сценарий

### «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» ПРОДАЕТСЯ.

По вопросу приобретения обращаться  
в редакцию журнала  
«К И Н О С Ц Е Н А Р И И»

п о а д р е с у: 103006, Москва,  
Воротниковский пер., д. 12  
и т е л е ф о н а м: 299-11-78, 299-47-74



В роли графини Призоровой — Людмила Мордвинова

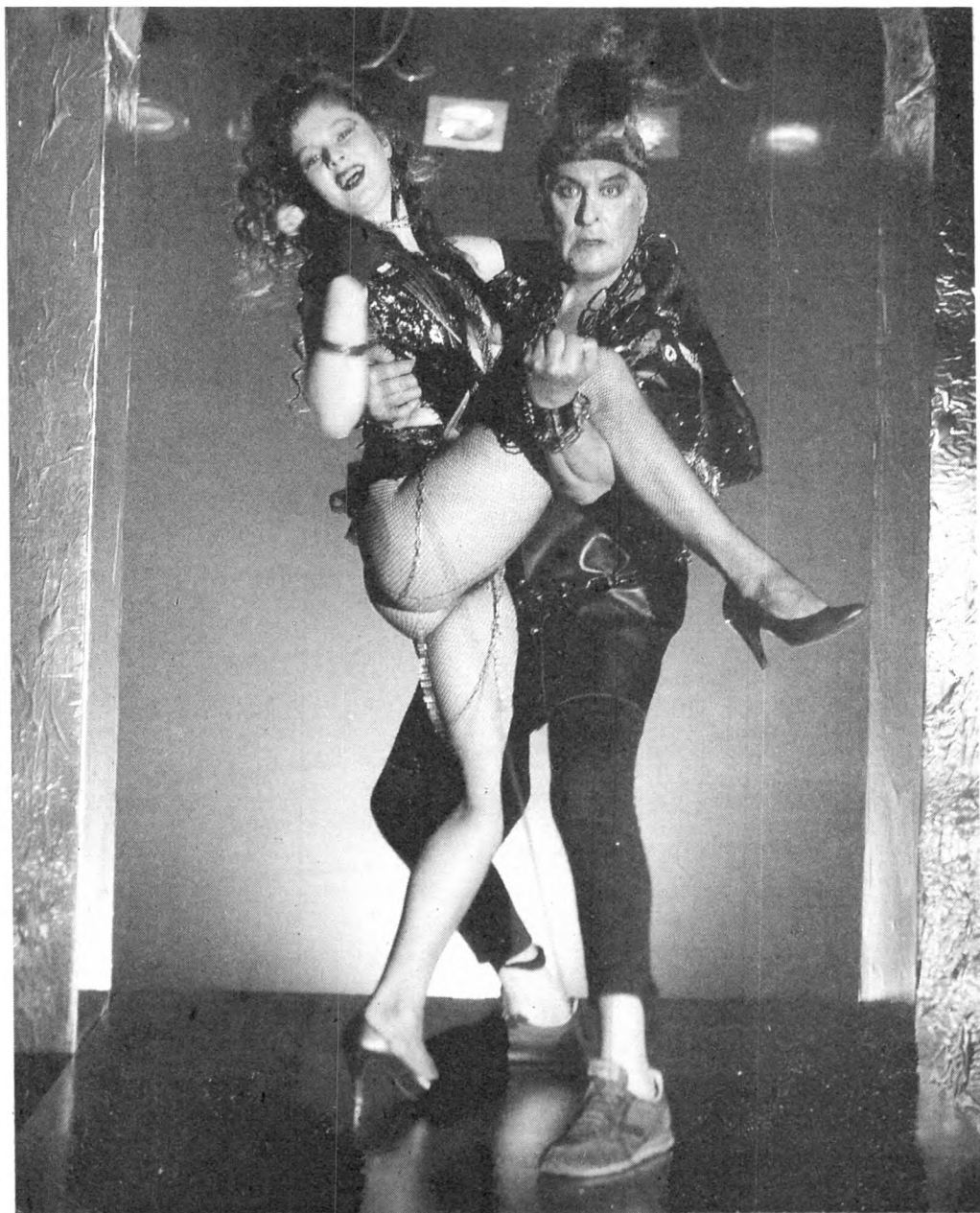
**Фильм Карена Шахназарова и Александра Бородянского  
«Сны» вышел на экраны страны!**

**Смотрите в кинотеатрах и читайте в нашем журнале —**

---

**АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!**

---



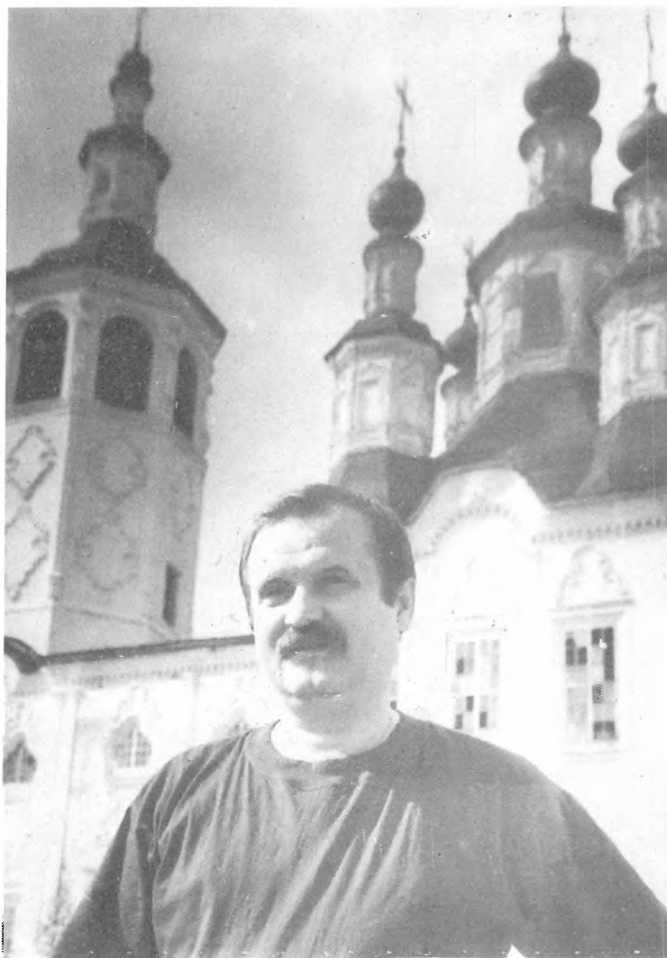
В роли Димы Пригорова — Олег Басилашвили,  
в роли Маши Степановой — Людмила Мордвинова

**сценарий был напечатан в третьем номере за этот год! Вы можете купить этот номер журнала в редакции по адресу: 103006, Москва, Воротниковский пер. д. 12. т. 299-11-78.**

**АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!**

# ВАЛЕРИЙ ЧИКОВ,

автор сценария и режиссер:



*Между литературным сценарием и готовым фильмом лежит две пропасти: поиска финансов и самого производства. Я проклинаю обе. И тем не менее фильм по этому сценарию снят. Можно подсчитать потери, утереть сопли и слезы. И жить дальше. Надеюсь, уважаемый читатель, чтение данной «нетленки» не очень испортит Вам настроение.*

С уважением



# ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ

«Не ходи по косогору,  
сапоги стопчешь».  
Козьма Прутков

## ГЛАВА I БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ

Иван Ксенофонтович даже и не подозревал о яростных баталиях между патриотами и космополитами по поводу того, кто спойл Россию, а если бы и подозревал, то лишь подивился бы человеческой глупости, ибо давно уже перешел на самообслуживание, для чего в сарае был сооружен аппарат со змеевиком. Производительность была приличная: хватало и выпить, и опохмелиться. А при желании и соседа опохмелить.

Иван Ксенофонтович вывел аппарат на режим, когда скрипнула дверь. В проеме появилась лохматая голова соседа Фомы Дракина.

— Ну? — спросил Иван Ксенофонтович.

Фома тряхнул тяжелой головой:

— Не помнишь, кому я вчера дрова привозил?

— Мне, — ответил Иван Ксенофонтович. Потом посидели...

— Так я чего, на автопилоте?

— Вроде того.

— Поправишь?

— Присаживайся.

Деревня Крутая Осыпь просыпалась рано, и уже взмывали во дворах коровы перед дойкой, и уже бойко затарахтел пускач возле мехцека.

— Провалилось, — Фома занюхал самогон рукавом, поморщился. — Горит?

— Обижаеть, — Иван Ксенофонтович сунул палец в стакан, обмочил как следует. — Зажигай!

Фома чиркнул спичку. Палец загорелся голубым пламенем.

— Сорок, не меньше, — оценил Фома.

— Вся полсотня будет. Водка сорок — попробуй подожди. Хероньки! Полсотни — не меньше.

— Пожалуй, — кивнул Фома.

От речки поднимался вверх и прямо на глазах истаявал белый туман, «журавль» со скрипом окунул свою голову-ведро в колодец,

а в сарае шел своим чередом незатейливый опохмел. Уже захорошело, но до песен было еще далеконочко.

— Брежнева-то хоть обратно откапывай. Жили-не тужили.

— Говорят, челюсть вставная была.

— Челюсть, может, и вставная, а бабу свою на самолетах за границу не катал.

— А нынешние депутаты чего? Одну чушь по телевизору несут.

— Лучше бы они несли яйца, — помечтал вслух Фома.

Снова выпили и занюхали. Захорошело как следует.

— Настроенье — хоть женись! — похвастался состоянием души и тела Фома.

— В мусульманы запишись, у них баб можно много иметь, — посоветовал Иван Ксенофонтович. — Тюбетейку купить, ноги калачом.

— Моя всех загрызет... Ревнивая, зараза, — не без гордости заметил Фома.

— Со вставной челюстью не жилось, свободы захотелось, — опять перескочил на политику Иван Ксенофонтович.

— Да какая свобода? Раньше бутылку в магазине возьмешь, под кустом раздавишь, баба на себе домой приволокет — это я понимаю — свобода. А теперь не свобода, теперь — каторга!

— Возьми зайца. Где нынче заяц? Удобренья сыплет, мыши не найдешь. Речка есть, рыбы нет. Почему?

— Да какая речка, кура вброд перейдет, а раньше баржи таскали.

— Насчет куры ты зря, — обиделся за речку Иван Ксенофонтович.

— Зря не зря, а на своем тракторе в любом месте перемахну.

— Остынь.

— Перемахну! — завелся Фома. — Доказать?

— Докажи.

— Нет, доказать?

— Докажи.

— Идем.

Иван Ксенофонтович расположился на мосту, чтобы лучше было видно, как Фома будет доказывать.

Распутивая кур и будоража собак, Фома раскочегарил с угорчика синий «Беларусь» и на полном ходу врезался в водную преграду. Трактор, замедляя ход, все глубже уходил в воду, уже миновал середину речки, но тут его неожиданно подкинуло. Вероятно, колесо попало на камень. «Беларусь» накренился и с легким раздумием опрокинулся набок, скрывшись под водой. Не успели разойтись круги, как с шумным фырканием на поверхность вынырнула голова в матерчатой кепочке.

— Ну как, перемахнул?! — крикнул с моста довольный Иван Ксенофонтович.

Фома выбрался на берег и поплелся на мехдвор за гусеничной тягой.

Проиграл.

Директор АПО Зозулин ходил по кабинету туда-сюда и никак не мог понять:

— Почему ты туда попер? Мост же есть!

— Попробовать хотел.

— Чего попробовать?

— Перемахнуть.

— Так мост же есть!

— Есть,— соглашался Фома.

— Ну?!

Фома молчал.

— А если я с тебя за ремонт выдеру?

— Баба загрызет,— вздохнул Фома.

— А тебя и надо загрызть, мудака. Ты зачем туда попер, можешь объяснить?

— Так попробовать хотел.

— Чего попробовать?!

— Перемахнуть.

— Так мост же есть!!!

— Есть,— соглашался Фома.

Зозулин перестал ходить и обессиленно опустился на стул.

— Долго будешь ковыряться?

— Дня три... Вода в поршневую попала.

— Вон!!! — указал на дверь Зозулин.—  
Водолаз.

Через три дня Фома, как ни в чем не бывало, выехал в поле. За деревней объехал стоящую на обочине черную «волгу», водителем которой менял. колесо, а обладатель персонального транспорта с депутатским значком на груди прогуливался рядом, озирая нивы.

Неподалеку в поле стояла груженная соломой тележка, к ней и направил Фома свой «Беларусь».

Надо было прицепить тележку к трактору. Фома покрутил головой и махнул рукой празднично прогуливавшемуся дяде. Тот подобрал

животик и прямо по стерне зашагал на помощь сельскому труженику.

— Помоги прицепиться,— объяснил Фома.— Я сдамся, а ты дышло приподними.

— Понял,— депутату даже понравилось, что с ним вот так, запросто.

Он засучил рукава, приподнял металлическое дышло с кольцом. Фома подал трактор назад и высунулся в дверцу:

— Суй палец!

Дядя кивнул, мол все ясно, и сунул.

Фома тронул трактор вперед. Истошный крик огласил окрестность.

Когда черная «волга» умчала орущего от боли хозяина в ближайший медпункт, Фома лишь проводил ее взглядом, слегка опечаленный столь необычным вывертом.

И опять Зозулин гневно ходил по кабинету мимо Фома, который сидел на стуле и мял в руках матерчатую кепочку.

— Значит, суй палец?! — грозно допрашивал Зозулин.

— Так ведь понятно, что палец — это металлический шкворень,— оправдывался Фома.

— Кому понятно?

— Любому дураку.

— Да ты знаешь, кого ты изуродовал?! Ты же главу областной администрации без указательного пальца оставил!

— Жалко, конечно... — вздохнул Фома.

— Жалко?! А когда палец трактором ломал — чем думал? Ты же иезуит, Дракин! Это же надо додуматься — палец трактором изломать! И кому?!

Зозулин опустил на стул, налил воды из графина в стакан и залпом выпил.

— Давай по порядку, как на духу,— как дело было?

— Ну... суй палец, говорю.

— Дальше?

— Он сунул.

— Ну?!

— Я дернул.

— Оглянуться лень было? А если бы он другой палец сунул, ты бы тоже дернул?

— Какой другой? — не понял Фома.

— Которым тебя делали, но не доделали!

Фома потупился.

— Значит так, из района уже звонили — дело на тебя заводят. Пойдешь под суд за умышленное членовредительство! И запомни, я тебе такую характеристику напишу, всем чертям тошно будет!

— Я же ему палец, а не член... — побледнел Фома.

— Палец — тоже член организма. Суши сухари! — подвел черту Зозулин.

Он снова поднялся со стула и принялся ходить по кабинету.

— Клаву жалко... — Фома совсем поник.  
— Вспомнил,— Зозулин ядовито посмотрел на скукожившегося Фому.— Как она тебя терпит, ума не приложу?

Фома молчал.

— Лучшая телятница. У нее месячный тележок самого Рязанова перевесит, а что ты из себя представляешь?

Зозулин был прав, в данный момент Фома представлял из себя довольно жалкое зрелище.

— Это же надо додуматься — суй палец... — Зозулин постоял в раздумье, смерил Фому взглядом.— Клаве своей спасибо скажи.

Он вернулся на свое место, достал из папки чистый лист бумаги.

— Поедешь в область, любыми путями пробьешься на прием к товарищу Басурманову, упадешь на колени и будешь просить пощады, пока дело не раскрутилось на полную катушку. Все понял? Только я тебе этого не говорил, а ты не слышал. Бери бумагу и пиши заявление на два дня за свой счет. Напиши, что к врачам на обследование, боли в животе.

— В животе?

— В заднице! — разозлился Зозулин.— Это же надо было умудриться, трактором человеку палец изломать?!

Вечером Фома сидел на кровати, накрывшись одеялом, а Клава пришивала к его трусам потайной карман.

— Примерь,— она откусила нитку.

— Отвернись,— смутился он.

Неуклюже прикрывая голый передок, Фома натянул трусы.

Клава достала из комода пачку пятирублевков и попыталась засунуть их в потайной карман. От щекотки Фома поежился и легонько притиснул жену, но она отмахнулась.

— Ну как?

— Вроде нормально,— оценил Фома.— Сверху еще штаны, совсем незаметно будет.

— Сразу деньги не предлагай, издалека подъехай, мол не хотел, нечаянно получилось...

— Кого ты учишь?

— Тебя, дурака...— Она запустила руку в трусы, чтобы вынуть деньги. Фомой овладела страсть, он прижал Клаву к груди и уже обомлевшую понес на кровать.

Утром на автобусной остановке она долго провожала рейсовый автобус глазами, пока тот не скрылся за поворотом в дальнем конце деревни.

Российский флаг гордо полыхал над громадой административного здания бывшего об-

кома. Поменялась власть, поменялся и флаг. Но милиционер на входе был по-прежнему строг.

— Вы к кому? — козырнул он.

— К товарищу Басурманову,— ответил Фома.— Палец я ему трактором изломал, извиняться приехал.

Милиционер как-то странно и внимательно посмотрел на Фому.

— Вы записывались на прием?

— Фома Дракин я, механизатор, из Крутой Осыпи,— начал объяснять Фома.— Уголовное дело на меня завели, посадить могут.

Сержант стал еще внимательней.

— Ваши документы!

Фома достал паспорт из внутреннего кармана и протянул его сержанту.

Тот принялся изучать документ, проверил прописку и сличил фотографию с внешностью Фомы.

— Погуляйте минут десять,— сказал он Фоме и вернул паспорт.

Фома вышел на улицу. Сержант поднял трубку и набрал номер:

— Товарищ майор, сержант Дударик. Тут какой-то странный тип, прошу выслать ПМГ.

А Фома, ничего не подозревая, сошел по широким ступеням и огляделся по сторонам. Его внимание привлекла черная «волга», стоявшая неподалеку. За рулем читал газету тот самый водитель, который менял колесо на обочине возле деревни, а потом увез орущего от боли товарища Басурманова в ближайший медпункт.

Фома решил подойти.

— Что пишешь? — поинтересовался он.

— Муру,— водитель зевнул и повернулся к Фоме.

— Не узнаешь? Из Крутой Осыпи я, Фома Дракин, механизатор. Это я с товарищем Басурмановым тракторную тележку прицеплял, пока ты на обочине с колесом возился.

— А я гляжу, вроде физиономия знакомая,— узнал Фому водитель.— Какими судьбами?

— Дело на меня заводят, посадить могут за членовредительство товарища Басурманова. Приехал вот... пощады просить.

— Ну ты даешь! — хохотнул водитель.

— Не пускают, попросили погулять,— пожаловался Фома.

— Чудак! К нему директора заводов неделями попасть не могут, у него каждый день по минутам расписан.

— Как же быть?.. — растерялся Фома.— А я ему и деревенского гостинчика привез, жена собрала,— Фома показал пузатую авоську.— Окорок домашний, утка, лучок.

Водитель задумался.

— Окорок, говоришь?

— Маслят литровка, варенье.



Кадр из фильма. Фома — Михаил Евдокимов

Водитель смерил глазами увесистую авоську и вылез из машины.

— Маслята, говоришь?..

Он обошел машину и открыл багажник.

Фома все понял, поставил авоську в багажник. Водитель захлопнул крышку и сказал:

— Пошли.

Они обогнули здание и оказались у служебного входа, где рабочие в спецовках таскали какие-то ящики.

Прошли в здание, повернули налево, потом направо, поднялись по лестнице и оказались в широком коридоре с ковровым покрытием на полу.

— Значит так,— водитель взял Фому за локоть.— Вон та дверь — в приемную, а эта — в туалет. Зайдешь и будешь ждать.

— Долго? — спросил Фома.

— Как повезет. У него сахарный диабет, он каждый час отливает бегает,— полушепотом сообщил водитель.

Фому поразила белизна кафеля, чистота и порядок. Входили и выходили солидные дяди. Чтобы ожидание не выглядело чересчур нар-

читым, Фома пристроился к писсуару, изображая потребность в малой нужде. Оправившись и помыв руки, мужчины сушили руки с помощью электрофена. Эта штукавина так заинтриговала Фому, что он засмотрелся и чуть было не прозевал появление товарища Басурманова.

Правая рука у того была забинтована и висела на перевязи, он встал к соседнему писсуару и здоровой рукой расстегнул молнию штанов.

— Здравствуйте,— сказал Фома, желая завязать непринужденный разговор.

Басурманов повернул голову.

— Болит?

Басурманов всмотрелся в участливого собеседника, пытаясь припомнить, где же он видел этого человека.

— Не узнаете? — помог ему Фома.— Это же я вам — суй палец!

— Вы?!

— Я! — обрадовался Фома.

— Откуда вы здесь?!

— Через задний проход,— объяснил Фома.— Приехал прощения просить по поводу

членовредительства вашего пальца. Дело на меня завели...

— Какое дело?

— Уголовное.

Кабинет Басурманова был отделан деревом, имел кучу телефонов, длинный стол со стульями и гвоздь для портрета очередного президента.

— Просторно тут у вас,— оценил апартаменты Фома.

Секретарша внесла поднос.

— Как насчет чаю, Фома?

— Можно.

— Людочка, я занят,— предупредил Басурманов, проводив длинноногую секретаршу задумчивым взглядом.— Ну, рассказывай,— он уселся напротив Фомы.— Значит, уголовное дело завели, лизоблюды. Никак не изживем рецидивы сталинщины. Их хлебом не корми, дай только честного труженика за решетку посадить.

— Леньку Малахова, честного труженика, тоже недавно посадили,— пожаловался на милицию Фома.

— А его за что? — заинтересовался Басурманов.

— Ни за что — бабу свою маленькую погонял.

— И только?

— Соседи вступились, их тоже погонял.

— Чем?

— Оглоблей. Наряд из района вызвали, приехали двое на мотоцикле — их тоже оглоблей приголубил. Оба теперь в больнице поправляются, а Леньку мужики полотенцами связали. Теперь сидит — честный труженик.

— Ну, это совсем другое дело, Фома... Это же чистая уголовщина.

— Да какая уголовщина — с бабой не поладил.

— А оглобля, а сопротивление работникам правоохранительных органов?

— Так не лезьте, мало ли чего у мужика с бабой не заладилось.

— Ну хорошо, Фома, а как идет у вас в деревне земельная реформа?

— А никак,— ответил Фома.

— Что значит — никак?

— Понимаете, товарищ Басурманов... Нам бы застой взад вернуть.

— Ошибаешься, Фома.— Басурманов от такого высказывания поднялся и взволнованно заходил по кабинету.— Застой — это экстенсивный путь развития экономики, всеобщее обнищание, разбазаривание недр и ресурсов, коррупция, взяточничество.

Фома согласно кивал.

— Правительство мучительно ищет выход, и мы его обязательно найдем!

— Мужики говорят, есть два выхода,— встал Фома.

— Ну-ну,— заинтересованно подсел к нему Басурманов.

— Есть фантастический выход и есть реалистический.

— Так-так...

— Реалистический — это дожидаться, когда прилетят гуманоиды и помогут нам встать на ноги.

— А фантастический?

— Это самим подниматься, под вашим руководством.

Глава областной администрации кисло улыбнулся.

— Какой неблагодарный все-таки у нас народ,— тяжело вздохнул он.

Выходя из здания, Фома козырнул сержанту Дударнику.

— Вы? — заморгал сержант.

— Так точно!

— Каким... образом?

— Через задний проход. Покалякал с товарищем Басурмановым, хороший оказался мужик, обещал уголовное дело прекратить.

Сержант словно лом проглотил.

— Я ему деньги предложил, Клава в трусы зашила. Не взял. Честный человек, любит простого труженика. Ты его как следует охраняй,— дал напутствие Фома, дружелюбно хлопнул сержанта по плечу и вышел на улицу.

Все складывалось распрекрасно, не грех было пропустить и стопаря, но Фома решил потешить себя пивком, ибо не пил заводского пива года три, а может, и все пять.

В пивной было накурено, наплевано и наблевано. Мужики пили пиво из банок, молочных пакетов, а кто-то умудрялся даже из кепки.

— Отлакируем? — спросил Фому небритый тип и показал «фугас». — Скорость — восемьдесят, пятнашка стакан. Махнешь?

— Можно,— согласился Фома. Душа не противилась лакировке.

Небритый зубами вскрыл «фугас», достал из кармана стакан, обдул табак.

— С карбюраторного? — спросил он и налил стакан до краев.

— Из деревни я,— сказал Фома.

— А я с шинного. Зарплату шиной выдали. Обменялся с соседом на «фугасы» — бартер. Последняя,— щелкнул он по бутылке.

— Давно гуляешь?

— Недавно, третий день. Сало есть?

— Есть.

— Доставай, занюхаем.

— С собой нет. Дома,— объяснил Фома.

— Дома у меня жена и усатая теща в придачу,— небритый подвинул стакан.— Держи.

Фома взял стакан и обстоятельно выпил до сухого доннышка.

— Дустом шибает,— он придавил портвейн пивком.

Небритый налил себе. Его слегка поколачивало, но он не расплескал ни капли. Выпил и выпучил глаза, прислушиваясь к организму. Вероятно, портвешок просился наружу, но небритый усилием воли удержал его в себе.

Полегчало.

— Плати,— сказал небритый Фоме.

Фома без лишних слов отсчитал пятнадцать рублей.

— Ну что, деревня?

— Жить можно,— ответил Фома.

— Вот и я говорю. Механизатор?

Фома кивнул.

— А я знаешь кто? — Небритый поманил пальцем Фому и шепотом доложил: — Ракетчик. Только тс-с-с.

— А говорил — с шинного.

— Кон-спи-ра-ция.

У соседнего столика вспыхнула драка. Небритый рванулся туда, резко получил по физиономии и отлетел обратно. Фома придержал его, не дав упасть.

Клубок человеческих тел покатился к выходу, сбивая на пути столы и пивную посуду. Небритый схватил «фугас», словно гранату, и хотел снова ринуться в бой, но Фома заступил ему дорогу:

— Остынь. Гуляют ребята, зачем мешать?

Небритый поерепенился для порядка, но получать второй раз по физиономии ему явно не улыбалось.

— Ладно,— согласился он.— Где «аршин»?

Фома нашел стакан под столом.

Додали «фугас».

Небритый достал из кармана пятнадцать рублей, которые выплатил ему Фома, и спросил напрямик:

— Добавишь?

— Можно,— согласился Фома.

«Москву» давили в подворотне.

— Вызывает к себе Андропов. «Почему ракеты плохо летают?!» Приезжаю на ракетодром,— рассказывал небритый,— генералы по стойке «смирно». Я им: «Почему ракеты плохо летают? Всех в дисбат, в бога душу мать! Заряжай! Сажусь в ракету!..»

— А я на своем тракторе через реку хоть бы хер,— вставил Фома.

— Зачем тебе трактор? Дам ракету, будешь через реку на ракете летать.

— Буду,— кивнул Фома.

— Генералов в дисбат! — Небритый присосался к бутылке как следует.— Ты кто?

— Механизатор,— напомнил Фома.

— Будешь космонавтом.

— Ладно,— согласился Фома.— Только надо Клаву пре-ду-пре-дить...

— Клава будет вместо Терешковой. Сделаю,— пообещал небритый.

Водку лакировали «Наполеоном» на скамейке в сквере. Уже вечерело, и потянуло на лирику.

— Ты на-кин, до-ро-гая, на пле-чи о-орен-бургский пуховый пла-ток... — неожиданно затянул собутыльник Фомы и отчего-то заплакал.

Фома тоже чуть не прослезился.

— Я его-о ве-че-ра-ми вяза-а-ала-аа...

Подъехал «воронок», из него вышли два милиционера, послушали дуэт и приступили к погружению.

Небритый было заартачился, но милиционеры использовали «демократизатор» — резиновую палку. Погрузили.

«Воронок» лихо развернулся и покатил в учреждение, увозя в своем чреве растроганных солистов.

«Я го-то-ва тебе-е, до-ро-га-я, не пла-ток, даже сердце от-да-а-ать...»

Проснувшись, Фома не сразу сообразил, что к чему. Железные койки в два ряда, зеленые стены, решетки на окнах. Скромненько и со вкусом.

Вошел тучный сержант, оглядел контингент и зычно рявкнул:

— Чумаков!

На соседнем ряду под белой простыней зашевелился вчерашний собутыльник.

— На выход! — скомандовал сержант.

Только теперь Фома окончательно понял, что к чему. Он попытался напрячь память, но голова походила на чугунок с квашеной капустой и отказывалась соображать.

Фома огляделся по сторонам и задержал взгляд на соседней койке, где поверх простыни в сатиновых трусах лежал тощий иссиня-желтый субъект. Лежал он с открытыми глазами и смотрел в потолок.

— Тупик! — вдруг нервно проговорил он.

Фома тоже перевел взгляд на потолок, куда смотрел сосед, но никакого тупика, кроме разводов на пожелтевшей побелке, не обнаружил.

Сосед резко повернулся к Фоме:

— Тупик! Страна дефицитов и очередей!

— Это верно,— согласился Фома.

— Ты кто? — резко спросил субъект.

— Фома Дракин я, механизатор, из Крутой Осыпи.

— Почему здесь, почему не в поле?! — взвился субъект.— Где твое чувство хозяина? Почему не сеешь и не пахешь?

— Посевную закончили,— объяснил Фома, несколько озадаченный таким напором.— Теперь сенокос.

— Почему не косишь? Животноводство в упадке, не хватает кормов, сокращается поголовье, падают удои! Страна в анусе!

Фома почувствовал себя, как на собрании в родной деревне.

— Где страна? — осторожно переспросил он.

Но тут отворилась дверь, и в проеме снова возник сержант.

— Абакумов-Зарайский! — скомандовал он.

Сосед по койке резко сел.

— На выход!

Сосед встал, широко запахнуллся простыней и гордо зашагал на выход. Однако по мере приближения к сержанту осанка его становилась более угодливой. Когда он поравнялся с сержантом, тот неожиданно выписал клиенту хлесткий подзатыльник.

Абакумов-Зарайский нервно вскинулся, отпрянув от сержанта:

— Товарищи! Вы все будете свидетелями! На ваших глазах происходит нарушение Хельсинкского соглашения! Конституция гарантирует неприкосновенность, я требую прокурора!

— Я тебе дам прокурора,— кивнул сержант.— Ты нам что обещал на прошлой неделе?

— Как вы обращаетесь с постоянным клиентом?! Я буду жаловаться! — звонко обиделся Абакумов-Зарайский.— Прокурора сюда!

Сержант сграбастал его в охапку и закрыл дверь.

Такой оборот заставил Фому задуматься. Неожиданно он вспомнил о деньгах, скинул простынь и лихорадочно оцупал трусы. Денег в потайном кармане не было.

## ГЛАВА II С ЦАРЕМ В ГОЛОВЕ

— Вчера я, кажется, пел...— Фома походил на побитую дворнягу.

Капитан за свою жизнь повидал разный контингент и все же не перестал удивляться человеческому многообразию.

— С утра, может, и пел, но когда к нам привезли, ты даже хрюкнуть не мог. Кобзон!.. Фома стало стыдно.

— Часы, мелочь, ключи — распишись.

Фома расписался.

— Бумаги будут направлены по месту работы, штраф уплатите по месту жительства. Возьмите квитанцию.

Фома взял квитанцию.

— Свободен. Шкварко, где ты там?

— А деньги? — спросил Фома.

— Какие деньги?

— У меня были деньги, Клава в трусы зашила.

— Какая Клава?

— Моя жена.

— Передавайте привет. Трусы на вас?

— На мне.

— Свободен. Шкварко, давай следующего!

Ночлег в казенном доме и таинственное исчезновение денег заставило Фому задуматься. На автовокзале он внимательно изучил расписание, но денег на билет не было.

Захотелось в туалет, куда Фома и направился. Но на входе в туалет его ожидал неприятный сюрприз в виде металлического турникета. Сбоку сидел старикан в кепке и зорко наблюдал за входящими.

Туалет оказался платным, поворот турникета стоил двадцать копеек.

— Автоматика,— пояснил старикан.— Платите и получайте удовольствие.

— За что платить?

— За услугу.

— Мне по-маленькому,— объяснил Фома.

— По-маленькому, по-большому — без разницы.— Старикан был неприступен.— Приспичит — заплатишь.

— Уже приспичило...— Фома отошел в сторону.

Он, конечно же, слышал о платных туалетах в городе, но сам с таким безобразием столкнулся впервые. Фома пошарил в карманах и наскреб медяки, которые ему вернули в вытрезвителе. А мимо тем временем входили и выходили люди, бросая монеты в «автоматику».

— Ну что? — спросил старикан.

— Медью возьмешь? — Фома протянул ему мелочь.

Старикан пересчитал.

— Проходи.

Фома прошел через турникет под букву «М», спустился на несколько ступенек и... остолбенел. После грязной пивной, вытрезвителя и зала ожидания ему показалось, что он ошибся и попал куда-то не туда. Белизна кафеля и раковин, зеркала, никелированные краны, а посреди всего этого чуда стояла бочка с фикусом. Да еще эти электрические штуковины для сушки рук импортного производства, получше, чем на этаже у товарища Басурманова.

Из туалета Фома вышел опрокинутым.

— С облегчением! — сохмил старикан, но Фома было не до шуток. Он был потрясен.

А мимо входили и выходили люди, и деньги неиссякаемым звонким ручейком текли в нутро «автоматики».





Кадр из фильма. Клава — Нина Русланова, Фома — Михаил Евдокимов.

— Хорошо зарабатываешь? — не удержался от вопроса Фома.

— Не жалуюсь,— старикан был доволен, что этот неотесанный мужик буквально ошарашен услугами платного заведения.— Я тут по найму.

— А хозяин кто?

— Коммерческая тайна,— насторожился старикан.

— Башковитый малый... Это же золотая жила.

— Рынок.— Старикан был уже и не рад, что колхозный мужик прилип к нему, как банный лист.— Товарищ, вы сделали свое дело, не мешайте другим.

Фома задумчиво направился в зал ожидания, но вскоре вернулся обратно.

— Послушай, дед, мне домой попасть надо, а денег на билет не хватает. Купи часы,— предложил Фома.

Старикан с недоверием взял часы, послушал ход.

— Семнадцать камней.

— Двух не хватает: на один положить и другим прихлопнуть.

Шутка была с бородой, и Фому не рассмешила.

Старикан вернул часы. Фома еще потоптался возле турникета, наблюдая входящую и выходящую публику, и опять поплелся в зал ожидания.

— Эй, погоди! — окликнул старикан.— За четвертак отдашь?

— Баба живо съест,— ответил Фома.

— Пятьдесят — край! — Старикан был хитер и успел поднатореть в рыночной экономике.

Рейсовый автобус с трудом полз по разбитой колее центральной улицы деревни и встал возле конторы. Из него выбрались очумелые после такой езды пассажиры. Последним шагнул на родную землю Фома. Вид у него был необычен и напоминал революционного матроса, с той лишь разницей, что грудь ему перепоясывали крест-накрест не пулеметные ленты, а гирлянды туалетной бумаги.

В таком виде, пройдя через калитку родного дома, он и предстал перед Клавой. Она в это время кормила поросенка из корыта.

Животное с аппетитом уминало зеленую сечку.

— Фома? — выдохнула она и недоуменно уставилась на экипировку мужа.

— Вот так, Клава,— многозначительно произнес он.

— Рассказывай,— заволновалась Клава.— Не тяни душу.

— Все нормально, переговорил с товарищем Басурмановым. Обещал дело прекратить.

— Слава богу...— Клава устало опустила на завалинку.— А чего такое накупал-то?

— Туалетная бумага.— Фома присел рядом.

— Куда ее столько, газету же выписываем. Или в городе понос пробрал? — пошутила Клава.

— Дело свое решил открыть.

— Какое дело? — озоботилась Клава.

— Увидишь. Теперь заживем. Пальто тебе новое справим, у этого воротник совсем вывалялся.

— Да куда мне...

— Справим,— повторил Фома.— И сапожки, и туфельки на тоню-юсеньких каблукках. Будешь ходить: цок-цок-цок.

— Да какие каблукки, у нас в броднях не пролезешь.

— Бусы янтарные! — Фома не обращал внимания на возражения жены.— А себе возьму мотоцикл. Двухцилиндровый. С коляской.

Она отстранилась, спросила осторожно:

— Что с тобой, может, заболел?..

— Заболел,— признался Фома,— только не поносом.

— Деньги-то взял?

— Кто?

— Да Басурманов этот.

— Взял. Нормальный оказался мужик. Обещал все уладить. Я и за Ленку Малахова слово замолвил.

— Фома...

— А что? Говорю, посадили честного труженика. Да, Клав, часы ему мои понравились, пришлось подарить.

— Ну и ладно,— зачастила Клава.— И бог с ними, с часами, новые купим.

— Электронные,— уточнил Фома.— На жидких кристаллах!

Он привлек жену к себе:

— Пить я бросил... Сбылась мечта идиота.

Он сказал это просто и тихо. Она недоверчиво повернулась к нему, на глазах сами собой проступили слезы.

— Не веришь? — спросил он.

Клава смолчала.

— Зря не веришь. Дело свое решил в деревне открыть — платный туалет.

Клава лишилась дара речи.

Он не дал ей прийти в себя, взял на руки и понес в дом.

Поросенок проводил их взглядом и снова уткнулся в корыто.

И опять Фома сидел в кабинете Зозулина и мял в руках матерчатую кепочку.

— Ссуду мы тебе, конечно, дадим, нет вопросов. Задумал строиться — стройся.— Зозулин смотрел на Фому хоть и с некоторым недоверием, но вполне благожелательно.— С цементом и шифером проблемы, конечно, будут, но главное — желание.

— Желание есть,— подтвердил Фома.

— С другой стороны, если нижние венцы подрубить, в твоём доме можно век вековать, да и дешевле будет. Подумай,— посоветовал Зозулин.

Фома продолжал тискать бедную кепочку и никак не решался сказать.

— Тут такое дело... — наконец произнес он.— Не дом это.

— Сарай? — насторожился Зозулин.

— И не сарай.

— Баня?

— И не баня.

— Ну?..— подался вперед Зозулин.

— Туалет,— сказал Фома.

Зозулин оцепенел и даже дышать перестал.

— Туалет?.. — тихо переспросил он.

Фома кивнул:

— Теплый, шесть на восемь. Из бруса.

— Шесть на восемь?.. — эхом повторил Зозулин.

— М-м.

— Из бруса?

— На цементном фундаменте, под шифером,— уточнил проект Фома.

В кабинете повисла пауза. Зозулин не сразу пришел в себя. Пауза затягивалась. Фома начал чувствовать себя неудобно.

— Ты что из меня клоуна делаешь?! — взвился из-за стола Зозулин.— По тебе психушка плачет, а ты мозги компостируешь! А я и уши развесил, думал, Фома за ум взялся, строиться надумал!

— Надумал,— подтвердил Фома.

Зозулин откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

— Иди, Фома,— попросил он.— Не доводи до греха.

Фома натянул кепочку на голову и направился из кабинета, но у двери все же обернулся:

— Так что насчет ссуды?

Зозулин заиграл желваками и нащупал рукою графин, но метнуть не успел — Фома проворно шагнул из кабинета.

К ферме Фома подъехал на велосипеде, приставил его к изгороди. Клава издали уви-

дела мужа. Телята тянулись к ней, тыкались мордами в передник. Но телята телятами, а муж есть муж, да еще с лицом темнее тучи. Подошла.

— Ну что, дал?

— Отказал, гад.— Фома стукнул кулаком по изгороди.

— Слава богу,— выдохнула Клава и этим выдала себя с головой.

Фома посмотрел на жену каким-то странным взглядом с потаенной грустинкой в глазах.

— Привыкли жить по законам стаи. Перед сильным хвост поджимаем, перед слабым зубы показываем. Но мы же люди, Клава. Понимаешь, люди! Нельзя так больше жить.

Клава не узнавала мужа.

— Завтра снова собираюсь в город.

— К товарищу Басурманову?

— Не угадала... В коммерческий банк.

— Фома...

— Вот так, Клава...

Банкиров было двое: один курил сигару, второй перебирал четки, и оба были совсем молоденькие, что особенно поражало Фому.

— Это все лирика, нужны гарантии. Кто может выступить вашим гарантом? — спросил тот, что перебирал четки.

— Я сам.

— А если дело прогорит, что прикажете с вами делать? Четвертовать? На кол посадить?

— У меня дом, огород, сарай, скотина.

— Это уже ближе,— кивнул второй.— Затея любопытная, но в случае банкротства все ваше имущество, включая дом и скотину, отойдет к банку. Вы отдаете себе отчет?

— Отдаю,— твердо сказал Фома.

— Мы подумаем.

Фома вручную укладывал бетон в ленточную опалубку фундамента. Трудился старательно и споро.

— Перекури, пупок надорвешь,— посоветовал из-за забора Иван Ксенофонович.

Фома присел на краж, вытер со лба обильный пот.

— Душновато, к ночи дождя нанесет.

— Идем, налью,— пригласил сосед.

— Не могу.

— Двойной перегон, для себя делал.

— Нет,— отрезал Фома.

— Скажи честно, чего ты задумал? — не унимался сосед.— Неужели и вправду сортир? Шесть на восемь — это же с ума сойти можно.

Затея Фомы не вмещалась в голову у Ивана Ксенофоновича.

— И неужели ты думаешь, что мы всей деревней будем к тебе гадить ходить?

— Будете,— заверил Фома.

— За деньги?

— За деньги.

Иван Ксенофонович расхохотался так, что слезы на глазах выступили.

Но в это время к новостройке подъехал трактор с прицепом, груженный брусом.

— Куда? — высунулся из кабины чумазый Сашка Попов.

Фома показал место, куда предстояло сваливать груз.

Иван Ксенофонович перестал хохотать, да и грешно смеяться над чужой бедой — Фома явно сошел с ума.

Пенсионер Лука Совков помимо прочих слабостей имел еще две: любовь к социализму и фотоаппарат «Смена».

При помощи первой удавалось всю жизнь занимать хоть и маленькие, но административные должности: от агента госстраха до заготовителя потребкооперации. При помощи второй удавалось зафиксировать иногда любопытные явления жизни и природы.

Фома сидел на срубе верхом и токал топором, когда услышал характерный щелчок. Обернулся.

С земли, припав на колено, на него выцеливал объектив «Смены» пенсионер Совков.

— Лучше бы ты нас с Клавой, на завалинке,— сказал Фома.

— С Клавой неинтересно.— Совков опять щелкнул затвором.— Зачем прокурору твоя Клава, скажи на милость?

— Какому прокурору?

— Районному.

Фома не понял.

— У меня вопрос.— Совков спрятал камеру в футляр.— Откуда деньги на строительство?

— Ссуду взял.

— Где?

— В коммерческом банке, под процент.

— Врешь.

— Зачем мне врать, документы в комод, все чин-чинарем.— Фома опять принялся тюкать топором.

Совков задумался.

— Запомни, Фома, я это дело так не оставлю,— решительно пообещал он и зашагал было прочь, но пришлось посторониться.

Навстречу ехал трактор с тележкой, груженной ящиками.

— Куда? — высунулся из кабины чумазый Сашка Попов.

— Давай к забору! — показал топорищем Фома.

Трактор по дуге объехал новостройку. Сашка спрыгнул из кабины на землю.

К нему тут же подошел Совков, достал из футляра аппарат:



Кадр из фильма. Праздник открытия

— Ты кому помогаешь? Он же всю деревню дураками решил сделать!

— Это еще до него было сделано,— не без зауми ответил Сашка.

— Ты это брось! — закипятился Совков.— Откуда груз?

— Со станции.

— А что в ящиках?

—Мрамор.

— Мрамор?... — опешил Совков.

— Красивая штука,— не удержался от восхищения Сашка.

— Он что, нужник строит или мавзолей? — Совков проглотил слюну.

— Ему клиента привлечь надо. Мавзолей из мрамора, так вон какая очередь.

— Над чем издеваешься, паразит?! Над святым делом издеваешься! — побелел Совков.

— А сам? Когда коммунаки из церкви конюшни делали, ты хоть и пацаном был, а первым на купол забрался, чтобы петлю на крест накинуть.

— Ты меня моим прошлым не тыкай, я этим всю жизнь гордился и гордиться буду! — рубанул воздух Совков.

Фома вышел из райсовета с папкой в руках и огляделся по сторонам. На душе был праздник, хотелось петь и плакать одновременно. Но жизнь внесла неожиданную коррективу.

В сквере перед райсоветом трое работяг накидывали трос на памятник. Вождь с кепкой в руке был незащищен и нем, даже когда один из работяг, конопатый детина, затянул петлю на каменной шее и затушил окурком о лысый череп Ильича.

Заурчал трактор, трос натянулся.

Фома проворно сбежал по ступенькам райсовета.

— Стой!!! — заорал он, размахивая папкой.

— В чем дело? — Конопатый спрыгнул с постамента.— Васька, давай!

— Погодите, мужики,— взмолился Фома.— Вы чего делаете?

— Демонтируем.

— Уроните — разобьете.

— А его и надо разбить, картавого.

— Статуй все-таки.

— Ну статуи... Опрятаем, только сборкает. Васька, давай!

— Мужики, выпить хотите? — прямо спросил Фома, ибо остановить вандализм другим

путем было бы зряшной затеей и пустой трагической временой.— Ставлю по литру на брата,— дожал Фома.

Мужики переглянулись.

— По два,— сказал конопатый, еще не понимая, что к чему, но боясь продешевить.

— Ладно,— после некоторого раздумья Фома хлопнул пятерней по папке.— Я сегодня добрый, зарегистрировал устав малого предприятия.

— По два с половиной,— сказал конопатый.

— Ублюдёться.

— Ты за нас не бойсь, скажи только — чего делать?

— Скажу,— кивнул Фома.

Перед сном Фома и Клава занимались в постели любовью. Старым, надежным способом, без выкрутасов.

А потом, получив удовольствие, лежали рядышком и приходили в себя.

— Откуда в тебе столько силы взялось? — нежно спросила Клава.

— Я теперь как заново на свет народился,— признался Фома.

Помолчали.

— От Митьки давно письма нет, хоть бы все ладно...

— Чего ему делается, служба есть служба. Пывыбьют кислую-то шерсть.

— А вдруг парашют не раскроется?

— Запасной есть.

— А если и запасной не раскроется?

— Митьку колом не зашибешь, выкрутятся как-нибудь.

— Иногда задумаюсь, против кого мы такое войско держим? Там, поди, тоже матери ночами не спят...

— Политика...

— Вот интересно спросить у этих политиков, их сыны тоже с парашютами прыгают?

— Никто его в десант не туразил, сам захотел.

— Молодой ведь, глупый...— вздохнула Клава.

Полежали молча.

— А вдруг неоны не загорят?... — осторожно спросила она.

— Загорят, сто раз опробовал.

— «М» и «Ж» больно хороши, с завитушками. Не пойму только, зачем ты батюшку пригласил?

— Исстари хорошее дело без божьего благословения не начиналось,— терпеливо объяснил Фома.

— Здравствуйте! Чаю хотите? — спросил из клетки попугай. Ему тоже не спалось.

Назавтра, мягким летним вечером, состоялось торжественное открытие малого пред-

приятия. Присутствовали представители местной прессы и телевидения. Подъехал на «УАЗе» Зозулин. Народ собрался со всей округи: от пацанов до набожных старух. Крутились под ногами дворняги, щипали траву козы. Совков с фотоаппаратом документировал на пленку разные отвратительные моменты зарождения рыночных отношений в Крутой Осыпи. Из неодушевленных предметов присутствовал Ильич, наблюдая за происходящим с бетонного постаменты. Его рука указывала прямо на парадный вход в платное заведение.

Если бы Ильич был зрячим, его непримиримый атеизм был бы явно оскорблен, ибо церемонию открыл батюшка. Он с молитвой и кадилом обошел вокруг малого предприятия, окропил святой водой и осенил крестным знамением.

Совков щелкнул батюшку.

Представители коммерческого банка и принаряженный Фома разрезали ножницами шелковую ленту.

Совков и здесь не прозевал.

И тут на фасаде вспыхнули неоны «М» и «Ж», забежали по кругу веселые огоньки, заиграла музыка.

Народ, толяясь и тесня друг друга, устремился внутрь, образовалась давка.

— В очередь, мать вашу! В затылок друг другу! — старался перекричать гомон Сашка Попов.— Всем места хватит! По очереди!

— Можно подумать, колбасу бесплатно выкинули,— подивился ажиотажу Иван Ксенофонович.

Совков и здесь оказался на высоте. Размахивая перед Сашкой пенсионным удостоверением, он одним из первых оказался внутри. И остолбенел. Мраморные стены — это само собой, но фантазия Фомы пошла дальше бочки с фикусом. У него посередине стояла бочка с пальмой, и на ветвях ее сидел, переливаясь красочным оперением живой попугай.

— Здравствуйте! Чаю хотите? — спросил он у Совкова.

А в это время на улице корреспондент телевидения брал у Фомы интервью:

— Одна из самых больших проблем сегодняшнего дня — снабжение населения продовольствием. Эта проблема не только экономическая, но и политическая. Насильственная коллективизация, административный произвол, десятилетия стирания граней между городом и деревней сделали свое дело. Итог известен: пустые прилавки, умирающие деревни, бездорожье, отток молодежи. Кто нас накормит? Запад? Президент? Правительство? Вопросы риторические... Накормить нас может только мужик, крестьянин, свободный и полнокровный хозяин своей земли. Однако фермер не может существовать в вакууме,

необходима развитая инфраструктура по снабжению его техникой, семенами, современными достижениями агрохимии и агробиологии, расширение сферы услуг на селе. Мы ведем свой репортаж из деревни Крутая Осыпь. Сегодня здесь, по инициативе местного жителя Фомы Дракина, открывается малое предприятие по оказанию услуг своим землякам — платный туалет. Вы видите, какой неподдельный интерес вызвало это событие. Скажите,— обратился корреспондент к Фоме,— как у вас зародилась эта мысль и с какими трудностями вам пришлось столкнуться на пути ее реализации?

— Мысль у меня зародилась с похмелья, после вырезвителя,— откровенно признался Фома, не желая обманывать телезрителей.— Переночевал я в вырезвителе и утречком прямо на автовокзал. Приспичило. Я в туалет, а там «автоматика» — туалет-то платный... Что делать? Наскреб мелочь, которую в вырезвителе вернули. Там у меня еще и деньги пропали, которые Клава в трусы зашила...

— Извините,— перехватил инициативу телекорреспондент, ибо Фома говорил явно не о том, не пускать же такое в эфир.— Расскажите о проблемах, с которыми вам пришлось столкнуться,— начал выводить беседу в нужное русло телекорреспондент.

— Трудностей много, всего не перескажешь... Дурное у нас государство, если честно. Пока бумажки соберешь, пока зарегистрируешь, пока откроешь счет в банке да получишь печать — не одни сапоги стопчешь. И везде крючкотворы сидят, и каждый норовит, чтобы его подмазали. Иной раз так руки и чешутся — взять бы оглоблю да всех к ебене...

— Извините,— успел встрять корреспондент.— Разумеется, любое новое начинание с трудом пробивает себе дорогу. А что скажет на это ваша жена?

— Я? — растерялась Клава.

Оператор наехал на нее камерой.

— Вы ведь работаете телятницей?

— И телятницей, и мужу приходится помогать. Ссуду теперь надо погашать. Тяжело...

— Мы знаем, что ваш сын служит в армии. Может так случиться, что он увидит эту передачу. Вы можете обратиться к нему через телекамеру.

— Митя... — заволновалась Клава,— сынок... — Клава совсем растерялась.— Служи хорошо, слушайся командиров. Ешь все, что дают. На фотокарточке ты поисхудал. Если парашют не раскроется, сразу же доставай запасной, не жди, пока об землю стукнешся. Отец теперь не пьет. Приезжай скорей, сынок, мы по тебе скучаем. Пирогов с капустой напеку...

— Сердце матери. Трудно подобрать слова,— принялся закруглять корреспондент.

А в это время растрепанный Совков прорвался мимо очереди обратно на улицу, взобрался на бетонный постамент к Ильичу и обратился к односельчанам с альтернативной речью:

— Товарищи, на ваших глазах происходит перерождение Фомы Дракина! Этот «господин» решил сделать из нас своих послушных клиентов! Эксплуатируя естественные потребности организмов советских людей, он пытается запустить свою хищную жидо-маонскую руку в наш трудовой карман! Не позволим! Нас попугаями не купишь! Предлагаю объявить всенародный бойкот! Родинамать дает нам бесплатную возможность справлять нужду под любым кустом. Демонализм не пройдет! Да здравствует мир во всем мире! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Это был экспромт. Аплодисменты, свист и улюлюканье разделили одновременно. Народ пришел в движение. Совкова схватили за штаны и попытались стащить с пьедестала, но он уцепился за Ильича и начал отчаянно отбиваться.

Крестились старухи, играла музыка, весело подмигивала реклама. Стараниями Сашки Попова народ постепенно успокаивался, выстраиваясь в две шеренги, мужскую и женскую, хвост которых заворачивал за дом и терялся где-то на околице.

Утром следующего дня Фома ждал первых посетителей. Ждал их и пенсионер Совков, притаившись в крапиве за забором.

Фома скучал, посетителей не было. Это радовало Совкова и вселяло надежды.

Неожиданно к памятнику подъехал «УАЗ», из которого вышли Зозулин с женой. Совков ожидал всего чего угодно, но только не этого — Зозулин мирно поздоровался с Фомой. Всего разговора не было слышно, долетали лишь обрывки фраз. Потом Зозулин вошел под букву «М», а его жена — под букву «Ж». Этот куллен, решил Совков и щелкнул фотоаппаратом.

Следующими посетителями оказались дорожные рабочие. Они проезжали мимо на грейдере и тоже захотели посетить диковинное заведение.

Стайку пацанов Совков решил не фотографировать — несмышлениши, чего с них возьмешь.

Дед Павлин приковылял в начищенных сапогах и военном картузе. Этого идиота тоже можно было не брать в расчет. Но когда Совков увидел свою Матрену и соседку Ньюру, принарядившихся для культурного посещения, он не выдержал и выскочил из своего укрытия.

— Куда направились, девушки хорошие?!

«Девушкам» было за шестьдесят, обе в новых ситцевых платочках.

— Вчера на торжественное не пустил, а сегодня все равно посмотрю,— решительно заявила Матрена.— Нюрке вон вчера понравилось, сегодня снова идет.

— Дуры!

— Не ругайся, Лука, там ведь не уборная, а загляденье,— принялась объяснять Нюра.— Всякие блестящие железы, можно везде себя помыть.

— Блестящие железы,— задохнулся от политической темени Совков.— Да на вас же нажить хотят, кошельки миллионами набить, а вы... — Он осекся, потому что мимо прошла учительница с дочкой. Совков проводил их взглядом.

— Учительница — тоже дура? — надела на мужа Матрена.

— Она — прослойка, а ты — народ! — разозлился Совков на жену.

И замолчал, потому что мимо продефилировал Иван Ксенофонтович со свяжком и тещей.

Дело Фомы набирало обороты прямо на глазах, народ пер косяком.

### ГЛАВА III «ВСЬ МИР НАСИЛЬЯ МЫ...»

Фома прикинул график посещения к стене и задумчиво взъерошил волосы. По оси абсцисс шел отсчет дней, а по оси ординат — количество посетителей.

В первые дни кривая устойчиво ползла вверх, потом зависла на одном уровне и потянулась вниз — количество посетителей начало падать.

— Яичницу будешь? — спросила Клава.

— Не хочу. Чайку покрепче,— попросил Фома.

Клава принялась хлопотать у самовара, а Фома продолжил думать коммерческую думу.

— Послушай, Клав, а если мне с торца еще одно помещение прирубить, как ты думаешь?

— Это еще зачем?

— Бильярд для мужиков поставлю, телевизор цветной,— шары погонять, футбол посмотреть, политикам кости перемыть — что-то вроде мужского клуба.

— Бабы с ума сойдут.

— И для них кое-что задумано. Давно мне эта думка покоя не дает. Бабы у нас — не бабы, а верблюдицы. Взять и тебя — всю жизнь спины не разгибаешь.

Слова мужа растрогали Клаву.

— Задумал я тут одну штуковину — сауну с бассейном. Пристройка будет из двух половин: для мужчин и для женщин. А пока женщина в сауне парится, домашнее белье в

машине стирается. Есть такие машины, с автоматикой, японцы делают. Башковитые узкоглазики, эти иху мать.

— Ты в своем уме?

— Слушай дальше: в бассейне искупалась, чистое белье в руки — и домой. Чистую и ароматную ее и мужик лишний раз приласкать не побрезгует.

— Бесстыдник ты прямо... — зарделась Клава.

Фома выехал из ворот автомагазина на новом двухцилиндровом мотоцикле и покатил по улицам города. Клава сидела в коляске, на головах у обоих были ядреные металлические шлемы.

Возле витрины коммерческого магазина толпился народ. Фома остановил мотоцикл у тротуара. Оказывается, витрина привлекала прохожих вещью диковинной и необычной. По корявому суковатому дереву в просторном вольере прыгала и гримасничала живая обезьянка. Забавное это существо умиляло прохожих хитрой мордашкой и смешными ужимками.

— Неужели мы от таких животинок произошли? — дискутировали зеваки.

— Лично я — верю. Нынешние волосатики — вылитые обезьяны.

— Лично я произошел от Адама и Евы, а вы, не сомневаюсь, от обезьяны.

Фома задумался над коммерческой выдумкой владельцев магазина.

«Икарус» с иностранцами наверняка оказался в Крутой Осыпи не случайно, кто-то кому-то хотел доказать, что и мы не лыком шиты, знай наших!

Капиталистические мужчины и женщины вышли из автобуса, с интересом огляделись по сторонам, начали фотографировать статую Ленина.

От ярких неонов на фасаде заведения Фомы, среди унылого деревенского захолустья, повеяло родным тлетворным духом. Каково же было их удивление, когда они степенно направились в платное заведение и на их пути встал гордый человек с плакатом на груди. Это пенсионер Совков пикетировал платный туалет.

Плакат был написан решительной рукой, пусть и без запятых, зато стихами, с тремя восклицательными знаками в конце. Плакат висел на шее при помощи тесемки:

«Дракин дерьмократ  
Дерьму чужому рад  
Но русский наш Иван  
Не клонет на обман!!!»





Кадр из фильма. Лука — Владимир Кашпур

Иностранцы с интересом окружили пикетера. Молодая переводчица начала переводить на английский и обратно.

— Он доиграется,— доказывал Совков,— я объявлю бессрочную сидячую голодовку прямо в кабинке, на унитаже. Пусть он меня оттуда попробует выкурить!

Останавливать силой иностранных гостей Совков не хотел, он действовал методом убеждения. Переводчица переводила, иностранцы качали головами, да и как было не подивиться. Оказывается, классовая борьба до сих пор не утихает на широких российских просторах.

Однако, что естественно, то не постыдно, как говорили римляне. Классовая борьба — это очень интересно, но в туалет тоже хочется. Иностранцы выслушали пикетера и направились внутрь.

Фома встретил гостей на входе. Он возился с муфтой гидрослива, заморских гостей не ждал, а потому наспех вытер руки ветошью, любезно поклонился клиентам:

— Милости просим.

Дамы в мехах были очарованы, уровень

сервиса в женском отделении соответствовал мировым стандартам: биде, зеркала, фены, парфюм. Особенно поразила их живая обезьянка в вольере, которая висела на хвосте и корчила смешные рожицы.

На выходе узкоглазый японец через переводчицу завел с Фомой разговор, с любезной улыбкой выразив для начала искренний комплимент:

— Я удивлен качеством вашего оборудования.

— Комплексная поставка из Германии, банк пошел навстречу,— объяснил Фома.

— Вы — настоящий деловой человек. Если вас не обременит, примите мою визитную карточку. Я представляю интересы одной японской фирмы по поставке в вашу страну электронного оборудования. Возможно, у вас возникнет интерес к нашим товарам, господин Тосеро Хуйкимада всегда к вашим услугам,— перевела переводчица.

Фома аккуратно положил визитку господина Хуйкимады с иероглифами и вензелями в нагрудный карман рубахи.

— Переведи ему, милая, что у нас в России

есть пословица: «На ловца и зверь бежит». Интерес у меня уже возник, хотел бы получить партию японских игровых автоматов.

Переводчица перевела.

— Вы собираетесь открыть казино? — деловито осведомился японец.

— До казино еще далеко, а вот комнату с игровыми автоматами для пацанов открою непременно.

Японец достал электронную записную книжку и деловито забарабанил пальцами по клавишам.

— Переведи, милая, электроники у меня маловато. Нужен хороший телефакс, персональный компьютер с широким принтером, с винчестером, с дигитайзером — чтобы все как у людей.

Переводчица переводила, японец записывал.

— С графопостроителем, — дополнил Фома. — До сих пор график учета посетителей от руки рисую. И еще — стиральные машины, автоматы, пять штук.

— Вы собираетесь открыть прачечную в туалете?

— Это будет небольшой подарок для наших женщин — сауна с хозблоком. Какой смысл держать деньги в кубышке. Надо укрупниться, пускать деньги в новый оборот.

— Грандиозно! — восхитился через переводчицу японец. — Немножко капитализма в грязном русском захолустье.

Когда переводчица перевела, Фома нахмурился.

— Переведи ему, я — патриот.

Переводчица перевела.

— Как вы относитесь к проблеме северных территорий? — заинтересовался японец.

— По мне, так в первую очередь исконные территории надо на ноги поднимать. Посмотрите вокруг — Мамай прошел. А мы на этих островах, как собака на сене, я бы отдал на взаимовыгодных условиях.

Японец протянул Фоме руку.

— Мир! Дружба! — сказал Фома.

— На ловца сверя пешит. Карасе, — улыбнулся японец.

— Ты глянь, он по-русски кумекает.

— Аксента.

— Акцент, — объяснила переводчица.

— Хитер, бродяга, — искренне восхитился Фома.

Когда иностранцы садились в автобус, из проулка выскочил Совков. Он успел смотаться домой и на скорую руку переписать плакат. Теперь текст выглядел так:

«Дракин дерьмократ  
Дерьму чужому рад  
Но не пройдет обман  
Трудящихся всех стран!!!»

Переводчица как сумела перевела содержание. Иностранцы покачали головами и полезли в автобус.

«Икарус» тронулся. Совков остался один на один с Фомой на пяточке перед туалетом и памятником.

— Слышь, Совков, иди пописаи, бесплатно пушу, — пригласил Фома.

— Ну уж нет, я в обезьяннике никогда не оправлялся и оправляться не буду, — заиграл желваками Совков и решительно зашагал прочь, но пришлось посторониться. Навстречу ехал трактор с тележкой.

— Куда? — высунулся из кабины чумазый Сашка Попов.

— Давай к сараю! — показал Фома.

— Откуда груз? — подлетел к Сашке Совков.

— Со станции.

— Что в тележке?

— Бильярд, — ответил Сашка. — Шары, как у нашего быка...

— Бильярд?.. Он что, бильярд в сортире хочет поставить?

— Зачем в сортире? К туалету прирубраться будем, что-то вроде вечернего мужского клуба.

— Может, он еще и публичный дом тут откроет?!

— Публичный не помешал бы, — раздумчиво вздохнул Сашка. — Закона такого нет, да и где барышень взять? Ты свою Матрену отпустишь? — схохмил Сашка.

— Ну, сволочи, погодите, вы меня еще припомните! Проституция не пройдет!

— В ООН будешь жаловаться?

— Найду куда!

День выдался тяжелый, вечером Фома решил искупаться в речке. Разделся до трусов, вошел в воду, с удовольствием плеснул на грудь пригоршню прохладной воды. нырнул, вынырнул, поплыл к противоположному берегу, потом обратно.

Они подъехали к мосту на «БМВ». Понаблюдали за ним из салона.

Фома вышел на берег, пристроился за кустиком и отжал трусы. Тогда и появились они. Их было трое, спортивных поджарых парней.

— Как вода? — спросил скуластенький, с коротким ежиком на голове.

— Парное молоко. — Фома нагнулся за рубахой.

— Разговор к тебе есть, — сказал «ежик».

— Сейчас оденусь, коли так.

— Бабки приготовили?

— Погоди, мужики, какие бабки?

— Тебя предупредили в письме, сегодня срок.

— Так это вы? Нет, парни, со мной такие

номера не пройдут. Больно вы умные. Работать не хотите, а деньги подай.

— Ты хорошо подумал? — спросил «ежик».

— Лучше некуда. Ничего вам от меня не будет, и давайте-ка по-хорошему, пока я добрый.

— Боб, сделай дяде больно,— приказал «ежик».

Боб сделал дважды. От первого удара Фома рухнул на колени, от второго — ребром ладони по шее — ткнулся лицом в песок.

Полежал и начал подниматься. Боб сделал в третий раз, ногой в сплетение. Фома опрокинулся на спину.

Ребята оказались серьезные и шутить не собирались. Фома растер кровь по лицу, сплюнул сгусток.

— Больно? — спросил «ежик».

— В самый аккурат... — Откуда взялась в нем эта прыть, или обидели они его сверх всякой меры. Он взвился с песка и буквально в два прыжка, по-тигриному, метнулся к кусту. Видно, знал, где чего там валяется.

В следующее мгновение он разогнулся с железякой в руках. Это был коренной лист рессоры.

— Я, парни, как и Митька, в десанте служил. Сейчас буду из вас котлеты делать.— Сказал, как крест поставил.

Парни были тертые, отходили организованно, боясь прозевать самые мизерные его движения. Страшный удар рессоры расколет череп, как арбуз,— это было ясно.

Неожиданно «ежик» в неимоверном прыжке с разворотом едва не достал Фому, и тут же рядом со смертельным посвистом прошла рессора. Миллиметры спасли парня, мозги разлетелись бы широко по берегу.

Звоночек на тот свет прозвенел, кто-то должен был погибнуть — это было уже ясно. Но «пушки» у них с собой не было, возможно, осталась в салоне.

И они дрогнули, рванулись к машине. Фома побежал следом, отставая, с занесенной для удара рессорой.

Они влетели в салон, заурчал двигатель, а он все бежал. И ждал выстрела. Но если бы даже раздалась пулеметная очередь, остановить себя он уже не мог.

Машина рванулась с места одновременно с ударом рессоры по крыше. Брызнули стекла люка.

Фома проводил машину глазами, оперся на рессору и перевел дыхание. обстоятельно вытер кровь подолом рубахи.

— Больно вы умные, ребята,— сказал сам себе.— Навсегда теперь дорогу забудете.

Наивный. Не забудут.

Дед Павлин работал у Фомы по найму — сидел на входе. В то утро первым посетителем туалета оказался... Совков. Под бдительным

взглядом дед Павлина он опустил монету и вошел внутрь.

Сам Фома в это время вместе с Сашкой Поповым энергично тюкали топорами — возводили пристройку, которая по размерам получалась больше самого туалета.

Ближе к обеду дед Павлин вошел в туалет и окликнул Совкова:

— Лука, ты жив?

— Жив,— ответил Совков из кабинки.

— Никак, проносило? — озабочился дед Павлин.

— Передай Фоме: я объявил бессрочную голодовку.— Совков сдержал свое слово.

Новость облетела деревню со скоростью молнии. В туалет набилась куча народу.

Фома терпеливо вел переговоры:

— Послушай, Совков, это же частная собственность. Ты чего думаешь, управы на тебя не найдется?

Совков молчал.

— Закон на моей стороне, Лука! Вызову милицию, она тебя силой вышибет.

— Только попробуй! У меня с собой бутылка с керосином. Обольюсь с головы до ног и подожгусь,— пригрозил из кабинки Совков.

Фома задумался, дело запахло керосином.

— Батюшку пропустите, батюшка,— заудели в толпе.

Народ расступился, пропуская батюшку.

— Раб божий Лука, октись, выйди на волю,— заудел батюшка низким голосом.

— Ты, Василий Дмитрич, здесь свою агитацию не разводи,— огрызнулся из кабинки Совков.— Тебя Фома Дракин с потрохами купил — это всем ясно. Умру с голоду, а не выйду! Вы еще припомните коммуниста Совкова!

— Раб божий Лука, отрекись от грехов своих, обратись к Богу в молитве с покаянием. Отцу нашему Иисусу Христу открой свое сердце, впусти в него Господа нашего и Спасителя,— принялся уговаривать батюшка.

Сквозь толпу к кабинке пробилась жена Совкова. В руках у Матрены была небольшая кастрюлька.

— Лука, ты меня слышишь? Это я — Мотя!

— А ты чего приперлась? — крикнул из кабинки Совков.

— Я тебе покушать принесла, похлебай хоть супику.

— И ты с ними?! Вылей свой суп Фоме за шиворот!

— Горячий, на плите подогрела. Похлебай супику, Лука.

— Пошла вон, дура!

— Господь повелел нам творить дела свои с любовью и верой. Открой в молитве свои сомненья, трудности и заботы,— продолжил уговоры батюшка.

Солнце клонилось к горизонту, а перегово-

ры зашли в тупик, и просвета впереди не предвиделось.

Сашка Попов с Иваном Ксенофонтовичем вышли на воздух покурить.

— Засел, как заноза в заднице.— Сашка крепко затянулся папиросиной.

— Позиция.— Иван Ксенофонтович держал нейтралитет, ибо история жизни и государства приучила его сопеть в две дырки и помалкивать.

— Придется штурмом брать,— решил Сашка.

— А если подожжется?

— Не успеет. Плеснешь?

— Пошли.

В сарае у Ивана Ксенофонтовича Сашка одним махом осушил алюминиевую кружку самогона. Морда стала красная, как после бани.

С красной мордой он и появился снова в туалете, пробился сквозь толпу к мятежной кабинке.

— Лука! Это я — Сашка Попов.

— А с тобой, подкулачником, я вообще не разговариваю,— ответил Совков.

— У тебя бутылка с керосином в руке?

— В руке.

— Открыта?

— Открыта.

— Спички наготове?

— Наготове.

— Ну и ладно... — Сашка со всего плеча нанес сокрушительный удар кулачищем по дверце кабинки. Дверца рухнула с петель внутрь и ошатунила по лбу сидящего на унитазах с бутылкой керосина Совкова. Получился чистый нокаут.

Народ повалил на улицу. Гордиев узел был развязан, штурм закончился благополучно. Кулаком на Руси решались проблемы и посложнее.

Дома Лука под жалостливым взглядом Матрены жадно хлебал суп и ронял слезы в тарелку. На лбу богато набухла огромная лиловая шишка.

— Цельный день голодом,— вздохнула Мотя.

— Ничего, я им еще устрою.— Этот раунд Совков проиграл, но сдаваться не собирался.

Поэт был прав — гвозди бы делать из этих людей! Но с гвоздями нынче тоже проблемы.

Матрена, Нюра и Клава сидели в сауне. Жара была нестерпимая, зато какое блаженство сигануть после этого голяком в прохладный бассейн. Они и сиганули с визгами. Бассейн был хоть и небольшой, зато отделан кафелем.

— Ой, бабы, никакого мужика не надо!

А за стенкой мужики гоняли по зеленому

сукну бильярдные шары: Иван Ксенофонтович с Сашкой Поповым играли американку.

Несколько человек сидели перед телевизором и смотрели эротический фильм «9 1/2 недель».

— Что делает, паразит,— переживал за молодого любовника дед Павлин.— Я в его годы... Етицкая сила!

Микки Рурк водил льдинкой по голому животу своей подружки и никак не мог приступить к делу.

— Изгаляется, паразит,— стиснул кулаки дед Павлин.— Баба совсем задалась.

— Заткнись. «Я в его годы...» — передразнил кто-то.— Он миллионер, у него денег, как у дурака махорки.

— Заткнитесь оба! — осадил спорщиков Сашка Попов. Он отложил кий в сторону, тоже увлекшись любовной игрой на телеэкране.

— Я хоть и не миллионер, а корову с поросенком всю жизнь держал! — взбрыкнул дед Павлин.— Что делает, мазурик!

Микки Рурк и впрямь выделял бог знает что с блондинкой Ким Бессэнджер. Мужики таращили глаза и сглатывали слюну. Идеи Фомы обретали плоть — в Крутой Осыпи зарождался мужской клуб.

После сауны Клаву ждал сюрприз. Она перешагнула порог и обмерла — на половике стояли блестящие женские туфельки на тоненьких высоких каблучках.

Фома сидел на табурете возле печи.

— Примерь,— скромно попросил он.

Клава осторожно взяла в руки туфельки. Они блестели и переливались под светом лампочки.

— Я их в шкафу буду держать... — выдохнула Клава.

— Никаких шкафов, каждый вечер носить будешь.

— Фома...

— Примерь, кому говорю.

Она с волнением и дрожью в руках обулась в туфельки.

— Тютелька в тютельку.

— Сантиметром мерил.

Не очень устойчиво она подошла к мужу и обвила его шею руками. Это была любовь. Пусть даже без льдинок, как у Микки Рурка, но Фома еще не был миллионером. Дело только набирало обороты.

Ночью, в самую темень, по гравийке глухо проурчали два мотоцикла. Их было четверо.

Мотоциклы оставили на околлице и дальше пошли пешком. Канистры несли в руках. Взбреднула сонная дворняга, ей ответила другая, потом опять все стихло.

Небо на востоке чуть забрезжило.

— Боб, ты готов? — спросили шепотом в темноте.

— Отваливаем.

В темноте вспыхнула спичка. Они подготовились как следует, огонек весело побежал по извивам бикфордова шнура.

Они успели достичь околицы и сесть на мотоциклы, когда разом с четырех сторон польхнули щедро политые бензином стены.

Когда Фома в одних трусах выскочил на крыльцо, пламя уже цепко охватило его предприятие в свои прожорливые объятья, огонь осветил все вокруг. Фома метнулся в дом будить жену.

И деревня уже просыпалась: в домах загорался свет, лаяли собаки, по улице на всполохи огня бежали люди с ведрами и топорами.

Огонь тем временем подбирался к крыше, плавилась неоны на фасаде, жара не подпускала близко. Возбужденные люди выстроились в цепочку, передавая ведра с водой из рук в руки, но разве зальешь вручную такой пожар.

Гудящее пламя сворачивалось упругим винтом, искры и черный дым столбом уходили в ночное небо.

Фома какое-то время стоял неподвижно, прикрывая лицо руками, вокруг стоял оглушительный гвалт.

— Чича!!! — вдруг заорал он не своим голосом и бросился в огонь, но Сашка Попов успел сбить его с ног.

— Какая Чича, Фома?!

— Обезьяна! — Фома извивался в Сашкиных руках.— Пусты, сука, пусты...

— Очнись, какая обезьяна?

— Пусты! — хрипел Фома, а бабы в это время держали под руки рыдающую Клаву.

— Очнись, дурило,— Сашка сильно встряхнул Фому за плечи.— Сгоришь! Глянь, чего делается.

Предприятие Фомы польхало невиданным костром, на лицах и в глазах людей плясали рваные отсветы. Если бы Ильич был зрячим, ему бы наверняка захотелось отшатнуться от этого пламени, ибо искры долетали уже и до него.

Фома неожиданно обмяк в объятьях Сашки, силы оставили его. Он сел на землю и заплакал.

На «УАЗе» подлетел Зозулин, выскочил из машины. Он сразу понял, что спасать заведение бесполезно, надо попытаться отстоять хотя бы дом.

— На крышу! Поливайте на крышу!!! Иван Ксенофонтович, лестницу! Сашка! Лука!

Искры падали на тесовую крышу дома, она уже начинала дымиться.

Иван Ксенофонтович приволок лестницу. Сашка с Лукой вскарабкались по ней, беда



Кадр из фильма.

сближает — так водится у русских. Ведра с водой потянулись к ним по цепочке.

Обвалился потолок заведения, столб пламени рванулся вширь, люди шарахнулись в стороны.

Сашку осыпало горящим угольем, одежда на нем начала тлеть.

— Прыгай, Лука! — Он ухватил Совкова за шиворот и увлек его вниз по скату, в последний момент зацепился за желоб подострега, повисел и ухнул на землю.

Крыша вспыхнула разом, затрещал сухой тес.

— Скотина! — заорал Зозулин.— Выгоняйте скотину!

Народ бросился к сараю, вышибли двери. Оттуда с мычанием выскочила корова, шарахнулась от огня и, задрвав хвост, побежала по деревне. Следом за ней с визгом пронесся поросенок.

Мужики, на свой страх и риск, высадили топорами оконные косяки, ворвались в дом. Оттуда полетели кастрюли, одеяла, подушки — весь нажитый жизнью скарб.

Кто-то дернул Фому за рукав, он повернул голову. Это была Чича, она каким-то чудом умудрилась выскочить из огня. Быстренько

вскарabalась к Фоме на руки, он прижал ее к себе. Тельце ее дрожало.

Вдалеке послышалось завывание сирены.

— Пожарники из райцентра, слава тебе, Господи,— перекрестился батюшка.

— Как раз вовремя, головешки считать, эти-перети в душевню мать,— выругался Иван Ксенофонтович.

Дом тихо догорал.

— Не скажи, кто-то ведь должен составить акт,— заступился за пожарников дед Павлин.

Вор оставляет хотя бы стены, огонь не оставляет ничего. Утром Фома сидел на пепелище, обезьянка дремала у него на руках. Фома осунулся, под глазами залегли темные круги. Вокруг еще дымились головешки, валялась покореженная огнем сантехника, кружился пух из разорванных наволочек.

Черный от копоти Ильич размашистой рукой указывал теперь поверх пепелища, путь в никуда.

Подошел Совков с фотоаппаратом, но Фома даже не обернулся.

— Сколько добра спалили, вражины,— посочувствовал Совков.— Если бы вовремя конфисковать, какой бы склад под тару получился. Говорил же Зозулину.

Совков приблизился к памятнику, провел ладонью по ноге Ильича. Ладонь стала черной, копоти на вожде насело порядочно.

— Ничего, помоем и у конторы поставим,— решил Совков и был по-своему прав — не пропадать же добру.

Подъехала на велосипеде Нюра с почтовой кирзовой сумкой. Она прекрасно понимала состояние Фомы.

— Извини ради бога, Фома, тебе телеграмма. Срочная.

— Откуда? — встрепенулся Совков.

— Из Москвы. От какого-то Хуйкимады.

Фома смотрел перед собой в никуда и не реагировал.

— Просит уточнить сроки поставки оборудования и объем предоплаты.— Нюра и сама понимала, что не вовремя.— Возьми,— она протянула телеграмму, но обезьянка сумела ловко перехватить ее и тут же принялась рвать на мелкие кусочки. Фома не отнимал, да и зачем теперь.

— Глотни, Фома, легче будет,— окликнул из-за забора Иван Ксенофонтович с алюминиевой кружкой в руке.

Фома не реагировал.

Подождал батюшка, перекрестил пепелище:

— Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, яко на небе.

Фома поднялся и побрел неведомо куда.

Рядом бежала обезьянка, из которой, если верить Дарвину, труд сделал человека.

— Вот так, Василий Дмитрич... Дело Ленина живет и побеждает! — заявил батюшке Совков.— А твоя религия как была опиум, так и осталась — чистой воды наркотик.

— Господи, прости наши души грешные, ибо не ведаем, что творим,— перекрестился батюшка.

Фома и сам не помнил, как оказался на берегу речки. Он сидел на камне, Чича обнимала его, заглядывала в глаза, перебирала лапками волосы.

— Батя...

Фома поднял голову. Перед ним стоял... Митька. В голубом берете, весь в значках и аксельбантах, с дембельским чемоданчиком в руке.

— Сына... — Они обнялись.

Чича приревновала Фому к сыну, уцепилась за рубаху и все мешала Митьке по-настоящему потискать отца.

— Хитрая, зараза... Вишь, ластится. Сама из огня выскочила.

— Я в курсе, батя, с Зозулиным по телефону говорил. Он за мной машину на станцию прислал.

— Буренку спасли, а дом отстоять не удалось... — сказал Фома.— Гоша тоже сгорел.

— Какой Гоша?

— Попугай.

— Я их из-под земли достану, отец. Со станции ребятам телеграммы подал, жди гостей.

— И положить-то будет некуда, даже сарай сгорел.

— Ничего, пап, они привычные. Нас даже в пустыню на выживание бросали. Солнце там не как у нас — белое, белое... Выжили.

— Ми-тя!..— донеслось с угора.

Оба повернулись на голос. Деревенское радио уже сработало: к ним, задыхаясь от бега, летела Клава.

— Ма-а-м...— Митя раскинул руки. Она со всего маху прижалась к нему, он осторожно поцеловал ее в волосы.— Ну ладно, мам, ты чего плачешь? Ну перестань... Я же вернулся.

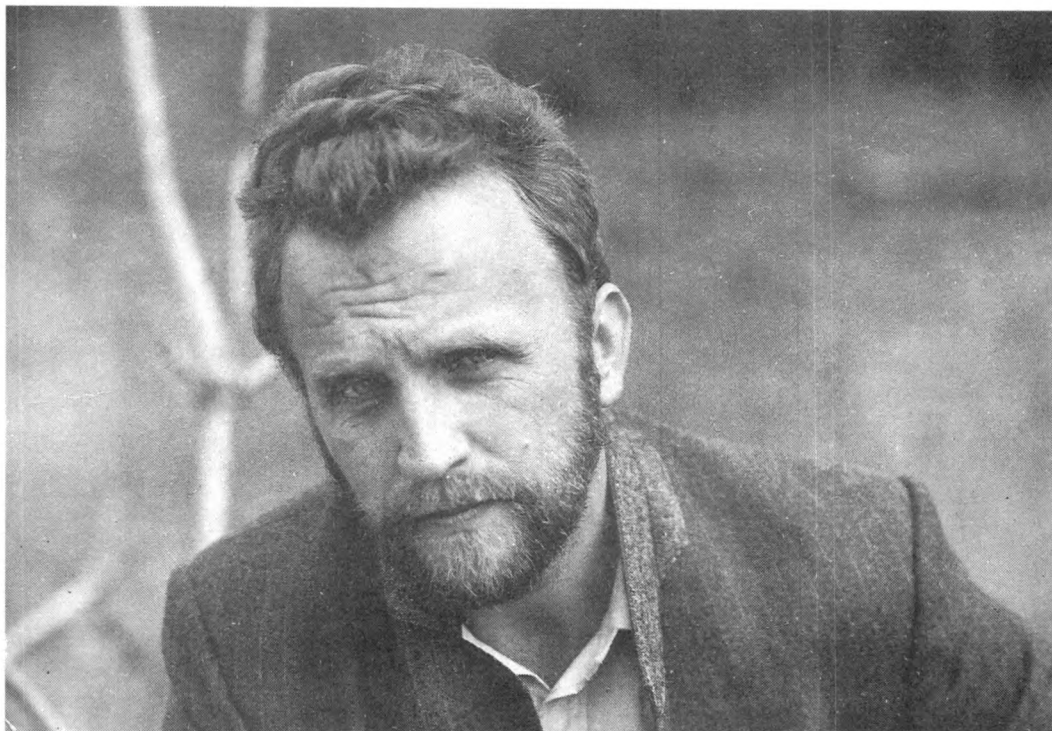
Клава пыталась сдерживать слезы, виновато улыбалась, но они текли сами собой, и ничего нелзя было с этим поделать.

Чича притихла на плече у Фомы. Слезы жены щемили душу, Фома снова опустился на камень. Мимо тихо несла свои воды знакомая с детства речка, впадала где-то далеко в большую реку, та река впадала в море, а море — в океан. От темной воды поднимался белый туман и истаивал прямо на глазах.

И уже кружились на воде первые желтые листья.

Фильм получил Гран-при на фестивале «Киношок»-93 г.

## ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА



## «МАКАРОВ»

**У** лица большого города. Ночь. По пустой, полутемной и страшноватой улице идет Александр Сергеевич Макаров. Он ведет себя неадекватно окружающему миру — он весел. Он в расстегнутом пальто, из кармана которого торчит берет, сбился набок шелковый шейный платок. Когда на пути его встречаются трамвайные рельсы, он пытается идти по ним, декламируя при этом знаменитое стихотворение Иосифа Бродского. Когда не удастся удержать равновесие и приходится ступать на землю, он упорно начинает декламировать сначала:

Мимо ристалищ, капищ,  
Мимо храмов и баров,  
Мимо шикарных кладбищ,

Мимо больших базаров,  
Мира и горя мимо,  
Мимо Мекки и Рима,  
Синим солнцем палимы —  
Идут по земле пилигримы...

Навстречу ему идет трамвай, он предупреждающе звенит и мигает фарами. Макаров замечает его, уступает дорогу и провожает неожиданно серьезным взглядом. Трамвай пуст, если не считать девушки, одиноко и окаменело сидящей за спиной вагоновожато-го.

Макаров идет дальше. Теперь пальто его застегнуто, и берет надет на голову почти по





Кадр из фильма. Поэт Александр Сергеевич Макаров — Сергей Маковецкий. Гран при «Киношока-93» за главную роль.

самые брови. Он гораздо трезвее и серьезнее, чем был несколько минут назад.

Из подъезда ближайшего дома выскакивает девушка в накиннутом пальто и домашних тапочках. Она смотрит по сторонам, замечает Макарова и кричит ему с другой стороны улицы:

— Простите, пожалуйста, у вас не будет сигаретки?

Но Макаров не реагирует, не слышит, а скорее делает вид, что не слышит.

Эта улица узка и жутковата. Когда Макаров сворачивает на нее, он сталкивается с неизвестным — щуплым, бородатым, неряшливо одетым человеком. Макаров замедляет шаг, почти останавливается, но неизвестный улыбается заискивающе и виновато: Макаров останавливается. Неизвестный подходит к нему и, глядя снизу вверх, по-прежнему улыбаясь, спрашивает:

— «Макаров» нужен?

Макаров (не понимая). Кому?

Неизвестный. Тебе...

Макаров. Мне?.. Я вас не понимаю...

Неизвестный. «Макаров», говорю, нужен? Ну, пушка... пистолет... Полная обойма патронов...

Макаров (испуганно). Н-нет... Зачем...

Макаров торопится прочь.

Неизвестный (негромко и незло). Ну и муadak.

Зайдя за угол дома, Макаров останавливается, бессильно приваливается к стене, стаскивает с шеи платок и вытирает им со лба пот. Потом крадется к углу дома и выглядывает с опасливым любопытством. Неизвестный все там же. Он выглядит совсем не опасным, он скорее жалок.

Макаров (окликает). Эй!

Неизвестный торопится к нему.

Макаров. А за сколько?

Неизвестный. А сколько дашь?

Макаров. Десять дам...

Неизвестный. Чего?

Макаров. Не рублей, конечно, тысяча...

Неизвестный (обрадованно). Правильно,

кто ж сейчас на рубли считает... Да это не цена, три копейки, тьфу! Они, знаешь, сколько сейчас стоят, ты газеты читаешь?

**Макаров.** Читаю. Но у меня больше нет.

**Неизвестный.** Да я не потому... А они что, у тебя с собой?

**Макаров.** С собой.

**Неизвестный.** Покажи.

**Макаров.** А... Он у тебя где?

**Неизвестный.** Да вот он! (Вытаскивает, держа за ствол, из кармана брюк пистолет.) Вот, гляди, обойма, патроны, все при нем!

**Макаров.** Дай.

**Неизвестный.** А деньги?

Макаров лезет в боковой карман, достает большой конверт, вытаскивает из него новенькую десяти тысячную купюру. Глаза неизвестного загораются.

**Неизвестный.** С такими деньгами по ночам ходишь...

**Макаров.** Подарили сегодня.

**Неизвестный.** Тогда понятно.

Они тянут друг к другу свободные руки и протягивают: один — оружие, другой — деньги. Обмениваются мгновенно и одновременно.

**Неизвестный.** В общем так: ты меня не знаешь, и я тебя не знаю.

Квартира Макарова. Ночь.

Макаров медленно поворачивает ключ в замке, осторожно открывает дверь и входит в квартиру. В прихожей темно, Макаров шарит по стене в поисках выключателя, чертыхается шепотом и наконец зажигает свет. Напротив стоит его жена Наташа и смотрит на мужа счастливым и гордым взглядом.

**Наташа.** Сашенька, поздравляю!

Она обнимает мужа, но Макаров осторожно отстраняется, боясь, что жена обнаружит пистолет.

**Макаров.** Осю разбудишь...

Он почти отталкивает жену и проскакивает в ванную. Закрыв дверь на крючок, Макаров смотрит на себя в зеркало — коротко и решительно. Включает шумно воду, вытаскивает пистолет, садится на корточки и толкает его под ванну. Оттуда вдруг выскакивает испуганная черная кошка. От неожиданности Макаров тоже пугается и шепчет в бешенстве:

— Сафо, черт!

**Наташа** (из-за двери). Сашенька! Саша, что с тобой? Что-нибудь случилось?

Макаров сует голову под струю воды, наскоро ее вытирает и открывает дверь.

**Наташа.** Что с тобой, Саша?

**Макаров.** Ничего страшного. Выпил там, голова раскалывается.

**Наташа.** О, Господи, а я думала, тебя опять избили...

На кухонном столике, кроме чашек с чаем, лежит небольшая книжица в мягкой обложке: «Александр Макаров. Стихотворения». Наташа нежно гладит книжку и восхищенно смотрит на мужа. Разговаривают они шепотом.

**Наташа.** А потом?

**Макаров.** Потом... Выступил Фунтов.

**Наташа.** Савва Тимофеевич!

**Макаров.** Да, но он просит называть себя Савелием Тимофеевичем.

**Наташа.** И что он сказал?

**Макаров.** Сказал.., что новые русские не дадут заглушить «роднику русской поэзии».

**Наташа.** Так и сказал?

**Макаров.** Это цитата.

**Наташа.** Вот видишь! А вспомни свой песимизм: «У меня не выйдет больше ни одного сборника...» А я говорила: погоди, они уже идут! Помнишь?

Макаров кивает.

**Наташа.** Теперь-то ты видишь? Они уже пришли, наши новые Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Рябушинские! Сашенька...

Наташа кладет голову на лежащую на столе ладонь Макарова.

Они лежат на кровати в маленькой спальне. Рядом с Наташей — детская кроватка. Макаров лежит на спине, Наташа у него на плече.

**Макаров** (засыпая). А когда уходил, Фунтов сунул мне в карман конверт...

**Наташа.** Какой конверт?

**Макаров** (мгновенно проснувшись). С поздравлением...

**Наташа.** Что же ты не показал?

**Макаров.** Забыл.

**Наташа.** Сашенька... А денег они... Ты говорил — обещали...

**Макаров.** Да, десять тысяч. На будущей неделе. У них, оказывается, тоже бухгалтерия, бюрократия... А что, у нас совсем?..

**Наташа.** Ничего, дотянем.

**Макаров.** Никто не звонил?

**Наташа.** Звонили. С телефонной станции. Обещали телефон отключить... Да, еще Анна звонила! Поздравляла тебя. Ей дали седьмой класс. Стала им читать Гумилева, а они даже имени его не слышали, представляешь, какой ужас?! Знаешь, что она им читала?

Он стоит пред раскаленным горном,  
Невысокий старый человек.  
Взгляд спокойный кажется покорным  
От миганья красноватых век.  
Все товарищи его заснули,  
Только он один еще не спит:  
Всё он занят отливаньем пули,  
Что меня с Землею разлучит.  
Кончил, и глаза повеселили.  
Возвращается. Блестит Луна.



Кадр из фильма. Наташа — Елена Майорова

Дома ждет его в большой постели  
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет  
Над седою, вспененной Двиной,  
Пуля, им отлитая, отыщет  
Грудь мою, она пришла за мной.  
Упаду, смертельно затоскую...

**Макаров.** Извини, Наташа, давай спать.

**Наташа.** Давай.

Через мгновение она уже спит.

Макаров открывает глаза. Из ванной доносится какой-то шорох. Макаров осторожно перекладывает голову жены на подушку, встает и идет туда.

Встав на колени, он наклоняется и заглядывает под ванну. Кошка тянет когтистую лапу к пистолету, фыркает и топорщит шерсть.

**Макаров.** Брысь!

Тянет пистолет к себе, смотрит на него, принимая какое-то решение.

Ночь. Улица пуста и тиха. Макаров идет целеустремленно к коммерческому киоску у трамвайной остановки. Свет в киоске горит, но людей не видно. В нескольких метрах от него стоит здоровенный мужик и ковыряет землю носком ботинка. Макаров смотрит по сторонам, опускает руку в правый карман пальто и решительно направляется к нему. Мужик бросает на него равнодушный взгляд и отворачивается.

**Макаров** (с ходу). Дай закурить.

**Мужик.** Не видишь, сам хрен сосу.

**Макаров.** Не узнаешь?

**Мужик** смотрит на Макарова удивленно.

**Макаров.** Помнишь, как ты подошел здесь ко мне и попросил закурить? Я сказал, что не курю, а ты меня ударил?

**Мужик.** Да пошел ты, козел...

Макаров хватает его левой рукой за грудь, притягивает к себе и одновременно сует в лицо пистолет.

**Макаров** (яростно шепчет). А это видел!

**Мужик** пугается, ноги его подкашиваются,

он опускается перед Макаровым на колени.

**Макаров.** Молись, сука, своему богу. Кто он у тебя? «Солнцедар», портвейн, тройной одеколон?

**Мужик** (шепчет). Не губи...

Макаров стреляет. Пуля попадает мужику в горло. Откидываясь назад, он зажимает рану ладонями, словно пытаясь задушить себя, но кровь сквозь пальцы выбивается черным пульсирующим фонтаном. Макаров пятится, поворачивается, идет с пистолетом в опущенной руке, потом бежит. Какая-то баба истошно и страшно кричит за спиной:

— Ой, убили, люди, убили!

Макаров резко открывает глаза. Жена сладко посапывает на его плече. Макаров прислушивается. Из ванной доносится какой-то шорох. Макаров осторожно перекладывает на подушку голову жены, поднимается и идет в ванную.

Встав на колени, он наклоняется и заглядывает под ванну. Кошка тянет когтистую лапу к пистолету, фыркает и топорщит шерсть.

**Макаров.** Брысь!

Тянет пистолет к себе и смотрит на него.

День веселый, солнечный, и настроение у Макарова под стать. В руке его болтается авоська с бутылочками детского питания. Он останавливается у газетного киоска. Пожилая благообразная киоскерша протягивает свежую «Литературку» и приветствует его:

— Добрый день, Александр Сергеевич! С весною вас!

Макаров пробегает на ходу заголовки первой страницы и останавливается на окрик улыбающегося розовощекого мужчины:

— Мужик, закурить не найдешь?

**Макаров** (рассеянно). Что?

**Розовощекий.** Закурить, говорю, не найдешь?

**Макаров.** Не курю.

Он идет дальше, но розовощекий задерживает его.

**Розовощекий.** Теперь закуришь.

И весело и привольно размахнувшись, он въезжает кулачищем в левую скулу Макарова. Макаров взмахивает руками и падает спиной в грязь.

**Макаров** (кричит). Ну ни за что, понимаешь, ни за что!

**Наташа.** Тише, Осю разбудишь.

Ваткой она стирает с его лица кровь и грязь.

**Макаров** (шепотом). Иду... «Дай закурить»... «Не курю»... «Теперь закуришь»... (Кричит.) Убивать их надо, у-би-вать!

**Наташа.** Тише, Сашенька...

**Макаров** (шепчет). На-та-ша...

Он тыкается лицом в плечо жены и замирает.

Макаров сидит в туалете на закрытом крышечкой унитаза. Крышка бачка снята и лежит на полу. На сдвинутых коленях Макарова — пистолет. Осторожно, почти трепетно Макаров проводит пальцем по вороненым линиям, вынимает и вставляет обойму, целится в дверь.

**Наташа** (из-за двери). Саша...

**Макаров.** Что?

**Наташа.** Саша, тебе плохо?

**Макаров** (глядя на пистолет). Нет, мне хорошо.

**Наташа.** Правда хорошо?

**Макаров.** Правда хорошо.

**Наташа.** Саша, послушай, какие стихи!

Здравствуй, моя отчизна,

темный, вонючий зал,

я на тебе оттисну

то, что недосказал,

то, что не стоит слова,—

слава, измена, боль.

Снова в луче лиловом

выкрикну я пароль:

«Знаю на черно-белом  
свете единый рай!»

Что ж, поднимай парабеллум,  
милочка, и стреляй!\*

Макаров слушает и продолжает заниматься «Макаровым».

Макаров — в своем кабинете за письменным столом. В руке — ручка, перед ним — чистый лист бумаги. В боковом кармане расстегнутой куртки лежит пистолет. Скосив взгляд, Макаров смотрит на него, встает и громко сообщает:

— Пойду прогуляюсь.

На одной руке Наташи сидит Ося, в другой ее руке — пачка сигарет и коробок спичек. Она протягивает их Макарову.

**Макаров.** Что это?

**Наташа.** Папиросы.

**Макаров.** Ну, допустим, это сигареты, но могу я поинтересоваться, зачем они мне?

**Наташа.** Затем, что когда у тебя кто-нибудь попросит закурить, ты... дашь...

**Макаров.** И спичечку поднесу?

Наташа кивает.

Макаров усмехается, идет к двери, но Наташа преграждает ему путь.

\* Отрывок из стихотворения Евгения Рейна.



Кадр из фильма. Алена Бам — Юлия Рутберг

**Наташа.** Саша, я прошу тебя второй раз в жизни...

Макаров усмехается вновь, но берет сигареты и спички и сует их в карман.

**Наташа.** Не обижайся, Сашенька. Это нужно... Мне, тебе, нашим детям... Это нужно всем...

Проводив мужа, Наташа подходит к двери кабинета, вытянув шею, смотрит на письменный стол. Увидев чистый лист бумаги, грустно вздыхает.

Макаров идет по улице, время от времени, как бы невзначай, дотрагиваясь до левой половины груди, загадочно при этом улыбаясь. Неожиданно он слышит за спиной дружелюбный старушечий голос, останавливается и оглядывается.

**Старушка.** Молодой человек, возьмите и положите под язык. (Она протягивает Макарову открытый пенальчик валидола).

**Макаров** (удивленно). Зачем?

**Старушка.** Я за вами наблюдаю. Вы все

время трогаете сердце. Запомните, эту боль нельзя терпеть. Это же сердце!

Макарову ничего не остается, как положить таблетку под язык и благодарно улыбнуться. Старушка проходит вперед, и Макаров тут же выплевывает таблетку.

Он идет дальше, а навстречу ему движутся два высоких, сильных и серьезных омоновца. На боку у них, помимо дубинок, болтаются наручники, на плече одного — автомат АКС. Трогуар узок, Макаров хочет уступить им дорогу, суетливо дергается в одну сторону, в другую и, наконец, соскакивает на проезжую часть. Омоновцы проходят мимо, не замечая его. Макаров глотает воздух, сует руку под куртку, трет сердце и с сожалением смотрит на лежащую в грязи валидолину.

Услышав сбоку, с дороги, настойчивый автомобильный сигнал, Макаров поворачивает голову и видит притормозивший у обочины «рафик» с большими буквами TV на боку. Из него выскакивает бойкая брюнетка и, направляясь к Макарову, приветливо машет ему рукой. Это Алена Бам, местный тележурналист и



Кадр из фильма. Макаров и мужчина в лесу — Иван Агафонов

критик. В глазах Макарова появляется нечто, похожее на робость.

**Алена Бам.** Поздравляю! (Она целует Макарова.)

**Макаров.** Спасибо, Алена. Но с чем?

**Алена Бам** (грозит пальцем). А ты, оказывается, еще и кокетлив? Не каждый сегодня может похвастать выходом своего поэтического сборника. Макаров, Макаров... А я только вчера вернулась из Москвы. Делала передачу про Иванова-Рабиновича. Представляешь, оказывается, когда он учился в школе, ты был его любимым поэтом!

**Макаров.** Кто, кто?

**Алена Бам.** Иванов-Рабинович. Ой, только не говори, что не знаешь!

**Макаров.** Но я действительно...

**Алена Бам.** Это же классик! Живой классик постмодернизма! И, между прочим, он сегодня наш самый валютный поэт.

**Макаров.** Знаете, Алена, по правде сказать, я не знаю, что такое постмодернизм.

**Алена Бам** (хмурится). Макаров, тебе не стыдно? Для постмодернизма поэзия — все:

вот это слово на стене, вот те буквы (Алена указывает на общественный туалет), объявления, заявления, понимаешь — все! Но постмодернизм не ищет образов в действительности, это тривиально и пошло. Он разлагает действительность, разлагает слово и, в конечном счете, уничтожает его.

**Макаров.** Зачем?

**Алена Бам.** Чтобы вернуть слову его первоначальный смысл.

В глазах Макарова появляется тоска. Он с надеждой смотрит на «рафик», и водитель сигналист. Алена не слышит.

**Алена Бам.** Вот возьмем хотя бы эту весну. Вы, поэты, измусолили это понятие до неприличия. А знаешь, как написал Иванов-Рабинович? «Весна — щепка на щепку лезет». Это гениально, согласись!

Водитель «рафика» продолжает сигналить.

**Макаров** (робко). Вас, кажется...

**Алена Бам.** Проклятый Селифан! До встречи. Да, в «Часе критики» я буду рецензировать твою книгу. Смотри Ти-Ви.

Макаров выходит из электрички, вдыхает полными легкими свежий воздух и направляется к лесу. По дороге он находит фанерку, очищает ее от грязи. И в отличном настроении входит в лес.

Макаров весело улыбается и идет вглубь леса.

Он останавливается в глухом месте, достает пистолет и выбирает взглядом дерево, пригодное в качестве мишени.

— Ку-ку,— слышит он вдруг и инстинктивно смотрит вверх, но никакой кукушки там не обнаруживает.

— Ку-ку,— слышит он вновь и видит между деревьями бегущую женщину в спортивном костюме и красной косынке в горошек. Она по-девичьи стройна, но немолода и не очень пригожа лицом. Она останавливается, кукует и весело бежит дальше.

Одновременно Макаров слышит за спиной тяжелые шаги и прерывистое сильное дыхание и торопливо прячет пистолет в карман.

За женщиной бежит крупный, сутулый мужик в кирзовых сапогах, но, заметив Макарова, сворачивает и подходит к нему. Он держится за грудь и хрипло, прерывисто дышит. Ничего не говоря, он достает дешевые сигареты, предлагает Макарову и после отказа закуряет сам.

**Мужик.** Дыхалка ни к черту.

Между деревьями мелькает красная косынка и слышится призывное «ку-ку». Мужик смотрит на Макарова, ища сочувствия.

**Мужик.** Позвала, понимаешь, в весенний лес... Я думаю — хочешь тебе в лес — ладно... Зашли, а она «ку-ку» и бежать... Третий час бега!

— Ку-ку! — призывно и возмущенно кричит женщина.

**Мужик** горестно морщится.

**Мужик.** Видишь? Ладно, пока (Угрюмо и обреченно.) Ку-ку!

И убегает, как старый, ведомый зовом плоти, лось.

Макаров идет по лесу, просто идет по весеннему лесу, смотрит на небо, нюхает почки, совсем забыв о лежащем в кармане пистолете. И от полноты чувств начинает насвистывать изящно и жизнерадостно «Тореадора».

Макаров сидит на закрытом унитазе и чистит носовым платком пистолет. Громко и испуганно кричит вдруг Наташа:

— Саша! Скорее! Пожалуйста, Саша!

Макаров вскакивает, торопливо бросает пистолет в бачок, накрывает крышкой и выскакивает из туалета.

В руках у Оси большой кухонный нож. Наташа держит в руках кастрюлю с чем-то горячим. Макаров подскакивает к ребенку и выхватывает нож. Ося плачет.

Макаров входит в комнату и удивленно смотрит на празднично накрытый стол, где картошка, капуста, жареная курица и даже бутылка коньяка.

**Макаров** (шепотом). Откуда продукт, Наташа?

**Наташа** (тоже шепотом). Вася приезжал.

**Макаров.** Васька? Что же ты сразу не сказала?!

**Наташа.** Тише. Не успела...

**Наташа** — красивая, в нарядном платье.

**Наташа.** Привез на служебной машине целый мешок картошки, ведро капусты, сто штук яиц. Даже не знаю, куда все это ставить. Я отказывалась, а он: «У меня все свое, мне это ничего не стоит...»

**Макаров.** И коньяк его?

**Наташа.** И коньяк. Он тебя долго ждал.

**Макаров.** Он что — жениться собрался?

**Наташа.** Нет, он водопровод в свой дом приводит. Газ у него уже есть, теперь будет горячая вода.

**Макаров.** Вот куркуль!

Макаров садится, открывает бутылку. Наташа продолжает стоять.

**Наташа.** Саша, а какой сегодня день?

**Макаров.** Сегодня вторник, кажется...

**Наташа.** А число?

**Макаров.** Шестнадцатое...

**Наташа** (подсказывает). Апреля...

**Макаров.** Ну, разумеется. Садись, Наташ, жрать хочу.

Но Наташа не двигается, и на лице ее — грустная, загадочная улыбка. Макаров не понимает, в чем дело.

Наташа нажимает на клавишу стоящего рядом старенького магнитофона «Весна». Еле слышно звучит стародавний шлягер «О, мамі блю».

Макаров наклоняется к магнитофону вслушиваясь.

**Макаров.** О, Боже... Прости.

Он поднимается, и они танцуют. Во время танца Макаров осторожно касается губами шеи жены. На ее глазах выступают слезы.

**Наташа.** Сегодня не просто годовщина, сегодня — юбилей.

**Макаров.** Вот как?

**Наташа.** Двадцать пять лет.

**Макаров** (вздыхает). Да-а...

Они продолжают танцевать.

**Наташа.** Саша, как ты себя чувствуешь?

**Макаров.** В каком смысле?

**Наташа.** Ты так много времени проводишь в туалете... Может, попринимать слабительное...

Макаров выпивает коньяк и с аппетитом закусывает курицей.



**Макаров.** Слушай, а откуда Васька знает о нашем первом поцелуе?

**Наташа.** Он, оказывается, подглядывал, дурачок...

**Макаров.** Это что же... Значит он был тогда в тебя влюблен? Вот гад, столько лет скрывал! Наташа смущенно улыбается.

**Наташа.** Он принес нам в подарок тетрадь своих школьных стихов.

**Макаров.** И стихи писал?!

**Наташа.** Да, но когда твои стихи услышал, бросил. В восьмом классе.

Наташа протягивает тетрадь. Макаров вытирает руки салфеткой, откидывается на спинку стула. Листвует тетрадь.

**Макаров.** Та-ак... «К дню Советской Армии»... «Американцы, вон из Вьетнама!». «Мама родная»... Ну, точно — «Н. Н.»! Другой Н. Н. у нас в классе не было!

У тебя голубые глаза.

У меня на носу веснушки.

У тебя все ребята друзья.

У меня ни одной подружки.

У меня в моем сердце к тебе

Есть одно секретное чувство.

У тебя в твоём сердце к мене

Ничего нет. Пусто.

Но я верю — настанет день,

И вечер,— и ночь настанет.

Ты поймешь, что я думаю о тебе,

И нам вместе очень хорошо станет.

Макаров давится смехом, зажимает рот рукой, чтобы не расхохотаться во весь голос.

Наташа в ванной торопливо досушивает феном волосы. Подкрашивает губы помадой. Торопливо входит в спальню и останавливается. Свернувшись калачиком, Макаров сладко спит. Наташа смотрит на него нежно и влюбленно.

Подтыкает края одеяла, садится осторожно рядом и вздыхает.

Начинает плакать во сне Ося. Наташа качает кровать.

Ося затихает. Макаров не двигается. Глаза его открыты.

Наташа спит. Макаров внимательно смотрит на нее, удостовераясь в этом. Встает.

Идет в туалет, поднимает крышку бачка, сует руку в воду и вдруг вскрикивает от испуга и боли и выдергивает руку. С указательного пальца капает кровь. Макаров удивленно осматривает ранку, сосет ее, сплевывает в унитаз. Вновь намеревается сунуть руку в воду, но передумывает и поступает иначе — спускает воду. Пистолет лежит на дне дулом кверху. Макаров осматривает все вокруг него и не

находит ничего режущего или колющего. Он осторожно берет пистолет, изучает его и тоже не находит ничего, обо что бы он мог поранить палец. Макаров заглядывает в пистолетное дуло, как заглядывают в опасный кусачий рот.

Макаров — в ванной. Указательный палец его завязан тряпичей. Тщательно и любовно Макаров сушит пистолет феном.

Макаров и Ося сидят на полу в наполненной солнцем гостиной, занятые каждый своим делом: Ося собирает пирамидку, а Макаров пистолет. При этом Макаров благодушно беседует с сыном.

**Макаров.** Оська, а Оська, ну ты что молчишь? Поговорил бы с отцом... Какое первое слово скажешь: мама или папа? Мама, конечно, мама...

Он загоняет обойму в рукоятку пистолета, кладет его перед собой и смотрит на него с чувством удовлетворения.

Звонит телефон в кабинете. Макаров вскакивает, бежит туда, забыв пистолет на полу.

**Макаров** (кричит в трубку). Васька! Здорово! Ну, ты куда пропал, куркуль?! Слушай, я хочу к тебе приехать. Сегодня. Будь дома вечером, понял? Ну, пока.

Макаров кладет трубку и вдруг слышит выстрел в гостиной. Протяжный, дребезжащий, страшный звук — звук смерти. Макаров каменеет. Даже зрачки глаз его не двигаются. Из гостиной не доносится ни звука. У Макарова начинает мелко-мелко дрожать челюсть. Дрожь становится крупнее, сильнее, и зубы начинают выстукивать четку в абсолютной и страшной тишине. Макаров с силой прижимает ладонью подбородок, но зубы все равно стучат. Макаров на полусогнутых ногах медленно идет в гостиную.

Ося сложил пирамидку и с любопытством смотрит на отца. Пистолет лежит там же, где оставил его Макаров.

Макаров быстро идет по пустынной улице. Руки спрятаны в карманы, голова втянута в плечи. Проходя мимо урны, Макаров, не замедляя шага и не повернув головы, бросает пистолет в урну. Пройдя еще немного, он расправляет плечи и идет походкой свободного, счастливого человека, насвистывая «Горьдора».

На противоположной стороне улицы он видит двух крепких и угрюмых парней, которые, увидев Макарова, торопятся к нему. На лицах их злоба и жестокость. Мгновение помедлив, Макаров поворачивается и бежит.



Кадр из фильма. Савелий Тимофеевич Фунтов — Сергей Паршин

Тут же слышит за спиной топот ног и злое дыхание преследующих.

Макаров добегает до той урны, сует в нее руку, шарит там, видя, как первый уже подбегает, поднимая кулак для удара. Макаров хватывает пистолет и наводит его на негодея. Тот спотыкается, падает на четвереньки и смотрит снизу в черное дуло. Второй останавливается сзади и поднимает вверх руки. Макаров передергивает затвор, зловеще клацающий в тишине.

**Первый.** Мама!

Он пятится на четвереньках назад, вскакивает и убегает с дикой скоростью. Второго уже нет, он будто растворился.

Макаров остается один. Ликующе и благодарно он смотрит на пистолет и от полноты чувств коротко его целует.

Небольшая, но плотная людская толпа на трамвайной остановке тревожно клубится, как предгрозовая туча. Макаров стоит чуть в отдалении,

предпочитая с толпой не смешиваться. Но подходит трамвай, и он вынужден это сделать. Однако трамвай вспыхивает фарами, звенит и проскакивает на скорости мимо. Некоторое время толпа смотрит ему вслед, пока какой-то дед не выкрикивает озорно:

— От, едрит-твою!

Кто-то смеется, но большинству не до смеха.

**Толстая тетка.** Что ж за безобразие такое! Три рубля за билет платишь, три часа его ждешь, а он третий, нет, вы подумайте, третий уже — не останавливается!

**Важный господин.** Бог любит троицу.

**Толстая тетка.** Что ж теперь делать-то: ложиться и помирать?

**Мужчина в темных очках.** Не помирать надо, а вооружаться. Вот был бы у нас тут сейчас пулеметик. «Максим», к примеру. Залег бы кто, дал пару очередей поперх проводов, что бы он не остановился?

**Важный господин.** Остановился бы, как миленький.

**Толстая тетка** (сама себе). Где же его взять, Максима?... Нету Максима.

Мимо толпы плавно проплывает роскошный лимузин, но останавливается вдруг и сдает назад. Из машины выбирается барского вида господин в расстегнутой шубе. Это Фунтов. Он кланяется толпе.

**Фунтов** (басом). Мир вам, люди добрые! Что, не идут трамваи?

**Толстая тетка**. Да иди-то они идут да не останавливаются, черти!

**Фунтов**. Следующий — остановится. Это я вам обещаю.

**Важный господин**. Спасибо вам, Савва Яковлевич!

**Фунтов**. Савелий Яковлевич. А теперь попрошу я вас отпустить со мною нашего поэта — Александра Сергеевича Макарова.

Макаров смущен. Толпа с интересом смотрит на него. Фунтов подходит к Макарову, обнимает его, трижды целует и провожает к машине. Прежде чем сесть самому, Фунтов обращается к толпе:

— До свидания, люди добрые. Не обессудьте, но всех взять не могу, сами видите — не трамвай у меня.

**Важный господин**. Ничего, Савва Яковлевич, мы подождем.

**Фунтов**. Савелий Яковлевич.

Салон лимузина. Фунтов озабоченно заглядывает в лицо смущенного, раздосадованного Макарова.

**Фунтов**. Что с вами, Александр Сергеевич?

**Макаров**. Мне кажется, Савелий Яковлевич, вряд ли следовало рекламировать меня на трамвайной остановке.

**Фунтов**. Помилуйте, Александр Сергеевич, какая же это реклама? Но что же скрывать? Вы — это вы, и народ должен вас знать. Далеко ли собрались?

**Макаров**. В Комсомольский поселок.

**Фунтов**. К даме сердца?

**Макаров**. Нет, к другу.

**Фунтов**. У вас есть друг? Я вам завидую. Но все справедливо, у каждого Моцарта должен быть свой Сальери.

Звонит радиотелефон, и Фунтов снимает трубку.

**Фунтов**. Да... Убирайте. Что Джохар? Плевать я хотел на Джохара. Убирайте и ни о чем плохом не думайте.

Фунтов кладет трубку, вздыхает и, подняв глаза кверху, размашисто крестится.

**Фунтов**. Прочли бы что-нибудь новенькое, Александр Сергеевич.

**Макаров**. Нет ничего новенького, Савелий Яковлевич.

**Фунтов**. Что так? Не пишется? Почему?

**Макаров**. Не знаю...

**Фунтов** (кричит). А я знаю! Я, я, дурья башка, во всем виноват! Не надо было вам тогда денег давать! Расчувствовался, дурак... И принцип нарушил.

**Макаров**. Какой принцип?

**Фунтов**. Поэт должен быть голодным! Скажите, Александр Сергеевич, вы сейчас голодны?

**Макаров**. Нет, я пообедал.

**Фунтов**. Вот поэтому и не пишется!

Васькин дом. Макаров сидит, откинувшись на спинку старого продавленного дивана, и с насмешливым любопытством разглядывает стены, увешанные старыми календарями, почетными грамотами, фотографиями, всем, что возможно к стенам прикрепить или прибить. Центральное место в этой экспозиции занимает большой типографский плакат, на котором плохо различимая фотография Макарова и объявление о его поэтическом вечере в ДК имени Свердлова. Рядом — Васькина любительская фотография: он — в армейской форме, в панаме и кроссовках сидит на скале и держит в руках снайперскую винтовку с оптическим прицелом. На эту фотографию Макаров смотрит внимательно. С улицы доносится рычание трактора и громкие мужские голоса. Хлопает дверь дома, вбегает Васька, открывает стоящий рядом с диваном сундук, вытаскивает литровую бутылку спирта и убегает. Снова доносится возглас, и трактор уезжает.

Васька возвращается в дом. Макаров смотрит на него насмешливо. Тот не выдерживает макаровского взгляда и виновато разводит руками.

**Васька**. Тракторист пьяный, как уж. Так траншею вырыл, что придется, наверное, трубы гнуть. Чайку, Сергеич?

**Макаров**. Не чаю мне надо, Вася, а денег.

**Васька**. Сколько?

**Макаров**. Десять тысяч.

Васька подходит к сундуку, открывает и вытаскивает деньги.

**Васька**. Да, но с одним условием.

**Макаров** (удивленно). С чего это ты стал ставить мне условия?

**Васька**. Не, Сергеич, не обижайся. На деньги, бери. Только выступи ты у нас, пожалуйста. Сколько лет обещаешь!

**Макаров**. И выступлю!

**Васька**. Честно?

**Макаров**. Честное пионерское.

**Васька**. Под салютом?

Макаров отдает пионерский салют. Наступает пауза.

**Васька**. А может... по маленькой?

**Макаров**. Я вообще-то сейчас не пью...

**Васька**. Да я тоже...



Кадр из фильма. Макаров и прапорщик Цветаев — Владимир Ильин

Взгляд Макарова падает на афганскую фотографию Васьки.

**Макаров.** Разве что по пятьдесят грамм...

**Васька.** По пятьдесят. У нас завтра министерская проверка. Шалыпин приезжает.

**Макаров.** Шалыпин? Кто это?

**Васька.** Министр, Сергеич, министр.

Они сидят друг напротив друга за кухонным столом, на котором хлеб, квашеная капуста и литровая бутылка спирта.

Красным фломастером Васька проводит по стеклу черту — чуть ниже горлышка.

**Васька.** Больше не будем.

**Макаров.** Конечно, не будем.

Оба серьезные, даже, пожалуй, слишком серьезные.

**Васька.** Ты лучше разбавь, а то у тебя желудок.

**Макаров.** Откуда ты взял?

**Васька.** А ты его все время трогаешь. Ну, давай, чтобы твое выступление хорошо прошло.

Они чокаются, выпивают, морщатся, крикают, занюхивают хлебом и закусывают капустой.

той. Макаров смотрит на афганскую фотографию.

**Макаров.** Слушай, Васька, расскажи про Афган. Как вы там... стреляли...

**Васька** (неохотно). Стреляли...

**Макаров.** Ну, расскажи! Ты там из пистолета стрелял?

**Васька.** Стрелял... Да чего рассказывать, Сергеич, правильно сейчас пишут, что грязная была война, позорная.

**Макаров.** А ты что ж, не понимал этого, когда добровольцем туда пошел?

**Васька.** Да вообще-то понимал.

**Макаров.** Ну?

**Васька.** Ну кому-то надо было туда идти.

**Макаров.** Так вот пусть кто-нибудь другой и шел бы!

**Васька.** Он и пошел.

**Макаров.** Кто?

**Васька.** Федька Федоров, сосед. Пошел, а через полгода его в цинковом гробу привезли.

**Макаров.** Так ты что ж, мстить за него отпавился?

**Васька.** Почему мстить? Мне перед тетей Верой было неудобно.

**Макаров.** Кто это?

**Васька.** Мать его.

Макаров усмехается, хлопает себя по колену.

**Макаров.** Ладно, давай до черточки добьем, да я поеду.

Прожевывая капусту, Макаров оглядывает стол.

**Макаров.** Раньше стол был побогаче. Или это ты был щедрее?

**Васька.** Да не потому, Сергеич. Кур последних я вам отвез. Их сейчас не прокормишь. Зерна не купить, а хлеб двадцать пять рублей буханка.

**Макаров.** А Василь Василич?

**Васька.** А я его продал. Живым весом. Откуда деньги-то.

**Макаров** (насмешливо). Как же ты один теперь будешь?

**Васька.** Почему один? Я козу купил. Зину. Мне хозяйка ее, Сидоровы, говорили, она полтора литра в день дает гарантированно.

**Макаров.** Сидорова коза?

**Васька.** Ага.

**Макаров.** А им она значит не нужна стала?

**Васька.** Так ее же в Израиль не пустят.

**Макаров.** А Сидоровы значит эмигрировать собрались?

**Васька.** Ага. Поллитра мне, а литр вам завозить буду. Оську ж надо на ноги ставить. Как он? Не заговорил еще?

**Макаров.** Ты погоди. Все продал, а сам что жрать собираешься?

**Васька.** А я — на работе, Сергеич. У нас из зарплаты высчитывают и три раза в день — горячее питание.

**Макаров.** Значит там у вас — рай?

**Васька.** Рай не рай, но жить можно. Чего ты смеешься?

**Макаров.** Слушай, а в твоём раю тир есть?

**Васька.** Есть, конечно.

**Макаров.** А пострелять там можно будет?

**Васька.** Ясное дело. Знаешь, как Евграфыч тебя ждет.

**Макаров.** Давай еще одну черточку проведем.

На бутылке уже несколько черточек, она пуста больше чем наполовину. Глаза Макарова крепко зажмурены.

**Макаров.** Слушай, если я сейчас глаза не открою, я засну.

**Васька** (кричит). Открывай!

Макаров открывает глаза. На крепкой Васькиной шее повязан пионерский галстук. В одной руке его горн, в другой — барабан.

**Макаров.** Ух ты!

**Васька.** Ты представляешь, Сергеич, захожу я к Вере Павловне, а она сидит, плачет. Говорит, знамя отвезли в Москву, за валюту продали, а это она спрятать успела. Просила сохранить. Я ей обещал. Жалко старуху.

Макаров берет барабан и выбивает длинную дробь. Васька трубит в горн.

Последняя черта на бутылке жирная и кривая.

Макаров громко икает.

**Макаров.** Желудок. Мне нужно молоко.

**Васька.** Молока нет.

**Макаров.** А коза есть?

**Васька.** Коза есть.

**Макаров.** Иди сходи к ней. Попроси. Скажи: Зина, там один человек, поэт, очень хочет молока. Между прочим, любимый поэт Иванова-Рабиновича.

**Васька.** Иванов-Рабинович? Кто это?

**Макаров.** Классик, Вася, классик. Иди к Зине.

**Васька.** Зина пока у Сидоровых.

**Макаров.** Они же в Израиле.

**Васька.** Нет, они еще не уехали.

**Макаров.** А деньги ты им уже отдал?

**Васька.** Отдал.

**Макаров.** Так нечестно. Слушай, а что, Сидоровы — еврей?

**Васька.** Русские.

**Макаров.** А как же в Израиль? Не понимаю...

**Васька.** Сумели доказать.

**Макаров.** Понял. Все равно идем к Зине.

Опираясь друг на друга, они с трудом поднимаются из-за стола.

По длинной полудеревенской улице идут Макаров и Васька. Васька трубит в горн, Макаров бьет в барабан. И в окна домов, мимо которых они проходят, зажигается свет.

Утро. Кафе «Кавказ» — обычная мрачноватая забегаловка с высокими столиками. О Кавказе напоминают лишь две большие, висящие рядом, картины: на одной изображена гора Арарат, на другой — нефтяные вышки на фоне Каспия.

Макаров с отвращением смотрит на рюмку водки, не находя в себе сил выпить. Кроме него в забегаловке — хозяин за стойкой — лоснящийся армянин. Не отрываясь, он пялит глаза на стоящую в углу девушку, похожую на райскую птицу, но, странное дело, уместную здесь. Макаров ее не замечает, не до девушек ему.

**Девушка** (с доброжелательной иронией в



Кадр из фильма

голосе). А вы чокнитесь, тогда легче будет.

Макаров смотрит на нее удивленно. Девушка держит в руке рюмку и приглашает с нею чокнуться. Макаров берет свою рюмку и тарелку с котлетой и направляется к ней.

Девушка (улыбаясь). Ваше здоровье, Александр Сергеевич.

Макаров чокается, но рюмку до рта не доносит.

Макаров. Откуда вы меня знаете?..

Девушка уже выпила и весело закусывает котлетой.

Девушка. Читаю мысли на расстоянии... (Смеется.) Да нет, вы когда входили сюда, сами с собой разговаривали. Вы говорили: «Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич». Я поняла, что с собой разговаривали.. Или с тем, со вторым?..

Макаров улыбается, оценив шутку.

Макаров. А вас как зовут?

Девушка. Марго.

Макаров. Маргарита?

Марго. Марго.

Макаров. Ваше здоровье, Марго.

Макаров решительно выпивает.

Марго тоже выпивает и громко обращается к армянину:

— Эй, Хачик, закрой свои ясные очи и иди отсюда!

Армянин. Зачем ругаться? Сразу бы сказала...

Обиженный армянин направляется в подсобку, где натывается, видно, на что-то, потому что раздается оглушительный грохот.

Марго и Макаров переглядываются и смеются.

Марго. Раз вы — Александр Сергеевич, значит вы стихи должны любить...

Макаров. Люблю...

Марго. А может, вы их пишете?

Макаров. Пишу...

Марго. Прочитайте!

Макаров. Нет...

Марго. Тогда я! Слушайте.

Ночь — как ночь, и улица пустынна.  
Так всегда!



Кадр из фильма. Потомственный дворянин Протасов Федор — Евгений Стеблов

Для кого же ты была невинна  
И горда —  
Лишь сырая каплет мгла с карнизов.  
Я и сам  
Собираюсь бросить злобный вызов  
Небесам.  
Все на свете, все на свете знают:  
Счастья нет.  
И который раз в руках сжимают  
Пистолет!  
И который раз, смеясь и плача,  
Вновь живут!  
День — как день: ведь решена задача.  
Все умрут.\*

Макаров молчит и с еще большим интересом смотрит на Марго.

Дверь кафе открывается, и входит человек — долговязый, забавный. Он снимает кепку, и голова его оказывается лысой. Он подходит к стойке, подслеповато щурится.

\* Стихотворение Александра Блока.

**Лысый** (высоким голосом). Товарищ, у вас можно купить сигареточку? Товарищ...

Армянин не отвечает. Лысый подходит к Макарову и Марго.

**Лысый**. Извините за беспокойство, у вас не будет сигареточки?

Марго мотает головой, а Макаров разводит руками.

**Лысый**. Еще раз извините.

Он пятится, почти кланяясь, и вдруг Макаров вспоминает...

**Макаров**. Постойте! Есть!

Макаров шарит по карманам, вытаскивает и кладет на стол ручку, блокнот, пистолет и только потом достает сигареты и протягивает раскрытую пачку лысому.

**Макаров**. Пожалуйста...

Лысый тянет к пачке руку, не сводя загнипнотизированного взгляда с «Макарова». Он не просто боится его, он словно узнает его и от этого боится еще больше. Сигарета дрожит у него в руке.

**Макаров**. Вам прикурить?





Кадр из фильма. Макаров и Марго — Ирина Метлицкая

Лысый торопливо кивает несколько раз и вставляет сигарету в рот вперед фильтром.

**Макаров.** Вы неправильно...

**Лысый.** Ничего, очень даже хорошо, благодарю вас...

Лысый пятится назад, пытаясь надеть на голову кепку, но все время промахивается.

В дверях он сталкивается с двумя омонцами. Они с подозрением смотрят на лысину лысого.

Марго накрывает пистолет тарелкой. Омонцы с подозрением смотрят на них обоих и закрывают дверь.

Марго смотрит на Макарова озорным взглядом.

**Марго.** А вам не кажется, что мы — родственные души?

**Макаров.** В каком смысле?

Марго раскрывает свою сумочку, вытаскивает из нее «лимонку» и кладет на тарелку. Макаров переводит потрясенный взгляд с гранаты на девушку. Ее глаза смеются. Она небрежно бросает «лимонку» обратно в сумочку.

**Марго.** Пока.

И уходит.

Макаров растерянно смотрит ей вслед. В дверях она на мгновение останавливается, поворачивает голову и делает ручкой. Сквозь стеклянную дверь Макаров видит, как она выходит на тротуар, поднимает руку, и тут же останавливаются «жигули». Она садится в машину и уезжает.

Макаров в махровом халате, с мокрыми волосами сидит в своей кухне за столом и хлебает щи, монотонно и тупо. Так же тупо он смотрит в телевизор, маленький, старый, с выключенным звуком. Идет американский боевик. Стреляют. Наташа смотрит влюбленными глазами на вернувшегося мужа и тихо читает стихотворение:

О, сладость, о самозабвень полета —  
пусть вниз головой, пусть  
единственный раз  
с высот крупноблочного дома в асфальт!

Кончай с этой рабской душой и телом!..  
И вот я окно распахнул и стою,  
отбросив ногою горшочек с геранью.  
И вот подоконник качнулся уже...  
И вдруг от соседей пахнуло картошкой,  
картошкой и луком пахнуло до слез.  
И слюнки текут... И какая же пошлость,  
И глупость какая! И жалко горшок  
разбитый. И стыдно. Ах, Господи Боже!  
Прости дурака! Накажи сопляка  
за рабскую злобу и неблагодарность!  
Да здравствуют музы! Да здравствует  
разум!  
Да здравствует мужество, свет и тепло!  
Да здравствует Диккенс, да здравствует  
кухня!  
Да здравствует Ленкин сверчок  
да герань!  
Гостей позовем и картошки нажарим,  
бокалы наполним и песню споем!\*

Макаров не слышит Наташу, он смотрит на экран телевизора. Герой фильма убивает всех и прячет «бульдог» за пояс брюк на поясице.

**Наташа.** Правда замечательно?

**Макаров.** Да.

В дверь требовательно звонят, и Наташа выбегает из кухни на цыпочках. Из прихожей доносятся приглушенные голоса, Макаров не прислушивается, продолжает монотонно работать ложкой.

Наташа возвращается, садится напротив, подпирает щеку рукой и смотрит нежно на мужа.

**Наташа.** Я знаешь, когда забеспокоилась? Когда утром приехал Вася, привез молока, сказал, что ты скоро придешь, а тебя все нет и нет. А молоко козье, оказывается, такое чудесное! Ося так его пил!

Макаров впервые взглянул на жену.

**Макаров.** Кто там приходил?

**Наташа.** Сантехник. Я еще вчера вызывала. У нас с бачком что-то в туалете. Ремонтирует...

До Макарова доходит не сразу, и еще несколько секунд он пребывает в состоянии ступора. И вдруг бросает ложку в щипцы и срывается с места.

Дверь в туалет открыта, и над унитазом склонился сантехник. Здоровенный мужик в телогрейке, надетой поверх синего халата, и в грязных кирзовых сапогах. Он уже приподнял крышку бачка, но еще не видит того, что в бачке.

Макаров вдыхает и обхватывает его сзади. Мужик замирает, не бросая крышку и не в силах сообразить, что же с ним хотят сделать. Макаров же не в силах что-либо объяснить. Наконец мужик поворачивает голову. Его

красновато-мутные глаза потрясенно лезут на лоб.

**Сантехник** (сипло). Ты... чего?

**Макаров** (выдыхает). Опустит... крышку...

Из-за его спины за всем этим встревожено и недоуменно наблюдает Наташа.

Макаров сует сантехнику деньги, закрывает за ним дверь и поворачивается... Судя по лицу, он готов взорваться от ярости. Наташа смотрит на него растерянно.

**Наташа** (умоляющим шепотом). Ося спит...

Тогда Макаров вдруг начинает махать пальцем из стороны в сторону, как автомобильный дворник двигается по стеклу, и шепчет с расстановкой — яростно и зло:

— Никогда... ничего... не... делай... без... моего... ведома...

**Наташа.** Но, Сашенька, я ничего не смыслю в туалетных бачках, а ты... тебе... нельзя...

**Макаров.** Почему?!

**Наташа.** Потому что ты... поэт...

**Макаров.** Да, я поэт!.. Я поэт... Но разве я перестал быть мужчиной? Разве я не могу сам?

**Наташа.** Но ведь ты... никогда... Сашенька...

По Наташиному лицу скатываются две слезинки.

**Макаров.** А я что — человек из мрамора? Или человек из железа? Я живой человек, живой! Все вокруг меняется, и я тоже меняюсь. И слава Богу! Слава... Богу!

Макаров стоит на четвереньках перед ванной. В руке у него мокрый целлофановый сверток.

**Макаров.** Тут тебе безопасней будет...

И засовывает сверток под ванну.

Оттуда выскакивает вдруг кошка, пугая Макарова.

**Макаров** (в ярости). Я убью тебя.

Макаров сидит за письменным столом. Перед ним — чистый лист бумаги, в руке — шариковая ручка. Он о чем-то думает. Водит ручкой по бумаге, и появляется рисунок — четкий, принадлежащий человеку бесспорно талантливому: полуобернувшись, смотрит на него Марго, но ручка продолжает двигаться, и вместо Марго появляется пистолет «Макаров». Макаров комкает лист и бросает в корзину.

Квартира Макарова. Он одевается в прихожей. Наташа рядом. И хотя на одной руке ее сидит Ося, свободной рукой она обирает с мужа невидимые пылинки.

**Наташа.** А я и не знала, что у тебя и руки золотые. Лучше всякого сантехника.

Макаров хмурится.

\* Отрывок из поэмы Тимура Кибирова.



Кадр из фильма. Наташа — Елена Майорова

**Макаров.** Прогуляюсь немного... Устал. И, поцеловав жену и ребенка, выходит из квартиры, но как-то странно, пятясь задом.

Наташа входит в кабинет, с надеждой смотрит на стол, видит чистый лист бумаги, и лицо ее становится грустным.

За стойкой в кафе «Кавказ» стоит не маленький толстый армянин, а длинный худой азербайджанец. Он медленно наливает в рюмку водку и медленно, уныло говорит:

**Азербайджанец.** Марго? Не знаю, дорогой... Я целый месяц в Карабахе был, вчера приехал...

**Макаров.** В Карабахе... Что ты там делал?

**Азербайджанец.** Как что делал, дорогой, с армянами воевал...

**Макаров.** Послушай, а тут был другой, маленький такой...

**Азербайджанец.** Хачик?

**Макаров.** Совершенно верно, Хачик...

**Азербайджанец.** Хачик уехал... на месяц...

**Макаров.** В Карабах?

**Азербайджанец.** Куда же еще...

**Макаров.** Постой, но он, кажется, армянин...

**Азербайджанец.** Конечно, армянин, кто же еще...

**Макаров.** Так вы, что же?..

И не в силах выразить догадку словами, указывает указательным пальцем на указательный палец.

**Азербайджанец** отрицательно мотает головой.

**Азербайджанец.** Не, дорогой, мы в разные смены воюем.

Макаров бесцельно бредет по улице. Навстречу ему по узкому тротуару идут двое омоновцев. Макаров пребывает в растерянности всего мгновение. Он кладет руку на поясницу и идет спокойно, даже вызывающе спокойно. И не он уступает им дорогу, а они расступаются перед ним.

Внимание Макарова привлекает витрина коммерческого киоска, в которой лежит игрушечный пистолет, упакованный в пенопласт и целлофан так, что края его не выступают наружу.

Кто-то настаивает вдруг Макарова сзади, закрывает ладонями глаза.

**Макаров (тихо).** Марго?

Раздается смех, и глаза Макарова милостиво освобождаются. Это Алена Бам. Она наряжена и навеселе.

**Алена Бам.** Я с презентации... Между прочим, ресторан «Парадиз» — неплохое местечко. А по вечерам там даже бывает стриптиз! Ты когда-нибудь видел стриптиз?

Макаров отрицательно мотает головой и трогает поясницу.

**Алена Бам.** Я тоже. Хотя зачем мне, женщине, стриптиз? Разве что мужской... (Хочочет и тут же становится серьезной.) У меня на соседней улице живет подруга. Может, зайдём, выпьем вина, поболтаем... Подруги, правда, нет дома, но ключи от ее квартиры у меня...

В глазах Макарова появляется смятение и страх. Алена смотрит на него внимательно.

**Алена Бам.** Ты что, заболел?

Макаров держится за поясницу.

**Макаров.** Ага, почки... Знаете, Алена, давайте так договоримся: вы оставьте мне адрес и идите к своей подруге, а я дойду до поликлиники, сдать анализы и сразу к вам...

**Алена** безмолвствует.

**Макаров.** Да там недолго. Только кровь и моча.

Алена снисходительно похлопывает Макарова по щеке.

**Алена Бам.** Лечись, Макаров, лечись... Да, передача тринадцатого, смотри Тиви.

Макаров смотрит вслед удаляющейся Алене, потом рассеянно на витрину. Это ресторан «Парадиз». Из-за стекла с большого, в рост, рисунка, стоя спиной и повернув голову, смотрит обнаженная Марго.

Васька в форме прапорщика внутренних войск и Макаров проходят через тюремный двор — от КПП к административному зданию. Васька счастлив и не скрывает этого. Макарову не очень уютно, он втягивает голову в плечи, поглядывая на узкие зарешеченные окна, время от времени трогает поясницу.

**Макаров.** Слушай, ты мне не найдешь еще немного денег?

**Васька.** Сколько?

**Макаров.** Да тысяч десять...

**Васька.** У меня нет, Сергеич, но я у ребят попрошу, они соберут.

**Макаров.** Ты имеешь в виду ээков?

**Васька.** Ага. Да мы друг дружку часто выручаем.

Тюрьма. Кабинет начальника. Майор Головлев — крупный, неуклюжий — торопливо встает из-за стола, опрокинув при этом стул, и идет навстречу Макарову.

**Майор Головлев.** Здравия желаем, товарищ поэт! Ничего, что я вас так называю?

**Макаров (улыбаясь).** Спасибо, что не гражданин.

**Майор Головлев.** Ну что вы, у нас вам делать нечего. То есть, я хотел сказать, вот так, как сейчас — милости просим, а на длительный срок — лучше не надо. Слушай, Василь Иваныч, я пошел сегодня в библиотеку, хотел взять стихи товарища поэта почитать перед встречей, а их там и нет...

**Васька.** Как нет?!

**Майор Головлев.** Так, нет...

**Васька.** Да я сам, лично, купил двадцать экземпляров, принес и положил...

**Майор Головлев.** Значит уперли, архаровцы. Формат небольшой небось... Ну вот, на самокрутки и пошли...

**Васька.** Разрешите отлучиться, Михаил Евграфыч?

**Майор Головлев (без особой надежды).** Попробуй. Слушай, Василь Иваныч, там еще книжка была... тоже стихи... Цветаева. Она случаем не твоя родственница?

**Васька.** Да какая родственница...

Вконец расстроенный Васька машет рукой и выходит из кабинета.

**Майор Головлев (со вздохом).** Вот архаровцы. Значит программа у нас следующая: сперва мы пообедаем, Александр Сергеевич, потом небольшая экскурсия по вверенному нам учреждению, затем посещение тира со стрельбой по мишеням и, наконец, чтение стихов и ответы на вопросы.

**Макаров.** А можно исключить первый пункт?

**Майор Головлев.** Ну уж нет, товарищ поэт. Тюремных щец вы у нас отведаете и, между прочим, из общего котла.

Они идут втроем по длинному узкому коридору вдоль камер — впереди майор, за ним Макаров, последний — Васька. Прикрывая поясницу, на которой слегка выпирает пистолет, Макаров сцепливает ладони за спиной.

Навстречу им надзиратель ведет заключенного. Он в ярком спортивном костюме.

**Надзиратель (приказывает).** К стене.

Но тот не слушается. Это Фунтов. Он удивленно и обрадованно смотрит на Макарова.

**Фунтов** (радостно). Александр Сергеевич, и вы здесь!

**Майор Головлев** (гаркает на ходу). К стене!

**Надзиратель** (уговаривает). К стене, пожалуйста, Савва Яковлевич.

**Фунтов**. Савелий Яковлевич.

И становится к стене.

**Фунтов** (кричит вслед Макарову). Я в двести сорок второй, Александр Сергеевич, заходите на досуге, чайком побалуемся, стихи почитаете...

**Макаров** (на ходу). А он как у вас оказался?

**Майор Головлев**. Да по глупости. У него в машине пистолетик нашли, итальянский «беретту». Они, вообще-то, у кого незаконное оружие, на каждый день заявление пишут, а он, видно, поленился...

**Макаров**. Какое заявление?

**Майор Головлев**. Простое. В милицию. Я, такой-то, нашел пистолет и несу сдавать. Число. Подпись. Тут уж не подкopaешься, а он... Вообще-то, он мужик неплохой. Он мне, между прочим, миллион предлагал за то, чтобы я ему в камере разрешил держать клетку с любимым кенаром...

**Васька**. Мне тоже...

**Майор Головлев** (ревниво хмурит брови). Миллион?

**Васька**. Пятьсот тысяч.

**Макаров**. И что же ему теперь будет?

**Майор Головлев**. Пять ему, конечно, не дадут, но три точно.

Тир в тюрьме — длинный сырой подвал. У стены — подсвеченная сзади мишень — черный силуэт человека.

**Майор Головлев** держит в руке пистолет и поглаживает его другой рукой.

**Майор Головлев**. Вот она — машинка, всем машинкам машинка.

**Макаров**. Это... кто?

**Майор Головлев**. «Стечкин», двадцатизарядный, прицельная дальность стрельбы двести метров.

**Макаров**. А что, вы считаете, пистолет Макарова хуже?

**Майор Головлев**. Ясное дело, хуже. Его знаете, как наши ребята в Афгане называли? «Только застрелиться!» Правильно, Василь Иванович?

**Васька** (смущенно пожимает плечами). Это кто как хочет, товарищ майор. Мне «Макаров» однажды жизнь спас.

**Майор Головлев**. Ладно, спорить не будем. Прошу, товарищ поэт.

**Макаров**. А вы?

**Майор Головлев**. Я... мне при подчиненных нельзя. Могу потерять авторитет.

**Макаров**. Васька, а ты?..

**Васька** мотает головой, отступает назад.

**Майор Головлев**. А он, товарищ поэт, это занятие не любит страшно. Он у меня даже взыскания получал. Начинайте, товарищ поэт! Да, помните, пуля, она что слово: вылетела — не поймаетшь.

**Макаров**, волнуясь, целится долго, и, наконец, звучит выстрел. Но без всяких последствий для мишени. Он стреляет еще раз, еще и еще, и все с тем же результатом.

**Майор Головлев**. А вы очередь, товарищ поэт, очередью.

Он переводит на пистолете какой-то рычажок.

Уже не целясь и с трудом удерживая оружие двумя руками, Макаров стреляет очередью. Мишень остается невредимой.

Уязвленный и раздосадованный, Макаров отдает оружие майору.

**Майор Головлев**. Давай, Василь Иванович, поучи друга стрелять.

Он вставляет новую обойму.

**Васька** берет пистолет, целится и стреляет.

У силуэта-человека появляются глаза. Потом еще один. Нос. А после четырех выстрелов подряд — улыбка.

**Майор Головлев**. Тут тоже нужен талант, товарищ поэт!

**Васька**. Да какой талант...

Он вкладывает пистолет в ладонь Макарова, что-то объясняет ему негромко, вместе целится и отходит.

Во лбу мишени появляется дырка. Макаров счастливо улыбается.

Тюрьма. Клуб. Зал клуба полон. На сцене — длинный, покрытый кумачом, стол, на котором графин с водой и стакан. За столом — майор, Васька, мордатый ссученный ээк для представительства и Макаров. В зале шумно. Майор стучит пробкой графина по графину и, когда становится тихо, зычно говорит:

— Сегодня у нас в гостях долгожданный гость — известный поэт Александр Сергеевич Макаров.

**Майор** замолкает в ожидании аплодисментов, и они возникают. Все, кроме Макарова, хлопают.

**Майор Головлев**. Вступительное слово предоставляется прапорщику Цветаеву.

Зал добродушно гудит. Васька стремительно встает и выходит на середину сцены. Зал затихает. Не в силах удержать себя на месте, Васька мечется по сцене. Ээки дружно поводят головами, следя за ним. Вдруг Васька останавливается и выбрасывает руку с выставленным указательным пальцем в зал.

**Васька** (яростно кричит). Вы — козлы!

Он замолкает, пытается себя успокоить. В зале наступает абсолютная тишина.

**Молодой человек** (гнусаво из зала). За тебя ответишь.

Но его обрывает звонкий звук затрешины.

Пожилой сухопарый рецидивист поднимается с последнего ряда.

**Рецидивист** (басом). Обижаете, Иваныч...

**Васька** (вновь взрывается). На обиженных воду возят! Уперли книжки? Скурили? А не я ль просил тебя, Герасим, чтоб проследил?!

**Рецидивист**. Так они сперва читали...

**Васька**. Читали... Если б читали, хрен бы вы стали самокрутки крутить!.. А вы знаете, как те стихи писались? Вы, если в пайку недовложение, какую бузу устраиваете! А вы знаете, когда в доме молока нет для ребенка и ему вместо соски — жеванный хлеб в тряпочке?.. Ты извини, Сергеич, выступать не собирался, но достали они меня, козлы... Это дочь была его, Анна, она теперь учительница... Ему работу предлагали: в газете, на радио, на телевидении, а он не может, нелзя...

**Мужик** (из зала). Почему нелзя-то?

**Васька**. Да потому, что поэт он! Он бы тогда стихов этих не написал, понятно?

**Голос из зала**. Понятно, а то мы думали — запрещали...

**Васька**. И запрещали. Еще как запрещали! У него поэму одну со стола украли. Потом... Вот ты, Герасим, рассказывал, когда ты сейф в министерстве внутренних дел взял, какая за тобой слежка была, неприятно тебе было? А ты знаешь, как за Сергеичем следили? Да если бы не жена его, Наталья Николаевна, он бы давно в психушке сидел!

Васька прошел по сцене от края до края, успокаивая себя.

**Васька**. В общем, не знаю, согласится ли он после всего вам свои стихи читать... Я б не стал.

**Человек из зала**. Да Соловей, сука, эти книжки упер! Наказали его уже...

И вновь поднимается шум, гвалт. Майор Головлев спрашивает о чем-то Макарова, и тот, красный от смущения, кивает.

**Голос из зала**. Читай, поэт!

— Послушаем!

— Не рви души, Сергеич!

Макаров встает, выходит на середину сцены, дожидаясь, пока зал совсем успокоится, и, сосредоточиваясь на предстоящем чтении, совсем забыв о пистолете, подтягивает за пояс брюки. И «Макаров» мгновенно проваливается в штанину. Александр Сергеевич цапает себя за ягодицу, но поймать его не успевает. Успевает лишь согнуть ногу в колене и задержать пистолет на сгибе. Поза Макарова неудобная и в высшей степени странная, но эски воспринимают ее пока как подготовку к чтению. Макаров не может двинуться, но и стоять так больше не может. У него белое от ужаса

лицо, покрытое крупными каплями пота. Эски готовы внимать, но он молчит.

Внезапно из двери за сценой выбегает офицер с автоматом на плече, подбегает к майору и что-то говорит ему, но в зале так тихо, что все слышат.

**Офицер**. Соловьев сбежал...

О Макарове все мгновенно забывают. Вскрывается майор, вскакивают эски, начинает выть сирена, и в зал вбегают солдаты с автоматами и собаками.

Макаров стоит на сцене один перед совершенно пустым залом. У ног его лежит «Макаров» и весело поблескивает вороненой гранью.

Квартира Макарова. Макаров смотрит из окна кабинета во двор, где в сквере прогуливается с коляской Наташа. Ося спит, Наташа читает журнал. Но она словно ждет, когда Макаров подойдет к окну, или так его чувствует, что сразу же поднимает голову и улыбаясь машет рукой. Макаров улыбается в ответ и тоже машет рукой.левой. В правой, опущенной — «Макаров». Он отходит от окна к занимающим всю стену книжным полкам и начинает вынимать одну за другой самые толстые книги, сравнивая их вес с весом пистолета. Подходящим оказывается том Пушкина в добротном, сталинских времен, переплете.

Макаров укладывает его на стол, открывает на странице примерно пятидесятой, кладет на нее «Макарова» и обводит карандашом. Убирает пистолет, положив его рядом, берет опасную бритву, начинает резать бумагу, выгребать ее из нутра книги и укладывать на стол. Под ногами пугается кошка, но Макаров ее не замечает.

В образовавшуюся в книге нишу Макаров укладывает пистолет. И закрывает книгу. Просто, как все гениальное!

**Макаров** (кричит и хлопает в ладоши). Ай да Макаров, ай да молодец!

Успокоившись, он собирает резаную бумагу, складывает ее в медный таз и поджигает. Пламя занимается быстро, большое и жаркое, так что Макаров даже отступает от него. Пронзительным междугородным звонком звонит телефон, и Макаров торопливо берет трубку.

**Телефонистка** (противно кричит). Але! 28-16-59?

**Макаров**. Да...

**Телефонистка**. Вас Степанчиково вызывает.

**Макаров**. Что?

**Голос телефонистки**. Степанчиково!.. Идите в третью кабину!



Кадр из фильма

И тут же возникает высокий и восторженный голос дочери Анны.

**Анна.** Алло!

**Макаров.** Анна?

**Анна.** Папка, ты?

**Макаров.** Я, кто же еще? Ну, как дела? Когда приедешь?

**Анна.** Дела хорошо, когда приеду, не знаю. А где мама, Ося?

**Макаров.** Гуляют.

**Анна.** Ося не заговорил?

**Макаров.** Да нет пока.

**Анна.** Передай привет. А я как раз тебе звоню. Папка, послушай, какое чудо!

Ночью черниговской, с гор араратских  
Шерсткой ушей доставая до неба,  
Чад упасая от милостынь братских,  
Скачут лошадки Бориса и Глеба...

Макаров слушает чужое стихотворение, печально глядя на догорающее в тазу пламя. И вдруг вопит кошка и пулей вылетает из комнаты. На нее упал, свалившись со стола, пистолет. Макаров смотрит на него растерянно, бросает трубку, поднимает его и почти обжи-

гает пальцы о нагретый металл. Испуганно и торопливо он дует на пальцы и пистолет. Телефонная трубка, покачиваясь, свисает почти до пола, и из нее доносится торопливый голос дочери:

— Пугают путь им лукавые черти.

Даль просыпается в россыпях солнца.

Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти,

Мук не принявший вовек не спасется.\*

Наташа с Осей на руках бесшумно подходит к приоткрытой двери кабинета.

Макаров склонился над столом. Стол усыпан исписанными листами бумаги, а Макаров все пишет и пишет.

Наташино лицо светлеет, а глаза счастливо светятся.

Ося открывает было рот, но Наташа прижимает палец к его губам и шепчет:

— Тише, Осенька, папа работает.

Макаров откладывает в сторону еще один исписанный лист и начинает другой.

\* Отрывок из стихотворения Бориса Чичибабина.



В районное отделение  
внутренних дел  
от гражданина  
Макарова А. С.

### З а я в л е н и е

Я, Макаров А. С., волею случая нашел на улице пистолет «Макаров» и, как законопослушный гражданин, несу вам его сдавать.

Макаров подписывается и ставит число. На лице его — счастье вдохновения.

Ресторан «Парадиз». Вечер. Макаров сидит близко к сцене за столиком на двоих и в ожидании официанта нетерпеливо выбивает пальцами дробь на обложке лежащего перед ним тома Пушкина.

Зал полон, в основном это мужчины-кавказцы да редкие размалеванные блондинки. Играет музыка, но сцена пока пуста. Макаров наряжен, под рубашкой шелковый шейный платок.

Подходит официант и, склонившись, протягивает меню. Макаров отрицательно машет рукой. Официант склоняется еще ниже.

**Официант.** Чего изволите?

**Макаров.** Бокал вина.

Официант выпрямляется.

**Официант.** И все?

**Макаров.** Пока...

**Официант.** Извините, но у нас принято расплачиваться сразу.

**Макаров.** Сколько с меня?

**Официант.** Две тысячи.

Макаров поднимает стоящий у его ног целлофановый пакет, протягивает официанту. Тот заглядывает в него и видит кучу смятых тroyков и пятерок.

**Макаров.** Отсчитайте, сколько вам нужно, остальное принесите.

**Официант (недоуменно).** Откуда они?

**Макаров.** Из тюрьмы, дорогой, из тюрьмы.

На сцену выходит щуплый конферансье в смокинге.

**Конферансье.** Добрый вечер, господа! Начинаем нашу шоу-программу. Наш первый номер — танцевальный ансамбль «Русский привет»!

**Крик из зала.** Марго давай!

Макаров смотрит в зал. Кричал кавказец в белом костюме. Он сидит один за роскошным столом.

**Конферансье.** Имейте терпение, господа, всему свое время.

На сцене пляшут и поют цыгане. Публика пьет и закусывает. А в зале появляется еще один посетитель — русский, высокий, крепкий, крепко пьяный. Он останавливается на-

против эстрады, пытается тоже плясать, но у него не получается. Он озирает зал, видит свободное место за столиком Макарова и, сильно качаясь, направляется к нему.

**Пьяный.** Разрешите?

**Макаров (не глядя).** Пожалуйста.

Пьяный садится, изучающе смотрит на Макарова, потом на книгу.

**Пьяный.** Вот это книга! Прямо книжища. У вас там случаем не динамит?

**Макаров.** Нет, там пистолет.

**Пьяный (хохочет).** А вы шутник!

Неожиданно для Макарова он тянет книгу к себе. Макаров растерян.

**Пьяный.** Ас Пушкин. Про летчиков значит? Это шутка, вы понимаете. Мы про Пушкина тоже знаем, слышали. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» Давайте-ка мы на нем погадаем!

Пьяный наугад раскрывает страницу и читает.

**Пьяный.** «К Наталье». Эпиграф. Тут по-французски... А, вот перевод: «Почему мне бояться сказать это? Марго пленила мой вкус». А почему тогда к Наталье?

У Макарова вытягивается лицо.

**Пьяный.**

«Так и мне узнать случилось,  
Что за птица Купидон;  
Сердце страстное пленилось,  
Признаюсь — и я влюблен».

Пьяный захлопывает книгу.

**Пьяный.** Мимо... Мне это ничего не говорит. А вам? Что, в самое яблочко?

Макаров тянет книгу к себе. Похоже, он потрясен.

**Пьяный.** Да, есть такая птица. Кого Купидон не клевал, тот сладкого не едал! А знаете, что я за птица? Сирин. Слышали? Сирин — птица вещая. А теперь слушайте меня. Берите свою книгу и идите туда...

Пьяный указывает взглядом за сцену.

**Макаров.** Зачем? Мне отсюда хорошо видно.

**Пьяный (усмехается).** Ох, и непонятливая эта интеллигенция. Извините, но я сейчас на вас дыхну!

И пьяный действительно выдыхает воздух в лицо Макарова.

Макаров задумывается.

**Крики из зала.** Марго давай!

**Пьяный.** Поторопитесь. Ее уже зовут, а она вас там ждет.

Макаров входит за кулисы. Здесь стоит Марго. Она чем-то очень взволнована и даже не улыбается Макарову.

**Марго.** Стойте здесь и не двигайтесь. Ни на сантиметр!

Она снимает накинутый на плечи длинный шелковый халат и набрасывает на книгу. Марго в длинном блестящем платье.

**Крики из зала.** Марго давай!

Под новую музыку Марго выбегает на сцену.

Макаров стоит, не двигаясь, у стены, прижав обеими руками к груди книгу и халат. Он не видит, как исполняет свой номер Марго, но видит реакцию части зала и, если судить по лицам, то раздевается она потрясающе. Это так захватывает Макарова, что он не замечает, как рядом появляются омововцы в бронежилетах, касках и матерчатых масках на лицах, с поднятыми вверх короткоствольными автоматами. Похоже, номер Марго подходит к своей кульминации. Медленно встает Пьяный, откуда-то из-под мышки вытаскивает пистолет Стечкина и кричит зычно и властно:

— Всем оставаться на местах! Проверка!

Мимо Макарова в зал бегают омововцы.

Он видит, как они кладут на пол посетитель, как падает на пол оружие, как защелкиваются наручники.

К Макарову подбегает почти голая Марго. Она испугана. Марго выхватывает у Макарова халат, набрасывает на плечи.

**Марго** (шепчет). Уходим!..

Макаров и Марго торопливо выходят из служебного входа ресторана, быстро идут, но вдруг слышат несколько пистолетных выстрелов и видят, как в их сторону бежит человек в белом костюме. Марго прижимается к стене, а вместе с нею и Макаров. (Голос от ресторана.)

— Стой, стреляю!

Человек в белом быстро поворачивается, чтобы сделать выстрел, но звучит короткая автоматная очередь, и он, словно передумывая, роняет на землю пистолет и, схватив себя обеими руками за горло, идет, покачиваясь, дальше. Увидев Марго, он останавливается. Марго смотрит на него испуганно. У него белое лицо, он словно пытается себя задушить. Его большие черные глаза полны страдания и мольбы о спасении. Марго не выдерживает.

**Марго** (кричит зло и истерично). Пошел к черту, Джохар!

Он хочет что-то сказать ей, и вдруг тонкая и сильная струя черной крови бьет Марго в лицо.

Она визжит и закрывает лицо руками.

К ним бегут, стуча подковами каблуков по асфальту, омововцы. Джохар мертво падает.

Загородный дом. Ночь. Марго включает в

прихожей свет, запирает мощную дверь на множество запоров.

На вешалке висит шуба. Макаров видел ее на Фунтове. Он на мгновение задумывается вспоминая, и вдруг Марго начинает рыдать. Макаров смотрит на нее растерянно, нерешительно и осторожно гладит ее по волосам, и она в ответ прижимается к нему доверчиво.

**Марго** (сквозь рыдания). Я любила его, понимаешь, любила!

Макаров успокаивающе гладит ее по голове.

**Марго.** Господи, как я устала, как я устала! Не могу больше, не хочу больше! Жить!..

**Макаров.** Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь...

**Марго.** Да! Все! К черту!

Она отступает от Макарова, вытирает по-детски ладонями слезы и так же по-детски шмыгает носом, улыбается виновато.

**Марго.** Проходите. Только разуйтесь, здесь паркет.

Макаров стоит в большой, хорошо обставленной гостиной у незашторенного окна. В руке его том Пушкина. Марго вносит в комнату многочисленные импортные яства.

**Макаров.** Это ваш дом?

**Марго.** Почти...

Она быстро подходит к окну и задергивает шторы. Подойдя вплотную к Макарову, она останавливается, опустив голову. Макаров кладет ей руку на плечо, целует ее в голову, и вдруг пистолет из книги вываливается и падает Макарову на ногу. Не выдержав неожиданной боли, Макаров стонет и поднимает ногу. Марго смотрит на пистолет.

**Марго.** Ты не расстанешься с ним? Правильно делаешь.

Они сидят за столом, пьют из больших бокалов шампанское, смотрят друг на друга в неверном свете свечей. Звучит тихая музыка.

**Макаров.** Скажи... Это твое занятие, зачем оно тебе? Точнее — что ты при этом чувствуешь?

**Марго** смотрит насмешливо.

**Марго.** А зачем ты пишешь стихи? Что ты при этом чувствуешь?

**Макаров.** Не знаю... Наверное, это моя потребность...

**Марго.** А это моя.

**Макаров.** Ты чувствуешь в этот момент публику?

**Марго.** А ты, когда выступаешь?

**Макаров.** Я? Да, конечно.

**Марго.** А ты ее любишь?

**Макаров.** Я, если честно, побаиваюсь.

**Марго.** А я просто ненавижу.

**Макаров.** Извини.

**Марго** (улыбаясь). Ты извинился. А моя

публика после представления предпочитает меня насилловать.

Макаров молчит, глядя в пол, потом поднимает глаза.

**Макаров** (тихо). Знаешь, мне кажется — я люблю тебя.

**Марго**. А мне не кажется. Я это точно знаю. Я люблю тебя.

Марго стоит посреди гостиной и раздевается под музыку. Макаров смотрит, не двигаясь и не мигая. У него глаза влюбленного мужчины. Она остается голой. Музыка кончается. Она не знает, что делать. Она подхватывает с пола какую-то деталь одежды, стыдливо прикрывается ею. У нее глаза влюбленной женщины.

**Марго** (шепчет). Иди ко мне...

Макаров встает.

Из раскрытого тома книги смотрит, выставив ствол, «Макаров».

Они лежат в спальне на роскошной широкой кровати. Макаров спит. Крепко, сладко, посапывая. Марго не может заснуть. Завернувшись, как в кокон, в простыню, она вертится на кровати. Из книги наблюдает за ней «Макаров». Она чувствует его взгляд, смотрит внимательно на него, вскакивает, бежит к нему, берет его в руки, смотрит на него.

**Марго** (шепчет). Иди ко мне!

...Солнечный свет. Веселая Наташина улыбка. Она помолодела лет на десять, красивая, нарядная. Она трясет мужа за плечо и громко, жизнерадостно декламирует:

Не спи, не спи, художник!

Не предавайся сну!

Ты вечности заложник

У времени в плену!

Макаров открывает глаза. Солнечный свет. Роскошная кровать. Макаров поворачивается, но вместо Марго видит на соседней подушке, лежащей к нему «спиной», пистолет. Макаров прислушивается. В ванной шумит вода. Макаров садится на кровати. На полу валяется том Пушкина. Макаров поднимает его и укладывает пистолет. Закрывая книгу, он натывается на то стихотворение и задумчиво читает его вслух:

Наташе. Почему мне бояться сказать  
это? Марго

пленила мой вкус.

Так и мне узнать случилось,

Что за птица Купидон;

Сердце страстное пленилось;

Признаюсь, и я влюблен.

Макаров закрывает книгу, взгляд его падает на портрет Пушкина.

**Макаров**. Даже здесь ты пророк...

Он натягивает брюки и задерживается у туалетного столика. Взгляд его привлекает граната «лимонка». Макаров осторожно берет ее, осматривает и неожиданно нюхает. Нажимает на кнопку вверх. Это духи. Макаров смеется, берет со столика зеркало, смотрится. Он хорош, хотя и небрит, а под глазами синие круги. На шею обнаруживает темное пятнышко от поцелуя, трет его пальцем, но, разумеется, не стирает. На столике лицом вниз лежит фотография в рамке. Макаров поднимает, смотрит. Это Фунтов. Он в шубе, улыбается.

Макаров открывает дверь ключом и входит. В прихожей со скорбным и встревоженным выражением лица стоит Наташа. На руке у нее Ося.

**Макаров** (насмешливо). Ты прямо Родина-мать... Так и стоишь здесь?

Наташа быстро подходит к мужу, прижимается. Она видит на его щеке пятнышко от поцелуя и закрывает глаза. Ощущает запах духов и не дышит.

**Наташа**. Я очень волновалась, Сашенька. Утром позвонила Васе на работу, а он ничего...

**Макаров** (тихо). Зачем? (Кричит.) Зачем?!

**Наташа** (испуганно). Но он наш друг, он...

**Макаров**. Друг. Друг семьи, да? А может, он только твой друг? «И нам вместе очень хорошо станет». Думаешь, я ничего не понимаю?

Наташины глаза наполняются слезами.

**Макаров**. Ну? Что молчишь? Предпочитаешь уничтожить меня молча? Ну! Спроси, что это у меня на шее, а я отвечу...

Наташа мотает отрицательно головой, не желая спрашивать.

**Макаров**. Спроси тогда, какими духами от меня пахнет...

**Наташа**. Н-нет... Только, пожалуйста, не кричи, ты испугаешь Осю.

**Макаров**. Осю? Его уже ничто не испугает. Он идет в кабинет. Она следом.

**Макаров**. Есть давай. Жрать хочу, слышишь?

**Наташа**. Все готово, сейчас подогрею.

Макаров собирается поставить том Пушкина на полку.

**Наташа**. Саша, я перед тобой очень виновата.

**Макаров**. Конечно, виновата. (Оборачивается.) В чем?

**Наташа**. Ты так давно ничего не писал... Я так волновалась, так хотела этого... Когда я увидела вчера, что ты наконец пишешь... Когда ты ушел, я не удержалась, подошла и прочитала. Прости меня, если можно...

Макаров подходит к письменному столу,

видит рассыпанную стопку своих заявлений в милицию, поднимает на жену глаза.

**Наташа.** Саша, я тебя не понимаю...

**Макаров.** Что? Что ты не понимаешь?

Наташа указывает на заявления взглядом.

**Наташа.** Что это?

**Макаров.** Это?

**Наташа.** Да, Саша, я совсем тебя не понимаю.

**Макаров.** Это что?

Макарова начинает разбирать смех, он борется с ним, прилагает огромные усилия, чтобы смех превратить в ярость, чтобы ложь превратить в правду.

**Наташа.** Да, Саша, пожалуйста, объясни, я не понимаю.

**Макаров.** Это?!

Им наконец овладевает праведный гнев.

**Наташа.** Да, Саша...

**Макаров** (тихо, но горделиво). Это... Поэма.

В Наташиных глазах возникает мгновенный ужас.

**Наташа.** Поэма?.. А-а как она называется?

**Макаров.** А ты не поняла? «Макаров». Да, поэма «Макаров», моя лучшая вещь. (Кричит.) А ты что думаешь, то, что ты выковыриваешь в так называемых толстых журналах и чем пичкаешь меня даже в сортире,— то поэзия? Нет! То банальное и пошлое собрание образов! Я — любимый поэт Иванова-Рабиновича — признанного мастера постмодернизма! Это — постмодернизм! Я беру действительность и разлагаю ее. Разлагаю, разлагаю! Разлагаю! Я ее уже почти разложил...

**Наташа** (тихо). Саша, я не понимаю тебя...

**Макаров** (кричит). А знаешь, почему? Потому что ты мешанка, ты — душечка, как там ее звали?

**Наташа** (с привычной готовностью). Оленька, дочь отставного коллежского асесора Племянникова.

**Макаров** (кричит). Вот ты и есть эта самая Оленька, дочь отставного, вдова действительного, и — вон, вон из моего кабинета!

Макаров прохаживается по тротуару — под часами. Он наряжен, в руке его красивая роза на длинном черенке.

На лавочке на солнечной стороне сидят две бабули с авоськами. К ним подходит дурачок — здоровый мужик с деревянным, привязанным за веревку, грубо сделанным пистолетом. Он целится в бабуль и стреляет.

**Дурачок.** Пу! Пу!

Одна бабуля смотрит на него ласково, а другая — испуганно.

**Первая бабуля.** Витюша, иди сюда, я тебе хлеба дам. Иди, не бойся.

Дурачок осторожно подходит, бабуля отла-

мывает кусок и протягивает ему. Тот берет хлеб, грызет, но на всякий случай еще стреляет:

— Пу! Пу!

**Первая бабуля.** Не узнала?

**Вторая бабуля.** Не. А кто это?

**Первая бабуля.** Да Витька Корчагин, электромиком у нас работал.

**Вторая бабуля.** Да что ты!

Она смотрит на дурачка. Тот грызет хлеб и лениво копается в ближайшей урне.

**Первая бабуля.** Вот тебе и что! Дело-то как было... Он, значит, да Сенька Писарев, мой сосед, да еще один, не наш, решили на троих сообразить и третьего-то за вином послали. Ждут, а его нет и нет...

**Вторая бабуля.** Сбежал?

**Первая бабуля.** А бутылочка-то, она пятьсот рублей стоит, да и выпить им охота. И пошли они его искать. А ночь была на дворе. Они обзонались, а тот из пистолета их чуть не пострелял!..

**Вторая бабуля.** Ой-ё-ёй!

**Первая бабуля.** Сеньке-то, черту этому, ничего, а Витюша, видишь, ослабел...

Макаров растерянно смотрит в спину бредущему к другой урне дурачку. И трогает, лежащий в боковом кармане, пистолет. Вдруг кто-то сзади закрывает ему глаза ладонями.

**Макаров.** Марго!

Марго смеется, виснет у него на шее. Они замирают в долгом поцелуе и, обнявшись, уходят. Краем уха Макаров слышит голоса бабуль.

**Первая бабуля.** Видела?

**Вторая бабуля.** А кто это?

**Первая бабуля.** Не узнала?!

Марго и Макаров идут по весенней веселой улице. Марго посматривает на Макарова и вдруг морщится.

**Марго.** Слушай, а что это у тебя на голове?

Макаров трогает берет.

**Макаров.** Берет.

**Марго.** А я думала, презерватив для мозгов.

Макаров останавливается, стягивает берет с головы и растерянно смотрит то на берет, то на Марго.

**Марго.** Обиделся? Извини. Но он совсем тебе не идет.

Макаров улыбается и бросает берет на проезжую часть. Берет взлетает, подхваченный ветром, и, опустившись в кузов проезжающего мимо грузовика, уезжает.

Марго смеется и тянет Макарова к двери магазина...

Они выходят из магазина смеясь. На голове у Макарова белая широкополая шляпа. Он несколько смущен, но, кажется, счастлив.

Впереди на тротуаре обширная лужа с редкими сухими островками. Макаров легко подхватывает Марго на руки и несет. Обхватив его за шею, Марго смеется. Прохожие оглядываются и улыбаются. Макаров улыбается в ответ всем — по-мужски снисходительно.

Он еще не видит, что навстречу движется его семья: Наташа с коляской, в которой сидит задумчивый Ося, а рядом дочь Анна — длинная, очкастая, смешная, с рюкзаком за спиной и с дорожной сумкой. Они увидели его первыми и продолжают обреченно двигаться навстречу.

Макаров спотыкается, увидев их, но тоже продолжает идти. Марго еще ничего не замечает, глаза ее закрыты из-за бьющего в лицо солнца.

Макаровы поравнялись и остановились. Анна улыбается, обнажив два больших передних зуба.

Анна. Папка! Ты в этой шляпе похож на Пушкина в Бессарабии!

Наташа. Только если вот так...

И Наташа поправляет шляпу так, как, на ее взгляд, носил свою шляпу Пушкин в Бессарабии.

И они расходятся. Макаров выносит Марго на сухой асфальт, ставит на ноги и оглядывается, смотрит в спину своим: не обернувшись, они скрываются за углом дома.

Макаров выглядит глупо, и Марго начинает хохотать. Макаров смотрит на нее ненавидяще.

Макаров. Может, ты лучше здесь разденешься?! Стриптизерка!

Марго (тоже кричит). А может, ты лучше считаешь стихи? Ты, поэт! Чем ты лучше меня?! Я обнажаю свое тело, а ты на людях раздеваешь свою душу!

На мгновение Макаров растерялся, затем сорвал с головы шляпу и принялся ее топтать.

Марго с грустью смотрит на свой подарок и бьет Макарова ладонью по щеке — сильно, звонко, умело. Макаров застывает, смотрит на Марго, смотрит по сторонам и вдруг хватается за нее и тянет, сопротивляющуюся, во двор магазина.

У стены свалены в кучу пустые картонные коробки. Макаров бросает Марго на них и сам падает сверху.

Из служебных дверей магазина высыпали на крыльцо непохмеленные грузчики и неохватные продавщицы. Они наблюдают, обсуждают и комментируют...

Квартира Макарова. Вечер. На магнитофоне лежит листок бумаги, на котором написано крупно: «Саша, включи, пожалуйста. Наташа».

Макаров усмехается, нажимает на клавишу.

Голос Наташи. Саша, случилось то, чего не

должно было случиться — мы ушли... от тебя. Чтобы ты не волновался и не тратил время на поиски, скажу сразу — мы живем у Васи. За наши двадцать пять лет любви и счастья я обращалась к тебе с просьбами дважды. Первый раз — обвенчаться. За это Бог подарил нам Осю. Второй раз — чтобы ты носил с собой папиросы... И тебя перестали бить. А сейчас моя третья просьба, последняя. Не пытайся нас вернуть. Дело совсем не в той женщине, поверь. И Пушкин не был верен своей жене... Я все простила тебе, Саша, прощу и это... Но только не поэму «Макаров». И жить с человеком, который создает подобное произведение, я не могу, даже если этот человек — отец двух моих детей. До свидания. Наташа.

Было слышно, как сдерживала себя Наташа, говоря последние слова. Но Макаров слушал невнимательно. Он возился с пистолетом. Обойма что-то плохо входила в рукоятку, заедало.

Макаров. Черт, патронов маловато.

Из магнитофона звучит их песня, под которую они танцевали в день двадцатипятилетия их первого поцелуя.

Двор Васькиного дома. Ночь. На веревке между забором и старой яблоней сушатся Осины колготки. Макаров инстинктивно щупает их и с ненавистью смотрит на светящиеся окна Васькиного дома.

Макаров. Водопровод провел... Горячая вода... Скотина...

В одном из окон ходит взад-вперед Анна. В руках ее — толстая книга. Анна то заглядывает в нее и читает вслух, то прижимает к груди, запоминая прочитанное. Макаров усмехается.

Макаров. Идиотка, дочь идиотки...

В другом окне сидят за столом Васька и Наташа. Они говорят друг другу что-то тихое, спокойное, необязательное. На руках у Васьки — Ося.

Макаров. Ребенку спать пора, скоты...

Он достает из кармана початую бутылку водки и отпивает.

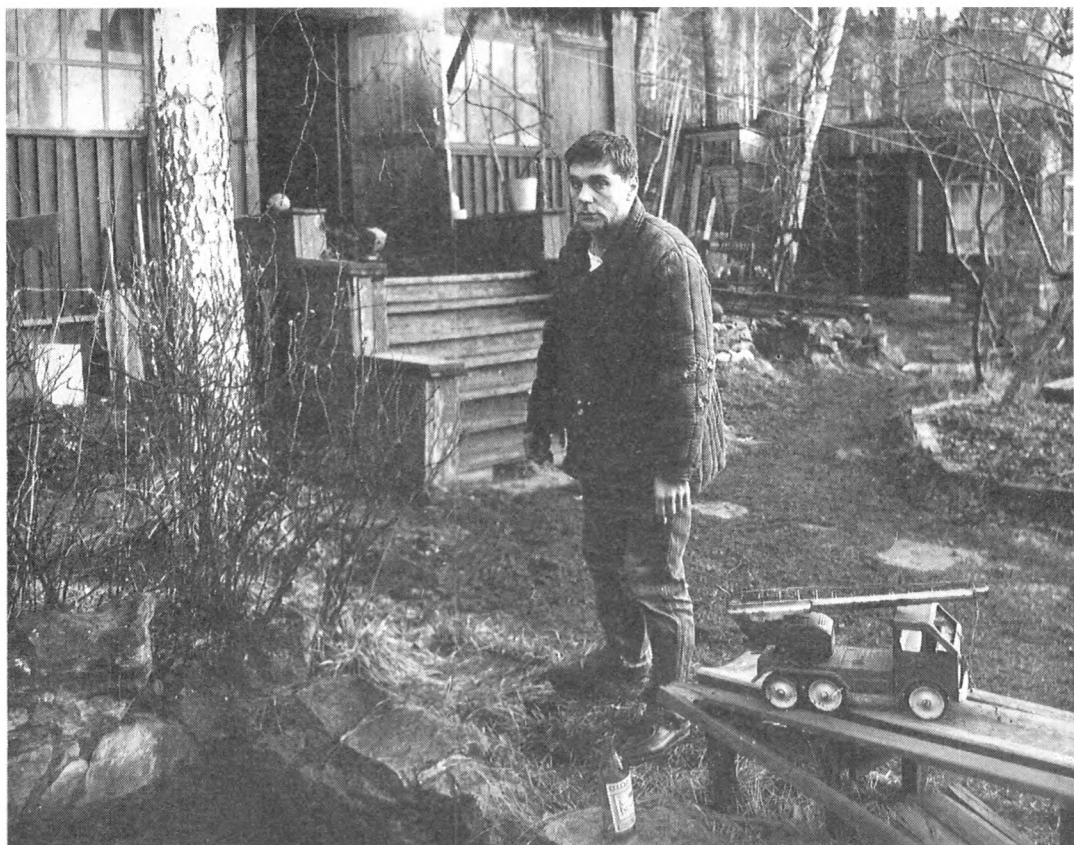
Теперь лишь одно окно горит в доме. Наташа и Васька разговаривают. Лица их близко друг к другу. Они страстно и восторженно что-то говорят, и когда один замолкает, начинает другой. Между ними нет разногласий, они одно единое целое.

Макаров подался вперед. Он наблюдает за этой сценой, как страстный болельщик бокса, сидящий перед телеэкраном в нетерпеливом ожидании: кто кого свалит...

Макаров. Ну, давайте, чего же вы тянете! Начинайте! Ну!

Вдруг гаснет свет.

Макаров (тихо). Ну вот и все...



Кадр из фильма

Пистолет «Макаров» в разрезе, со всеми его техническими подробностями и деталями. Обойма, полная патронов, но вместо пуль — люди, упрятанные в гильзы по грудь. Они лежат на спине, они живы, дышат и моргают, они даже пытаются увидеть соседей по обойме, но это им не удается. Молчат. Первым лежит один из участников этой странной истории — тот лысый интеллигент, который зашел случайно в кафе «Кавказ» и попросил у Макарова сигаретку... Второй — бородатый мужичок, который продал Макарову «Макарова». Третий — герой этой истории. Четвертый — еще один господин с бородкой, с высоким лбом, который, впрочем, таковым кажется по причине редкости волос на голове, в очках в красивой золотой оправе, за которыми глаза — скорее добрые, чем умные. Он особенно активен в этой обойме, ему все тут интересно... И пятый, и шестой, и седьмая, и восьмой, но не о них сейчас речь...

И вот мы видим, как чья-то гигантская рука, ладонь берет пистолет и взводит затвор. Лысый интеллигент попадает в патронник. Рука

нажимает на спусковой крючок. Звучит громоподобный выстрел, и лысый исчезает. Вместо него в обойме — бородатый мужичок. Еще выстрел, и нет бородатого. Теперь очередь Макарова, теперь он в патроннике. И тот, чья рука, медлит, точнее, он тщательно целится... в Наташу.

Грустно и одиноко стоит она посреди голого Васькиного сада и ждет свою пулю. Гремит выстрел.

Двор Васькиного дома. Макарова колотит от утреннего холода. Он в раздражении оттачивает ногой пустую бутылку и смотрит, прячась за деревом, на дверь дома.

Дверь открывается. Выбегает Васька. Он голый по пояс, в трениках. Подбегает к прибитому к столбу умывальнику и, крякая и фыркая, умывается.

**Макаров.** Закаляешься? Ну, закаляйся, закаляйся...

И тянет зачем-то с веревки старые Осины колготки.



### Кадр из фильма

Васька вновь выбегает из дома. Теперь он в форме. В его руке — кастрюлька. Напеваet «Пилигримов» на мотив бодрого марша.

Клацает затвор «Макарова».

**Макаров.** Правильно я говорю...

Васька сидит на корточках в сарае и доит козу, продолжая напевать.

В открытой двери за его спиной бесшумно появляется Макаров. На голове его, как омовская маска, Осины колготки. Отверстием для одного, правого, глаза служит дырка, которую Наташа не успела заштопать. Он целится в Васькин затылок, как тот учил его однажды — долго и тщательно. Васькин стриженный затылок доверчиво служит мишенью. Палец медленно и неумолимо давит на спусковой крючок. Щелк! Щелчок, не выстрел... Васька замедляет на мгновение, сжимается и в следующее мгновение реагирует. Он распрямляется, как пружина, взлетает, одна нога его выбивает пистолет, другая припечатывается подошвой к лицу Макарова. Еще через мгновение он си-

дит на спине Макарова, закрутив ему руки за спину. Макаров стонет и хрипит от боли. Васька дотягивается до пистолета и приставляет его к виску Макарова. Улыбается.

**Васька.** Что, Соловей, не вышло? Ты меня не убьешь, а я тебя все равно поймаю. Ничего, Серега, не горюй! Срок, конечно, накинута за побег, да какие твои годы? Отсидишь и выйдешь на свободу с чистой совестью. Ты еще человеком будешь, я верю.

**Макаров.** Это я... Васька, это я...

Васька стягивает колготки с лица Макарова.

**Васька.** Сергеич? А я думал — Соловей. Он перед побегом обещал мне пулю в затылок всадить, вот я и подумал...

**Макаров.** Слезь, идиот...

Васька соскакивает с Макарова и помогает ему подняться.

**Васька.** Извини...

Макаров трясет ушибленной головой, вытирает разбитые губы, трогает нос. Васька смотрит виновато.

**Васька.** Ну, ты тоже виноват, Сергеич...





### Кадр из фильма

Нельзя так шутить. Я же спросонок, не разобрался, я же убить тебя мог.

**Макаров.** А я тебя.

Васька смотрит потрясенно на друга, потом на пистолет в своей руке, проверяет обойму.

**Васька.** Где ты его взял?

**Макаров (зло).** Где взял, где взял — купил!

**Васька.** За хранение и ношение до пяти лет...

**Макаров (протягивает руку).** Дай сюда.

Васька медлит.

**Макаров (кричит).** Дай сюда!

Васька торопливо достает патрон из патронника, возвращает его в обойму, ставит пистолет на предохранитель и отдает.

Макаров берет пистолет и поворачивается, чтобы уйти.

**Васька.** Что с тобой, Сергеич?

**Макаров (кричит).** Не твое дело, куркуль, надзиратель, афганец! Скажи, ты трахал сегодня ночью мою бабу?

**Васька.** Что-о-о?

**Макаров.** Только попробуй тронуть меня пальцем.

**Васька.** Да ты чего, Сергеич?

**Макаров.** Я спрашиваю: ты трахал сегодня мою бабу?

Васька задыхается от негодования и чуть не плачет от обиды.

**Васька.** Я... Сергеич... Это же — Наташа! Она же — твоя!.. Да для меня... Да я скорей... Васька бросает взгляд на мирную Зину, и его передергивает от собственной фантазии.

**Макаров (с насмешливой уверенностью).** Я все видел. Как вы — все ближе и ближе... Глаза в глаза... А слова все горячее и горячее...

**Васька.** Да это мы стихи читали!

**Макаров (растерянно).** Какие стихи?

**Васька.** Да твои, Сергеич, твои! А потом свет погасили, и я на веранду пошел спать.

**Макаров.** Кто погасил?

**Васька.** Подстанция. Они теперь каждую ночь... Экономия.

**Макаров.** Я тебе... все равно не верю. Им ничего не говори, понял?

**Васька (кивает).** Понял.

Он смотрит в спину уходящему другу, в опущенной руке которого — пистолет.

**Васька** (кричит). С оружием нельзя, Сергеич! Статья...

Он идет следом, но Макаров поворачивается и наставляет на него пистолет. Васька виновато улыбается и продолжает идти.

**Васька**. Да этого я не боюсь, Сергеич, давно не боюсь.

Макаров приставляет пистолет к собственному виску и пятится задом. Васька останавливается. Макаров поворачивается и идет, по-прежнему с пистолетом у виска. Вдруг Васька улыбается, вспомнив что-то.

**Васька** (кричит). Сергеич! Слышишь! Оська вчера заговорил!

Макаров останавливается, рука с пистолетом опускается.

**Васька**. Знаешь, что он сказал? «Мне на плечи кидается век-волкодав». Слышишь? (Кричит.) «Мне на плечи кидается век-волкодав»!

Макаров несколько секунд стоит, потом поворачивается и уходит.

Васька смотрит ему в спину и читает стихотворение Осипа Мандельштама. Он сбивается, забывает слова и строчки, плачет от обиды, но вытирает слезы и читает дальше.

**Васька**. Мне на плечи кидается  
век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей:  
Запихай меня лучше, как шапку  
в рукав,  
Жаркой шубы сибирских степей... \*

Макаров идет по обочине шоссе к городу. Навстречу катит лимузин Фунтова. Лимузин тормозит, останавливается. Из машины выходит Фунтов.

**Фунтов**. Александр Сергеевич! Дорогой вы мой человек!

Он обнимает растерянного, усталого, съездившегося Макарова и трижды целует.

**Фунтов**. А я как раз вас вспоминал! Завтра лечу в Москву. Будем формировать новое правительство. Так я хочу сделать вас министром культуры. Как вы на это смотрите, Александр Сергеевич?.. Понимаю — непросто так сразу. А давайте, поедемте ко мне на дачу, там все обговорим, а заодно и отдохнем.

Фунтов садится на переднее сиденье, рядом с водителем, Макаров — сзади. На заднем же сиденье сидит некто в спортивном костюме и читает «Коммерсант-дейли» или прикрывается им.

**Фунтов**. Глоток «Наполеона»?

Он протягивает Макарову пузатую рюмку, а сам долго — любовно и пристрастно смотрит ему в глаза.

**Фунтов**. Я по глазам вижу, что ничего без меня не написали. Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич... Морду-то вам кто разбил?

Макаров возвращает пустую рюмку.

**Макаров**. Друг.

**Фунтов**. А я вам что говорил? У каждого Моцарта есть свой Сальери.

**Макаров**. Вас выпустили?

**Фунтов** (кивает). Правда восторжествовала. Я им говорю: «У меня алиби». — «Какое?» — «Беретта» не мой калибр, для меня счет начинается с девяти миллиметров».

Фунтов вытаскивает из кармана «Магнум» какого-то гигантского калибра.

**Фунтов**. Вот. Если я из него в вас выстрелю, от вас останется мокрое место. (Прячет оружие.) Так что правда восторжествовала, злодей повержен.

**Макаров**. А злодея звали Джохар?

**Фунтов**. Интересно... А что вы еще знаете?

**Макаров**. Знаю, что того, кто скрывается за этой газетой, зовут Марго.

Газета опускается. Это действительно Марго. Она жеманно улыбается и опускает глаза.

**Фунтов**. Многие же вы без меня успели узнать.

**Макаров**. Я узнал ее по запаху духов.

**Фунтов** (грустно). Марго, стоит мне сесть, как ты тут же мне изменяешь.

**Марго**. Фунт, я его не любила! Я любила его пистолет!

**Фунтов** (удивленно). У поэта — пистолет? Ни за что не поверю!

Макаров растерян.

**Марго**. В натуре пистолет, Фунт! «Макаров»!

**Фунтов**. У Макарова — «Макаров»?

Фунтов и Марго смеются, хохочут, заливаются смехом.

Они замолкают, когда видят дуло пистолета. Макаров наводит его то на лицо Фунтова, то на лицо Марго.

**Фунтов** (тихо). Что вы хотите этим сказать, Александр Сергеевич?

**Макаров**. Я хочу сказать, что... презираю вас... по отдельности... и вместе...

**Фунтов**. И что же вы прикажете нам теперь делать?

**Макаров** (подумав). Отвезите меня домой.

**Фунтов**. Есть. (Шоферу.) В город.

Лимузин разворачивается и едет в обратную сторону.

Сначала в открытое окно вылетает пистолет и плюхается в придорожное болотце. А чуть погода открывается задняя дверь и вылетает Макаров.

\* Отрывок из стихотворения Осипа Мандельштама.

Лимузин останавливается, разворачивается и уезжает.

Макаров с трудом поднимается на четвереньки, трясет головой и мычит, пытаясь выговорить какое-то слово.

**Макаров.** Ма... Ма... Ма...

Он в пыли, грязи, крови.

Наконец, он поднимается и озирает мутным взглядом обширное болото. Брюки на коленях продраны до дыр, кожа на коленях и ладонях содрана. Он спускается в кювет и хлопает по воде, и чавкает по грязи. Вдалеке, на кочке что-то блеснуло. Макаров бежит туда, падает, встает, снова бежит, но находит лишь осколок бутылочного стекла. В глазах Макарова — одиночество и горе. Он не уйдет отсюда, пока не найдет... Но и найти невозможно. И он вдрух тихо, протяжно зовет:

— «Макаров...», «Макаров!»

И вдруг слышит выстрел. Он звучит с дороги. И Макаров несется туда.

«Макаров» лежит на обочине, на сухом солнечном месте.

От него поднимается легкий парок, он ловит хромированной гранью солнце и посылает «зайчик» в глаз Макарову.

**Макаров** (нежно шепчет). «Макаров»...

Он берет пистолет и прижимает его к сердцу.

Бодро и жизнерадостно идет Макаров в город — прямо по середине шоссе. «Макаров» — у сердца. Макаров разговаривает со своим другом.

**Макаров.** Мы теперь с тобой заживем! Разве нам кто-нибудь нужен? Никто! Только я и ты! Слушай, старик, ничего, что я тебя так называю, ты не обидишься? Слушай, а ты в Ваську не стал стрелять, потому что он о тебе отзывался хорошо? Ну, тогда, в тире... Правильно? Ну я так и понял... Молодец, что не стал. А то, что бы мы сейчас делали?... Видишь, как я тебя понимаю? И ты меня понимаешь.

Автомобили опасливо объезжают его, а пассажиры автобусов любопытно смотрят из окон.

Макаров открывает ключом дверь квартиры, входит, долго, долго шарит рукой по стене, ища выключатель, чертыхается привычно негромко и, наконец, щелкает выключателем.

На том месте в прихожей, где всегда стоит, встречая его, Наташа, одна или с Осей на руках, сейчас стоит их кошка Сафо. Она изогнулась дугой, вздыбила шерсть и зло зашипела.

**Макаров.** А ведь я обещал...

Он лезет в карман брюк за пистолетом.

Сафо вопит, кидается в гостиную, взлетает по оконной занавеске и исчезает в форточке. На подоконнике качается, но не падает, пыльная герань в глиняном горшке.

Макаров открывает холодильник, выставляет все, что там есть, на стол, кладет рядом пистолет и начинает есть. Мутные, усталые, остановившиеся глаза тупо смотрят в пустой телевизор. Под рукой, рядом с пистолетом, оказывается телевизионный пульт. Макаров направляет пульт на телевизор и нажимает на кнопку. Время «Новостей». Сюжеты из «горячих точек». Стреляют и убивают. Макаров смотрит и ест. Как только жуткий сюжет кончается, Макаров переключает программу. Теперь там стреляют и убивают. Страшные, выворачивающие душу, кадры. Таджикистан, Абхазия, Югославия. Макаров спокойно и внимательно смотрит и ест. Кончается еще один кровавый сюжет, и на экране возникает мрачный провинциальный теледиктор.

**Теледиктор.** Передачу «Час критики» ведет Алена Бам.

Макаров перестает есть и кладет пульт на стол, рядом с пистолетом.

**Алена Бам** (с улыбкой делового человека). Добрый вечер! (Быстро и уверенно.) В этом месяце у нас в городе вышла книга стихов поэта Александра Макарова. (Она берет со стола книгу, показывает ее зрителям и, небрежно бросив на стол, продолжает). Выход поэтического сборника в наше время — событие из ряда вон выходящее, но вряд ли кто станет утверждать, что это стало событием нашей культурной жизни. Есть ли в этом вина автора? Скорее не вина, а беда. Его не взяла в свой поезд шестидесятники, даже в детский вагон, и он не успел на поезд под номером восемьдесят. Но... «времена не выбирают, в них живут и умирают». Судьбу поэта Макарова можно было бы назвать трагической, если позволить себе забыть, что трагедия — удел великих. Увы, наш город никогда не будет переименован в Макаровск. Однако, худа без добра не бывает, все это помогает расстаться нам с известным мифом о том, что «поэт в России больше, чем поэт». Хорошо это или плохо, но нет больше тех поэтов, как и нет той России. Скорее — хорошо. Во всех цивилизованных странах поэт давно — всего лишь поэт. Тираж поэтического сборника в пятьсот экземпляров считается огромным, а рифма в стихах давно признана рудиментарной роскошью. Возвращаясь к сборнику стихов Макарова и кончая с ним, скажем, что немощная климактерическая муза поэта не может защитить его. У нее просто нет на это сил. А у меня нет никакого желания.



### Кадр из фильма

Макаров ищет рукой пульт, но по ошибке нащупывает пистолет и пытается при помощи его переключить программу, но раздается выстрел и небольшой взрыв.

Удивленно, не двигаясь, Макаров смотрит на порушенный телевизор, на пистолет, на пульт. Лицо его вдруг искажается от боли, он трет ладонью желудок, вскакивает от рвотного позыва и бежит в туалет.

Он стоит на коленях перед унитазом, уткнувшись в него лицом, и когда все кончается, спускает воду и умывается. Косится и видит рядом со своим коленом пистолет. Макаров улыбается ему, подмигивает и сквозь подступающий смех говорит:

— Бам! А здорово ты ее... Трах!

Он смеется, хохочет до слез, пытаясь что-то объяснить своему другу.

Макаров. Бам! Трах!.. И нету!

Идиллическая картина. Макаров сидит на диване, на коленях его семейный фотоальбом. В руке — «Макаров».

Макаров. Это я в школе. На вечере читаю стихи. Смешной, правда? Это в литинституте. Это Вика. У нас был с ней роман. Бурный... Талантливая чертовски... Повесилась в прошлом году... Это я на БАМе... (Макаров смотрит на пистолет, смущенно улыбаясь, его вновь разбирает смех.) Да нет, ты не понял, не на Алене, у меня с ней ничего... Ты что! БАМ, Байкало-Амурская магистраль... Мы там выступали от литинститута... А вот, вот вечер в Политехе — «Воспоминание о шестидесятых». Знаменитый вечер. Смотри, вот Женя, Андрюша, Белла, Булат Шалвович... А это вот? Узнаешь? Твой покорный слуга... Вот я там читаю... Меня одного из литинститута пригласили. А, да вот эта фотография, Наташка увеличила...

Макаров подходит к своему большому фотопортрету на стене, направляет на него пистолет, показывая.

Макаров. Хорош? Нет, без ложной скромности. Хорошо читал, аглодисменты были бурные, почти как у них. Да я думаю, если б в провинцию не уехал, все бы иначе сложилось... Но я же Музе хотел служить, старик, ее

величеству, а видишь как... И вроде не продавался, а... не вышло... Судьба, наверно... Или что?.. Но тут хорош, правда? Глаза горят... Счастье! Счастье! Счастье!..

И вдруг гремит выстрел. Звенит стекло. Макаров стоит на полусогнутых ногах, обхватив руками голову.

Пистолет валяется на полу.

Макаров опускает руки и поднимает голову.

Пуля попала прямо в лоб его фотоизображению. Макаров оглядывается и видит отметку от рикошета, смотрит на окно и видит пробитое стекло. Макаров изображает пальцем полет пули и вдруг замечает кровь на рукаве рубахи.

Он подходит к зеркалу и видит, что ухо, правая скула, шея, плечо, рукав до локтя — в крови. Трогает ухо и морщится.

Испуганный, бежит в ванную и перевязывает себе голову полотенцем, завязав узел на макушке, горестно и строго смотрит на себя в зеркало.

Он возвращается в гостиную, берет лежащий на столе пистолет и, глядя в черное дуло, спрашивает:

**Макаров.** Ну, что ты? Зачем?.. Или... Ты думаешь, мне пора?.. Ты в самом деле так думаешь? Да, если признаться, я и сам так иногда думаю. На три года Пушкина пережил, а ни черта...

На глазах Макарова выступают слезы.

Громко хлопает дверь подъезда, кто-то шумно поднимается по лестнице. Звонит звонок. В дверь стучат.

**Васька** (кричит из-за двери). Сергеич! Слышь, Сергеич, открой!

**Макаров** («Макарову»). Васька...

Макаров улыбается, и слезы скатываются по щекам.

**Наташа.** Саша! Сашенька! Открой!

**Макаров** («Макарову»). Наташа...

Он шмыгает носом.

**Макаров.** Прости, старик, расчувствовался. Сейчас... Так?

Он приставляет пистолет к груди.

**Анна** (кричит из-за двери). Папка!

Макаров уже не слышит.

Васька пытается выбить дверь.

Макаров засовывает пистолет в рот, но тут же вынимает.

**Макаров.** Да, гланды, всю жизнь мучаюсь. Он приставляет пистолет ко лбу и тут же убирает его.

**Макаров.** Ну, тебе не угодишь... Ну, извини, извини, понял... Понял, не дурак. Ты хотел сюда. (Макаров сдвигает стволем край полотенца и приставляет пистолет к виску.) Правильно? Ну вот... Раз...

**Васька** (пытаясь выбить дверь). И раз!

**Макаров.** Два...

Палец — на спусковом крючке.

**Васька.** И два!

Палец Макарова замирает.

Гремит выстрел.

Дверь падает на пол. Васька влетает в квартиру. За ним стоят, не двигаясь, Наташа с Осей на руках, Анна.

Васька вбегает в гостиную. Видит кровь, разбитый фотопортрет Макарова, но не видит самого Макарова. Его нет. Около окна Васька замечает на полу разбитый горшок с геранью. Подбегает к окну. Оно открыто. Васька выглядывает, смотрит вниз.

Никого.

По темной, узкой, жутковатой улице идет господин. Импозантный. В черной фракной паре, в белоснежной сорочке, с бабочкой. Хорошо подстриженная рыжеватая борода, высокий, за счет лысины, лоб и глаза, скорее добрые, чем умные, за очками в красивой золоченной оправе. Да, да, это тот самый, что четвертым лежал в обойме. Но, несмотря на свою импозантность, он несколько странен, этот господин. В правой руке его банальный матерчатый в крупную клетку чемодан. Да и идет он по улице как-то странно, скорее не идет, а пробирается, не то чтобы боясь кого-либо встретить, но как бы не очень желая этого.

Видимо, поэтому, когда он видит выбежавшего из-за угла Макарова, который определенно идет навстречу, он останавливается и перекладывает чемодан из правой руки в левую.

Макаров сильно хромает. Полотенца на голове нет, ухо в крови. В глазах Макарова — бесконечная нежность к незнакомому господину и страстное желание, чтобы тот понял...

**Макаров.** «Макаров» нужен?

## Д о р о г и е п о д п и с ч и к и !

Если Вас подвела почта и не доставила наш журнал —  
обращайтесь в редакцию по а д р е с у:  
103006, Москва, Воротниковский пер., 12  
Постараемся помочь.

## АЛЕКСЕЙ ГАБРИЛОВИЧ



# ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ СТАРОГО БОЛЕЛЬЩИКА

Сценарий документального фильма

**В** Петровском парке я впервые оказался сразу же после войны. Мы жили на Арбате, и путешествие до стадиона «Динамо» казалось неблизким. Помню волшебный овал трибун и квадратики входных ворот, через которые проглядывали зеленые полосы футбольного газона. В те времена, как мне кажется, даже в дни, свободные от футбольных матчей, выходить на трибуны посторонним было запрещено. И я глядел издали на эти зеленые лоскутки, млея от восторга и благоговения.

Помню похожее на авиационный ангар, полукруглое здание теннисного корта. А больше, как мне кажется, никаких строений на

территории стадиона тогда не было. Парк за трибунами выглядел глухим, заросшим, непроходимым. Быть может, эта первая детская любовь к впервые увиденному мной стадиону, носившему красивое имя «Динамо», послужила толчком к тому, что я на всю жизнь стал неизменным поклонником футбольной команды московского «Динамо». И в дни ярчайших побед, и в грустные годы непрерывных неудач я не менял своей привязанности. И горжусь этим, потому что знаю многих своих однолеток, сменивших за тридцать лет по тричетыре круба. А то еще есть «примочка»: «В футболе болею за «Спартак», а в хоккее за ЦСКА».



Первое поколение команды. Лето 1925 г.

Что означает «болеть» за команду? Казалось бы, такое ясное и в то же время довольно сложно объяснимое понятие. Ну, не все ли равно взрослому человеку, кто выиграет матч: ребята в бело-голубых футболках или в красно-белых... Так нет же, имеет, и еще какое... Если побеждают «твои» — все существо ликует, все поет в тебе и пляшет, а если поражение, то настроение портится на неделю. И с женой нелады, и к сыну претензии, и к теще...

Мне знакомы люди, которые искренне недоумевают, наблюдая за несчастными толпами на телевизионных экранах, мокнущими под проливным дождем или под снегом. Что за таинственная, неведомая сила влечет их на трибуны стадионов, заставляя часами просиживать под палящим солнцем и в лютую осеннюю непогоду? Почему чемпионаты Европы и мира приковывают к телеэкранам миллионы зрителей? И это не превеличение, это безошибочная компьютерная статистика. Разбитые окна витрин, окровавленные физиономии «фанов», полиция, разгоняющая водометами возмущенные либо ликующие толпы, — всему этому мы были очевидцами: одни лично, другие на голубом экране. Страсть, объединяющая миллионы, называется игрой в футбол. Человечество придумало великое множество азартных игр и самых разнообразных спортивных состязаний, но нет ни одного, равного футболу, ни по числу болельщиков, ни по грандиозности площадок-стадио-

нов, где за этой игрой одновременно могут наблюдать сотни тысяч.

Я не фанатик, не таскаю на шее шарф, расцвеченный красками любимого клуба. Признаюсь, что большинство матчей предпочитаю смотреть по телевизору, но до сих пор, дожив до седых волос, каждый поход на футбольный матч в Петровском парке для меня праздник. Я не афиширую свою страсть, не спорю до хрипоты с поклонниками «Спартак». Я тихо люблю свою команду, как любят немолодую жену со всеми ее достоинствами и недостатками. Люблю, как уже говорил, не изменяя, — вот уже тридцать с лишним лет. Я не случайно провел такую лирическую параллель, потому что хочется назвать сценарий и фильм словами, не совсем обычными для спортивных сценариев и фильмов: «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ СТАРОГО БОЛЕЛЬЩИКА».

Случается в жизни, когда чувство, возникшее у мальчика и девочки в самых первых классах начальной школы, потом перерастает в зрелое чувство, любовь, брак... Мой роман с московской командой «Динамо» начался в первом классе, после победного турне футболистов по туманному Альбиону. Думаю, что в тот период динамовцы приобрели особенно много поклонников, и главным образом среди пацанов...

Встреча с грандами мирового футбола, каковыми считались англичане, была рискованной и почетной. Только окончилась война,





Апрель 1935 года. На параде в честь открытия футбольного сезона в Москве.

престиж страны-победительницы был огромен. Лучшая команда страны обязана была всемерно доказать, что русские сильны не только на поле брани. Команды, с которыми предстояло встретиться, имели солидную репутацию лидеров профессиональной лиги: «Арсенал», «Челси», «Глазго-Рейнджерс».

Якушин, Бесков, Трофимов, Савдунин вспоминают, как наших собирали в дорогу — торжественно и строго. Игрокам пошили в ателье НКВД одинаковые макинтоши, костюмы, прикупили одинаковые шляпы. Хотя в ту пору в Москве были в моде кепари.

Время проведения матчей хранилось в секрете, тренировки проходили под недреманным оком ЧК. Да и сама команда представляла организацию, с которой даже армии тягаться было не под силу. Шутка сказать — НКВД! Устные инструктажи проводились ежедневно: что говорить, на что отвечать, когда держать язык за зубами. Быть может, в результате этих инструкций явился известный тост легендарного вратаря Алексея Хомича, произнесенный на одном из банкетов. Обращаясь к присутствующим, он произнес от волнения не положенное: «Уважаемые леди и джентльмены!», а брякнул: «Уважаемые леди и Гамильтоны!» Кстати, в тот год на наших экранах с успехом шел фильм «Леди Гамильтон». Может быть, это и сбило с панталыку вратаря.

Впрочем, оговорка не повредила популярности Хомича, скорее добавила ее. Во всяком случае, он увез из Англии знаменитую кличку «Тигр», приклеившуюся к нему на всю жизнь.

Игрок московского «Динамо» Владимир Савдунин вспоминает: «...И было такое положение, что две команды тренировались, готовясь к поездке в Англию — «Динамо» и ЦДКА<sup>1</sup>. В сорок пятом мы выиграли первенство, а ЦДКА кубок. Так вот, кто поедет? И они готовились, и мы. В конце концов победило НКВД, в поездку утвердили «Динамо».

Никто из нас тогда за рубеж не выезжал. И никто не знал, как себя вести. Нам показывали, как себя вести за столом, как брать вилку... Шляпу никто в жизни не носил, приказали надеть шляпы...

...Короче, приезжаем туда, нас встречают в аэропорту и везут в королевские казармы. Ну, я вам скажу, у нас война была, разруха, но такой дыры мы не видали. Якушин, наш тренер, говорит: «Жить здесь мы не будем!...» Поехали в посольство. За икру и водку нас устроили в две гостиницы... А в это время выходит вечерняя газета с сообщением, что 18 русским футболистам негде ночевать в

<sup>1</sup> «ЦДКА» — «Центральный Дом Красной Армии», впоследствии команда и Клуб получили название «ЦСКА».



Эпизод матча сборной Москвы с парижским «Ресингом» на стадионе «Парк де пренс»

Лондоне. И тут пошли звонки, десятки семей приглашали к себе, им было стыдно... Жили мы в гостиницах, а питались в посольстве. Каждый день из Москвы нам присылали самолет с продуктами. Английскими продуктами мы не пользовались, наше руководство боялось, что нас отравят. Но главная задача, которую ставили перед нами,— проиграть с как можно меньшим счетом... О выигрыше даже и разговора не было...»

Хроникальные кадры выступлений динамовцев в Англии многократно повторялись по телевидению. К сожалению, большинство из них низкого качества. Матч с «Арсеналом» едва виден из-за тумана, игры с «Челси» и другими командами тоже сняты невыразительно. Мы надеемся отыскать свежие кадры в английской фильмотеке. Уверены, они там есть. Существуют живые свидетели, видевшие их. Подробно сняты тренировка наших футболистов перед матчем, прогулки по городу, посещение музея... Да и сами репортажи сняты профессиональнее.

Общий победный счет серии игр динамовцев с англичанами — 19:9 буквально потряс страну. С утроенной силой заработали предприятия, полилась сталь, потек уголек. Это не шутка — таково свидетельство одного из

бывших союзных министров. Страна лежала в руинах, строительство почти всех городов, по которым прошла война, приходилось начинать с нуля. Но именно в эти годы, когда у людей и крыши-то не было над головой, футбол приобрел в нашей стране особую популярность. Думаю, что этому значительно способствовал визит динамовцев в Англию.

**Вспоминает Евгений Евтушенко:** «...Я считаю Вадима Синявского изобретателем телевидения по радио, потому что он был такой замечательный комментатор, что когда вся страна его слушала, когда он передавал из Англии или из Москвы на всю страну, то люди просто стереоскопически видели и ощущали этот футбол, как игру больших человеческих свободных страстей. Ну, и я тогда влюбился в динамовскую команду. Я стал болельщиком. Я влюбился в футбол не меньше, чем в поэзию, потому что он и был поэзией. Я вообще считаю, что в то несвободное время футбол, родившийся во дворах, на пустырях, был, может, единственной свободой личности, возможной тогда. Люди приходили на футбол из коммуналок, из бедности, из гордой нищеты...»

Популярность футболистов была такова, что их фотокарточки, продававшиеся у стади-



Вот на таком автобусе ездил команда московского «Динамо» на свои победные матчи

она, расхватывались так же быстро, как и билеты на футбол. Помню свою коллекцию — фото Бескова, Сергея Соловьева, самой команды в нескольких видах — в шеренге на поле и лица в виньетках, в стиле открыточек: «Люби меня, как я тебя...»

Фото были развешаны на стене перед письменным столом, где я готовил школьные уроки. Скажу честно, науки давались мне туто, поэтому вместо того, чтобы изучать историю или решать задачки, я глядел на лики возлюбленных моих кумиров. До сих пор эти фото стоят у меня перед глазами.

Первые послевоенные годы отмечены в Первенстве Союза соперничеством двух клубов-гигантов: «Динамо» и ЦДКА. Рассказано и писано об этом немало, но мне все же не скучно вспоминать то время.

К счастью, сняты, и сняты хорошо, хроникальные кадры, запечатлевшие ажиотаж, царивший вокруг матчей, особенно центральных, финалы кубков например. Троллейбусы с висящими на «колбасе» мальчишками, автомобильные пробки на Ленинградке, и это в ту пору, когда в городе было сравнительно мало транспорта. Ну, и конечно, несметные толпы у стадиона и вечное, начинавшееся, кажется, от

Белорусского вокзала: «Нет ли лишнего билета?»

Хочу вспомнить курьезную, совсем личную историю, связанную, однако, с футболом напрямую. Нашим соседом по лестничной клетке был директор ликеро-водочного завода. Бывший секретарь райкома в Ростове-на-Дону, бывший комиссар дивизиона «Катюш». Как известно, в то время партия могла направить человека на любую работу, независимо от его профессиональной подготовки. И вот после войны нашего соседа командировали командовать производством московской водки. Был он человеком общительным, в доме не переводились гости, главным образом артисты и спортсмены. Там я впервые увидел живьем знаменитого боксера-тяжеловеса Королева, футболистов Боброва, Бескова... Моя мать была очень дружна с соседом. И вот именно в те годы, в благодарность Господу, что спас нашу семью в войну, мать решила окрестить меня, а крестным отцом пригласила водочного руководителя. И он согласился, хотя, стань это известным у него в партийной организации, можно было ожидать немалых неприятностей. Крещение прошло своим чередом, а в качестве приза Андрей Андрее-



Весна 1948 г. На тренировке.



Динамо́вцы на тренировке в Гаграх.

жи с чувствами великого динамовца Льва Яшина.

Если Хомич стоит у истоков мальчишеского вратарского фанатизма, то Яшин — его следствие и вершина. Не случись успеха у динамовцев в Англии, не началось бы повальное увлечение футболом. И возможно, не появился бы на мировой арене Лев Яшин, а следом за ним ослепительное созвездие динамовских игроков.

Есть хроника, запечатлевшая прибытие на матч в 47-м году команд «Динамо» и ЦДКА. Мощные мужики в кожаных регланах и кепках, сшитых на заказ, выходят из автобуса с фибровыми чемоданчиками, со сложенным в них футбольным снаряжением. Боже, как я мечтал о таком чемоданчике. Когда мне подарили его на день рождения, едва ли существовал в этот миг человек более счастливый, чем я. Мужики неторопливо шагали в сторону раздевалки, а ватага пацанов бежала за ними до дверей, откуда их выталкивал контролер. В этой ватаге нередко случалось бегать и мне. В доказательство истинности приведу разговор с Бесковым. В те годы он запомнился мне не только безкоризненным пробором волос на голове, но и двумя золотыми передними зубами, сверкавшими на весеннем солнце. В моде тогда у прибалтских были искусственные золотые коронки-«фиксы». Это считалось кра-

сивым. Мы, пацаны, думали, что и Бесков надевает коронки для красоты. Много лет спустя я спросил у Константина Ивановича, откуда взялось золото на зубах и куда оно подевалось. Бесков рассмеялся и подтвердил, что два передних зуба действительно были золотыми. Свои, натуральные, случайно обломал о косточки в вишневом компоте, но со временем пришлось заменить золото на пластмассу — неудобно сверкать золотыми коронками интеллигентному человеку. Не цыган же. Вот какие мелочи запомнились вот какова была наша страсть к футбольным кумирам.

Спустя много лет я встречал автобусы с футболистами-приятелями, моими сверстниками: Валера Короленков, Валера Фадеев, Игорь Численко, Гена Еврюжихин, Гена Гусаров...

О встречах на стадионе мы договаривались заранее, по телефону. Общались как бы на равных... Конечно, они были звездами, болельщики шестидесятых годов пилились на них точно так же, как мы на кумиров сороковых годов. И, чего греха таить, лестно было стоять рядом со звездой, небрежно беседуя о делах, далеких от футбола.

Это новое поколение футболистов в корне отличалось от предшественников. Хотя и те были далеко не ангелами, но новеньким досталось больше воли. Тренировочные сборы,





Динамо́вский вратарь Алексей Хомич за свою прыгучесть и хватку мяча получил в Англии прозвище «Тигр». Перед Хомичем — Лаутон (Челси)

как прежде, были жесткими, опоздания на тренировку, на автобус карались жестоко. Но это уже была не казарменная строгость. Новое футбольное племя и выглядело совсем по-иному. Заграничные шмотки, поездки за рубеж стали обыденными. Раскованность, большинство игроков выпестовалось из шпанских компаний, безотцовщины, послевоенных полуголодных лет, нищеты, материнских затрещин. И все же это были люди новой формации, дети оттепели и крушения колючей проволоки, сталинских лагерей. Они еще были осторожны в разговорах, но уже не боялись ресторанов и девиц с якобы дурной репутацией. Трагедия Стрельцова, невинно отсидевшего несколько лет в тюрьме в самом расцвете сил, прямого отношения к динамовскому клубу не имеет, но это была драма всего отечественного футбола...

И дело не только в победах и поражениях. Честное слово, динамовский клуб той поры был собранием первоклассных мастеров, звезд высочайшего класса, наблюдать за их игрой было наслаждением.

И в этом есть величие футбола. Потому что футбол, когда становится скучным, перестает быть футболом. Когда игроки не получают наслаждения — это уже не футбол. И вот, мне кажется, динамовский стиль — это коллектив-

ная игра в сочетании с крупными личностями. Коллектив без личностей ничего сделать не может. В сочетании яркой коллективной игры с яркостью индивидуальностей и есть динамовский почерк, сохранявшийся командой в течение нескольких десятилетий.

Вспоминает Евгений Евтушенко: «...Раньше не были официально профессионалами, а относились к делу профессионально. Играли, как я говорю, балуясь... Не баловались, а балуясь, то есть легко, интересно... получали удовольствие... То есть футбол есть не что иное, как игра. И есть у Пастернака такие слова: «...Сколько надо отваги, чтоб играть на века, как играют овраги, как играет река...» Игра есть нечто великое. Это вообще относится и к футболу, и к поэзии, и к любому творчеству. Если человек теряет в себе ребенка, перестает играть в жизни и получать наслаждение от игры, он чахнет, он весь скукоживается, он уходит внутрь себя. И мне кажется, некоторые футболисты не служат футболу, а зарабатывают футболом. Но они сами теряют наслаждение — получают радость от главного дела своей жизни...»

В качестве режиссера-документалиста мне не раз приходилось снимать закулисы большого футбола: тренировочные сборы и т. д. Игроки сперва были мне ровесниками, потом



40-е годы — это прежде всего жаркие схватки со славным ЦДКА.

сыновьями, а потом внуками. И, конечно же, они не вызвали у меня трепетного восторга, как у современных им фанов. Для меня они были просто мальчишками, хорошо играющими в футбол, но в сознании они никак не устанавливались рядом с гигантами сороковых годов в кожаных регланах и кепках букле.

Бога ради, не подумайте, что молодые были чем-то хуже, я говорю лишь о детском, юношеском восприятии футбола и оправдываю безумствующих фанов, размахивающих флагами и шарфами цвета любимой команды. Как и большинство моих московских сверстников, подчеркиваю, московских, в других городах могли быть другие страсти, я мечтал стать голкипером и усердно работал над этим. Нашими соседями по балкону было семейство писателя Булгакова. Самого Михаила Афанасьевича в те годы уже не было в живых, но жена его Елена Сергеевна и двое сыновей соседствовали с нашей квартирой. Самая широкая стена моей детской комнаты обратной стороной выходила на стену гостиной семьи Булгаковой. Стучать по такой широкой стене футбольным мячом было наслаждением. Мяч от стены отскакивал, и я в ловких прыж-

ках ловил его. В ответ на удары мячом сыпался град ударов кулаком в штукатурку. И вот однажды, выйдя с отцом из подъезда, мы встретили Елену Сергеевну Булгакову. Между традиционными фразами, которыми обмениваются при встрече взрослые интеллигентные люди, отец спросил между прочим, не мешают ли семейству Булгаковых упражнения с мячом его сына? Елена Сергеевна ледяно взглянула на меня, но, улыбнувшись, ответила: «Что вы, они меня ничуть не беспокоят».

Такова была эта замечательная женщина, не терпевшая предательства даже в малом, в те годы, когда наущничество было делом более чем обычным.

История, рассказанная мною, выглядит как бы случайной и скорее всего в фильме реализована не будет. Но я вспоминаю лишь для того, чтобы объяснить, сколь велика была моя страсть к футболу. В памяти две фигуры, два великих вратаря — Хомич и Яшин. Если Хомич стал нашим кумиром сразу же после поездки в Англию, то Яшину место в динамовских воротах и тем более слава лучшего вратаря мира достались ох как непросто. Первый матч, сыгранный им на стадионе «Ди-





Лучшим снайпером команды в чемпионатах СССР остался Сергей Соловьев — 126 голов. На снимке — его очередной гол.

намо», можно считать полнейшим провалом. В игре с тбилисцами при счете 3:0 в нашу пользу Яшин ухитрился пропустить три несложных «голяка». Хроника снимала этот матч подробно, события полностью документированы.

Я не был лично знаком с Львом Ивановичем, но столько видел его с трибуны и по телевидению, что он кажется мне, как и многим, родным человеком.

Как правило, спортсмены, ушедшие из большого спорта, растворяются в небытии. С Яшиным этого не случилось. Перестав быть действующим голкипером, он, на удивление, набирал популярность. Смерть его была всенародным горем. Удивительный человек с удивительной биографией. Если удастся нам собрать за бранным столом ветеранов «Динамо», а это, думается, сделать необходимо, первым поминальным тостом будет тост за Яшина и, конечно, за создателей команды, помогавших ей сделать первые шаги.

Дата рождения общества — 18 апреля 1923 года. В этот день учредительное собрание группы физкультурников и спортсменов-чекистов приняло решение о создании московского пролетарского общества «Динамо».

Формирование московской футбольной команды «Динамо» было поручено известно-

му вратарю Федору Чулкову. Выбрав в качестве идеала команду из комсомольских частей ГПУ, он для прочности пригласил в молодое «Динамо» именитых игроков из других клубов...

Рассказывают, — впрочем, слухи надо проверить, — что Чулков последние годы прожил где-то под Питером, в схимническом уединении. Скончался он в возрасте за девяносто. Думаю, не обошлось тут без вмешательства чекистской гвардии, которой, в какой-то момент Чулков стал или неудобен, или не нужен.

Возможно, все это лишь байки, но я записал, что слышал: за что купил, за то продаю.

В программе, опубликованной к семидесятилетию общества «Динамо» и распроданной в день футбольного матча между «Динамо» и «Локомотивом», несколько интервью со старейшими динамовцами — Михаилом Якушиным и Сергеем Ильиным. Нет смысла полностью цитировать их в сценарии, тем более, что разговор перед камерой получится иным, но суть пересказать следует.

**Михаил Якушин:** «Я впервые надел динамовскую футболку в июле 1934 года, почти 60 лет назад. Ну, а если быть совсем точным, то скажу, что впервые примерил на себя динамовскую форму еще на десять лет раньше —



Август 1970 г. Круг почета в честь победы в финале кубка страны.

зимой 1925 года, выступая за младшую динамовскую клубную команду в русский хоккей. Как тренер я шесть раз приводил динамовцев Москвы к победам в первенстве Советского Союза и однажды к победе в кубке страны, руководил динамовцами во многих незабываемых международных встречах. И как игрок трижды был чемпионом страны и обладателем кубка...»

**Вспоминает Михаил Якушин:** «...Когда я стал тренером, мне часто говорили: Михалыч, вы слишком много курите. У меня было правило, когда я курил (давно уже не курю): если наши забивают гол, имею право закурить. Наши не забивают — я так без курева и сижу. А если подряд забивают, значит подряд и закуриваю.

**Евтушенко:** «...У меня были такие строчки в стихотворении о Боброве<sup>2</sup>:

Когда с нежданным поворотом  
Он шел к «динамовским» воротам —  
Аж перекусывал с проглотом  
Свою «казбечину» Михей...»

<sup>2</sup> Бобров — игрок вечного соперника «Динамо» — клуба ЦДКА.

**Якушин:** «...Никогда не курил «Казбек», никогда... Только «Прима», сигареты «Прима» за 14 копеек...»

**А вот что говорит Сергей Ильин:** «Я надел динамовскую футболку на два года раньше Михея Якушина. Мы с ним сегодня единственные представители старой футбольной гвардии, видевшие и продолжившие дела первого поколения динамовских футболистов...»

**Рассказывает Виктор Царев, бывший футболист команды мастеров, начальник детской «динамовской школы»:** «Сергея Сергеевича Ильина называли королем финтов. Почему? Он настолько был верткий — хороший акробат, хороший хоккеист, он разносторонне был готов. Кувырок мог сделать, тут же встать... Не лежать, вот как у нас в школе... (Обращается к слушающим его пацанам.) Как упал, выноси носилки... А он нет. Он тут же встал и играет в футбол...»

Тут нельзя не сказать еще об одном футболисте 30-х годов — о Василии Павлове. Это был уникальнейший, скромнейший человек. Он не знал, что такое штрафная площадка. Вы можете сейчас представить себе, что штраф-



Лев Яшин, Бобби Чарлтон и Геннадий Еврюжихин

ной площадки нет. Он бил с сорока метров. Он не входил никогда в штрафную площадку. Не входил. Его называли «король голов»...

Надеюсь, всем известна страсть наших бывших руководителей партии и правительства к красивым, помпезно организованным массовым зрелищам. Вспомним воздушные парады в Тушино, военные и физкультурные парады у стен Кремля. Известно, что Сталин был равнодушен к спорту, не посещал футбольные матчи. И тогда, по рассказам очевид-

цев, а они живы и могут их подтвердить, Берия доставил Сталину футбол на Красную площадь. Хроника эта существует и снята достаточно подробно. Сперва на брусчатке Красной площади раскатали зеленый ковер, поставили ворота, а потом на поле выбежали «Спартак» и «Динамо» и показали Сталину неведомую ему игру. Кадры эти были впервые сняты в тридцать седьмом году.

Мне хорошо известна фильмотека предвоенного и послевоенного футбола, содержащая



### Торжественные проводы Льва Яшина.

яся в Красногорском архиве. Среди множества посредственных лент есть снятые отлично, в частности, ажиотаж перед матчами с басками. Приезд испанцев в Москву был тогда потрясением, равным послевоенной встрече с англичанами. И вот бурю, кипевшую вокруг трибун перед матчами, операторы сняли отлично. Не имеет значения, в какой конкретно день снимались кадры — перед матчем со «Спартаком» или перед матчем с «Динамо», атмосфера передана, и это — главное.

«...Динамоцы провели с испанцами две встречи и обе проиграли. 27 июня состоялся первый матч.

Оба соперника показали высокий класс. Пожалуй, эту игру футболисты «Динамо» провели слабее, хотя баски после матча очень хвалили своих соперников. Следует отметить волевой момент команды, позволивший ей, проигрывая к 25-й минуте 0:4, к 55-й сравнять счет. Однако баски перехватили инициативу и забили еще три мяча...»

Перед отъездом баски назвали московское «Динамо» самой сильной командой из тех, с которыми им пришлось играть в Советском Союзе...»

Таково свидетельство непререкаемого знатока отечественного футбола Константина Есенина.

Конечно же, игроки и тренеры тех лет

понимали, что завтрашний день футбола — в детских и юношеских командах, которые надо создавать и пестовать. Но деньгами тогда футбольный клуб владел ничтожными, поэтому мастера, по собственной инициативе, отбирали пацанов, сбивая их в дворовые команды, обучали азам игры. Эдуард Мудрик — бывший динамовский футболист показывает уникальное фото, которое носит в бумажнике, точно фото любимой. На снимке — команда пацанов, которых воспитывал знаменитый динамовец Михаил Семичастный. Он сам же этот снимок и сделал. Мудрик рассказывает, что в качестве приза за победу пацанам раздавали — кому тапочки, кому майку, кому банку консервов. Такова была реальность, в такой нищете мы существовали, хотя теперь совсем забыли об этом. Не удержусь, повторю, что снимок уникален и сделан за год до начала войны.

В первые дни войны динамовский стадион стал местом сбора московских ополченцев. Там, где грохотали бури аплодисментов, царил суровая тишина. Москвичи собирались здесь, чтобы сразу двинуть на передовую. Большинство погибло под Москвой. Плохо обученные, вооруженные кое-как, они бились с врагом почти голыми руками — одна винтовка на двоих. Бутылка с зажигательной

смесью слабо действовала на броню немецких танков.

В панике первых военных недель руководители «Динамо» все же сообразили, что не следует «стричь под нулевку» и отсылать на верную смерть элиту отечественного футбола. Слава Богу, их оставили в тылу, сохранив «генный» фонд. Об этом времени я слышал рассказы от Бескова, игроков, проходивших службу в Москве. Их обеспечивали по минимуму, давали тренироваться, помогали сохранить форму. Благодаря тому что не полегли в подмосковных лесах и болотах эти мастера, сохранился футбол, ставший выдающимся явлением в послевоенный год.

Чем завершить фильм о любимом клубе? Возможно, тем, о чем знают немногие,— рассказом о планах перестройки стадиона «Динамо». Это будет современнейшее сооружение, построенное по последнему слову техники. Как бы мы ни любили свой стадион, можно предположить, что после сорока лет эксплуатации он обветшал, раскис и может обрушиться на головы болельщиков.

Может быть, завершить рассказ о любимом клубе серией поздравлений на разных языках, попросить бывшего динамовского игрока Зураба Саткелавы, ныне известного оперного

певца, спеть на тему застольной из «Травиаты» — «Дина-мо, Динамо, Динамо, Динамо...» И еще мне видится один финал: ребятишки, гоняющие мяч в прекрасном крытом манеже на безукоризненном зеленом ковре. Они — будущее динамовского футбола. Но боже, как непохожи эти пареньки в фирменных майках на огольцов с фотографии Семичастного. Нынешнее поколение живет по-иному, хотя тоже несладко. Важно привить пацанам любовь к команде.

Известно, что рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Но все же неприятно, что любой малец, едва научившийся водить мяч и случайно приглянувшийся иностранному «купцу», сломя голову летит за рубеж, в любую заштатную команду, забыв о родном клубе, о людях, вложивших ему разум и в ноги, и в голову. Поэтому каким бы плоским ни выглядел сегодня лозунг: «Крепить динамовский дух!», следует, не стеснясь, натянуть свежее полотнище и свежей краской намалевать на новых стенах этот старый лозунг.

**Алексей Габрилович**

Фото из коллекции Игоря Добронравова.

---

**Редакция готовит к печати  
новую книгу  
ГРИГОРИЯ ГОРИНА  
«СТОП, НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ!»  
Ее содержание — кино и,  
конечно, юмор.**

**Предварительные заявки, в том числе от  
оптовиков, просим направлять в редак-  
цию нашего журнала**

**п о а д р е с у: 103006, Москва**

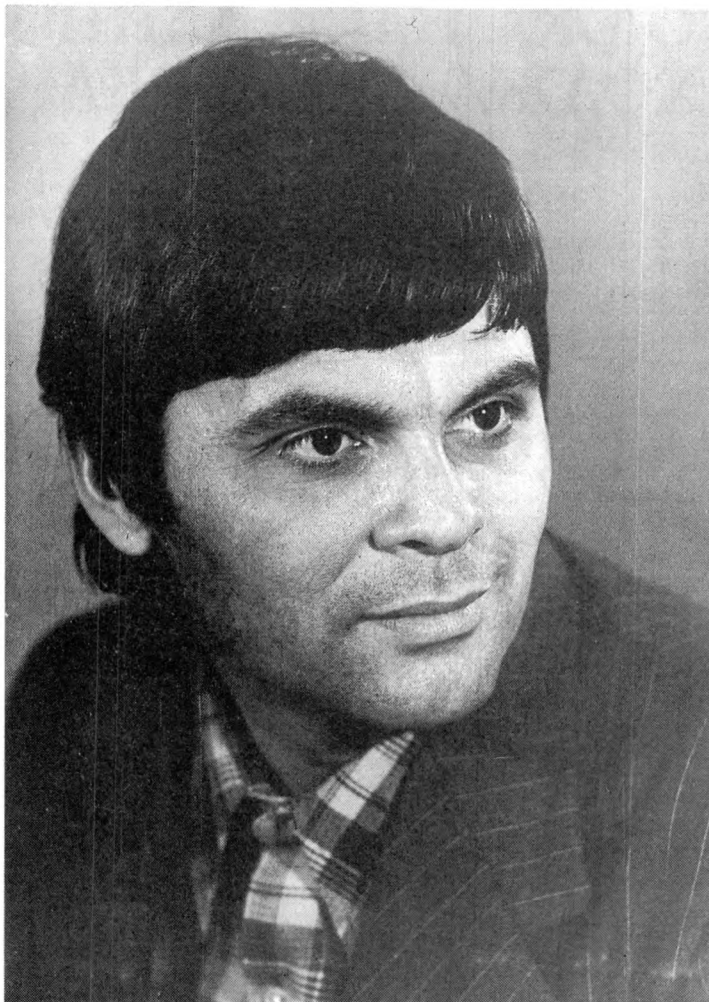
**Воротниковский пер., 12**

**Т е л е ф о н ы: (095) 299-11-78; 299-47-74**

## ТИМУР ЗУЛЬФИКАРОВ

кинодраматург, автор сценариев 12 фильмов, лауреат премии «За лучший европейский роман года» — 1993 г.

В этом же году выдвинут на Нобелевскую премию.



*«...Было, конечно, весьма неосмотрительно присуждать поэту Тимуру Зульфикарову премию как прозаику, а лучшим евроманом посчитать поэму. А, впрочем, можно и так, это только возвышает Тимура над всеми прошлыми и грядущими премиями, это дает какую-то нездешнюю оценку его творчества. Сочинения его можно читать и как романы, по-жалуйста, и как поэмы; ставить на сцене как драмы — и снимать в*



*кино, используя их как сценарии. Все это, собственно говоря, и делается. Они готовы для этого по своему внутреннему синтетическому качеству, таково необыкновенное естество этого нового художественного, русского слова...»*

*Лев Алабин, «Литературные новости».*

## ХОДЖА НАСРЕДДИН И ХОДЖА ЗУЛЬФИКАР

...Некогда дервиш Ходжа Зульфикар женился на спелой юной деве жене Анор-Султан и ушел с ней в дальний кишлак Семиганч и там в одинокой кибитке мазанке окраинной саманной уединился угнездился блаженно с ней

И хотя ночи даны для любви, а дни для размышлений и трудов, дервиш и во днях неистово вздыхая вздымался над сахарной ленностонушей женой своей

А на его калям-перо и на китайскую синь-цзянскую рисовую бумагу не ложились уже слова божьей мудрости, а ложилась дорожная квелая жирная пыль из открытого забытого окна.

А тут в кишлаке гостил бродил Ходжа Насреддин

И он всякий день являлся к кибитке Ходжи Зульфикара, и всякий раз глядел чрез оконный бычий пузырь и видел там вздымающуюся спину и трепещущие как жаворонки в весеннем семиганчском небе радостные ликующие ягодицы дервиша и утопающую бушующую змеино под ним алавастровую сахарную нагоногую спелоядвейную персиковую Анор-Султан

О!.. А!..

И много дней приходил Ходжа Насреддин к кибитке Ходжи Зульфикара и глядел завистливо на бездонное соитье, но дервиш молча мычал, ибо любви мешают трезвые слова и лишь иногда дервиш стонал как плодовый малиновый вешний осел:

— Иа, иа, иа...

Это дервиш чуял в себе осла и ликовал... И от осла ликовала разъяренно удовлетворенно Анор-Султан!..

Аллах создал ночь для бездонной бессонной любви до утра!

Аллах создал день для отдохновенного сна! сна! сна! чтобы опустошенный за ночь зебб наполнялся соком для новой ночи любви, как ночное ведро для дождя, до утра! до утра! до утра! айя!

И потому истинные подлунные мужи любви никогда не видели не знали солнца! не видели скучного слепого дня!..

Наконец Ходжа Насреддин не удержался и сказал у бычьего открытого окна:

— Эй собрат Ходжа Зульфикар! Аллах разделит зебб и калям! Кто много грешит зеббом — того лишает божьего дара мудрости Аллах! И у того Он отнимает калям-перо что утопает в глухой равнодушной пыли! Ийи!

Печально глядеть как мудрец дервиш превращается в хара-яра-осла!.. Иа... иа... иа...

Ты стал рабом своей блаженной жемчужной перламутровой струи Ходжа Зульфикар!

Ты стал рабом своей блаженной жемчужной перламутровой струйки-змейки выходящей из твоего зебба в ненасытное роящееся медовое лоно твоей молодой жены Ходжа Зульфикар! Айя!..

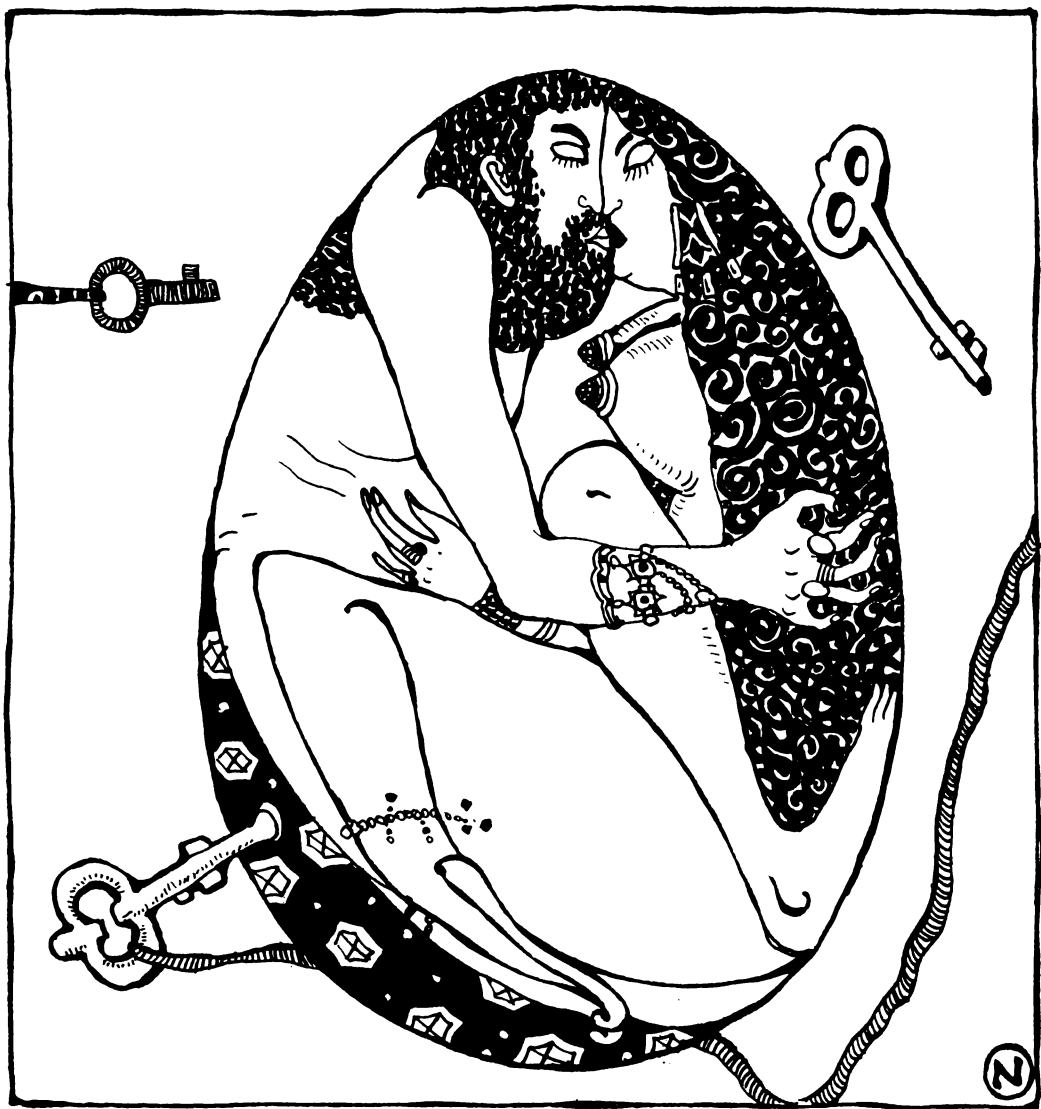
Иль отныне зебб лишь твой калям?.. Айя!..

Тогда Ходжа Зульфикар услышал стал и опечалился внял но не сошел с шелковых лядвей разъяренно покорной сладимой Анор-Султан своей, ибо слепо бушующий как горячая река осел не усмирился в нем.

На следующий день Ходжа Насреддин вновь встал у лазоревое пылкое безумное ослиного окна Ходжи Зульфикара:

— Мой брат Ходжа Зульфикар! ты внял тому что Аллах разделит зебб и перо-калям? Иль к вратам смерти влечет тебя твой неистовый бешеный зебб? Иль вслед за зеббом — а он всегда в аду — туда вступила и твоя ослепшая нога? И голова?.. Айя!..





— О Ходжа Насреддин я соединил то, что веками разделял каменным слепым дувалом Аллах! Я соединил зебб что ведет в ад и каляма что ведет в рай! Гляди! взирай! уповай!

И тут чрез окно Ходжа Насреддин увидел, что халвотелая нагая пышущая как золотая хлебная печь-танур Анор-Султан распласталась раскидалась разметалась лебедиными лядвеями и перламутровыми спелыми ягодицами на белопенной кунградской кошме, словно змеиный молящийся бездонно припадающий к земле лбом мусульманин.

А Ходжа Зульфикар медово припадал упал к телесным сладостям сахарам живым ей,

воздымающимся до потолка, а в руках он держал дрожащее перо кисть каля, а на атласной лоснящейся долгой шелковой спине Анор-Султан лежала рисовая лоснящаяся синьцзянская атласная бумага и Ходжа одновременно сладостно часто припадавая прилипа к жене писал калямом тихие вдохновенные безумные слова на бумаге но из-за бушующей спины Ходжи Зульфикара Ходжа Насреддин не мог разглядеть эти слова...

А шейх забвенно воспаленно вознесенно шептал:

— Ходжа Насреддин я соединил то, что

веками каменным дувалом разъединял Аллах!  
Я соединил зебб и калям...

О моя жена — мой письменный сладостный стол! и кто на земле? какой мудрец о таком столе не мечтал? айя!

Айя! Но!.. Возлюбленная моя! Я лишь чадающая горячая обуглившаяся забытая лепешка в ночной златопышущей хлебной печи — тануре твоей...

Тогда Ходжа Насреддин отошел от шепчущей сладостной кибитки и опечалился и в пыли изошел пропал:

— О Аллах, я бы еще заставил младую жену одновременно писать стихи вместо себя!.. Да!..

О Аллах но что за письма начертал на спине жены ленный Ходжа Зульфикар? Может в них соль смысл разгадка бытия?

О Аллах! Что начертал Ходжа Зульфикар?..

..  
Ходжа Насреддин в тысячелетней пыли блуждал витал плыл пропал...

## БЛАЖЕННАЯ СИНЬЦЗЯНСКАЯ КИТАЯНКА ДУНГАНКА У ПЛЫВУЩАЯ ГРЯДУЩАЯ БРЕДУЩАЯ В ХИССАРСКОМ ВЕСЕННЕМ ЛИВНЕ С СОКОЛОМ САПСАНОМ НА ГОЛОВЕ

Ах не тронь моего саманного сыпучего дряхлого дувала! аф! айх! У которого я стою по вечерам и пустынно одиноко мне... айф!..

А моя младая яроогненная знойнотелая змеетелая жена Халлия-Хатшепсут ушла на базар и не взяла зонта а будет дождь а ливень с вешних гор гор хиссарских грядет! Он тяжело несметно кромешно кровомутно кровосмесительно падет!

А я люблю младую жену свою Халлию-Хатшепсут что пришла в наш скудный век от древнеегипетских ненасытных цариц алчущих и в недрах пирамид саркофагов гробниц

Но грядет избыточный дождь а она ушла на базар без зонта и в ливне затонет забьется измокнет изойдет поплывет ее возлюбленная в гигантовом кашмирском платке птичья змеиная головка голова

Афф!

Я стою у родимого саманного древлего сыпучего дувала а мне пятьдесят лет а мой зебб фаллос ствол корень нож опал увял но тут темный пятнистый всешумный обильный горный хиссарский полный огненных молний ливень пришел настал встал и от многих пьяных сырых молний мой забытый зебб огонь взял восстал как голова тревожной кобры и вошел тесно в текущий дувал. Айх! как неслышный тайный нож базарного вора в необъятный курдюк хиссарской овцы! Айхх!

И стала водяная звериная дочеловечья тьма  
А в ливень яро алчут все жены и все мужи  
и все травы и все дерева

И стал ливень живой текущий кромешный агат

И тогда в ливне в яром потек порушился обмяк изник мой дувал и святая густая глина плоть земли о мой зебб потекла. Айфа!..

И мягкость дувала текуче маслянисто густо текла и топила бередила томила мутила меня.

И тут в ливне я ее увидал

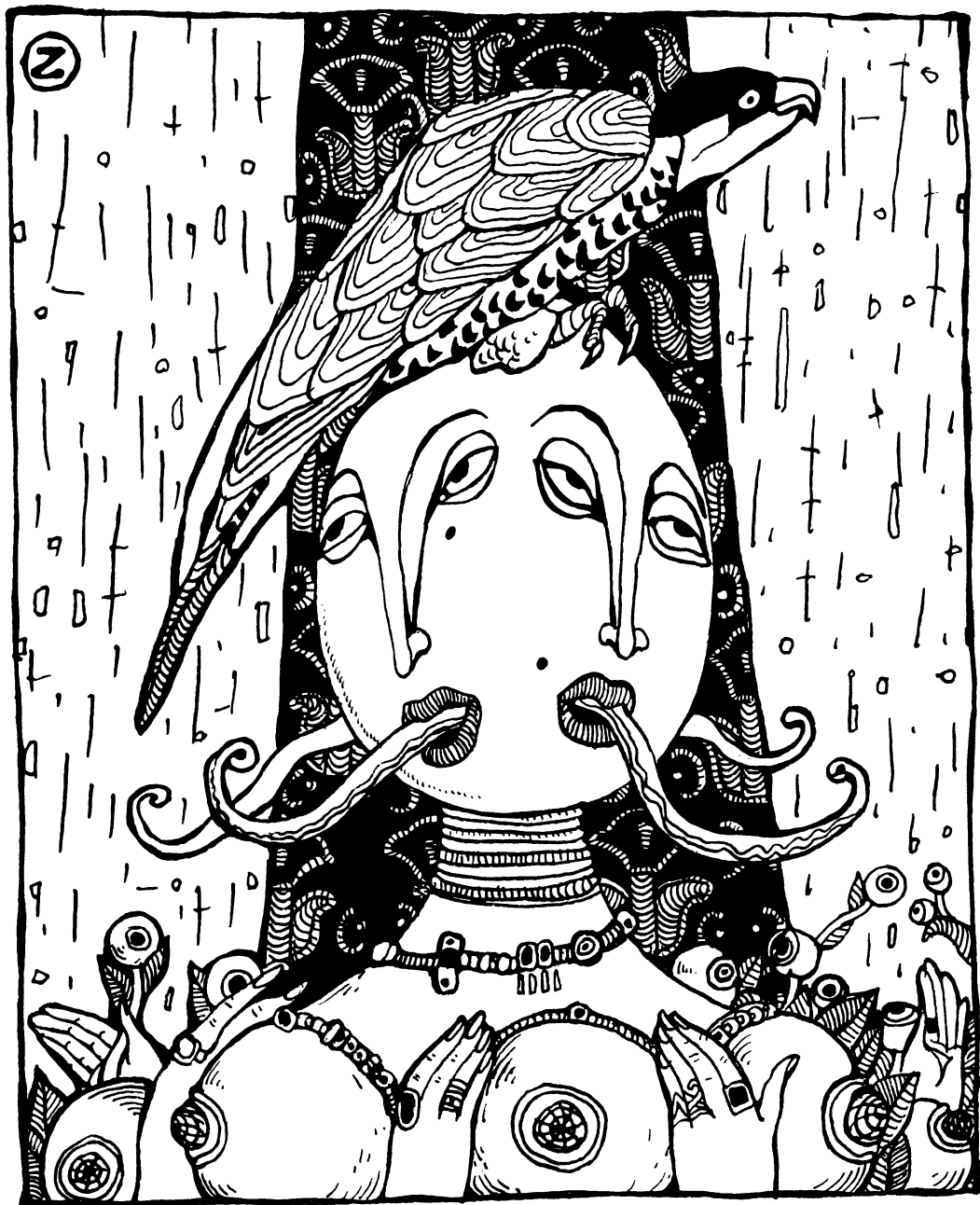
Аффф! Фйя

Она одна в ливне тяжкошумящем телолепящем телотворящем допотопном была плыла а дувал мой плыл оплыл смят а мой ствол зебб не мог его укротить укрепить удержать а мой дувал утплыл опал а мой зебб одинок все стоит уповает не пал...

Она одна шла боса в кулябском гранатовом таджикском платье где фазаны вольны необъятны до самых близких хиссарских гор рукава рукава

Эй возьми упрячь меня вместе с разгульным зеббом моим в свой необъятный раздольный девий нетронутый рукав! иль в волны татарских шаровар

А на смоляной голове ее текущей был сидел как на гнезде кровоядный ловчий руч-



ной сокол сапсан Га со и он в ливне спал и ливень мимо тунно его глухих перьев крыл сальных жирных и кинжальных глухих разрывных когтей витал тунно стекал

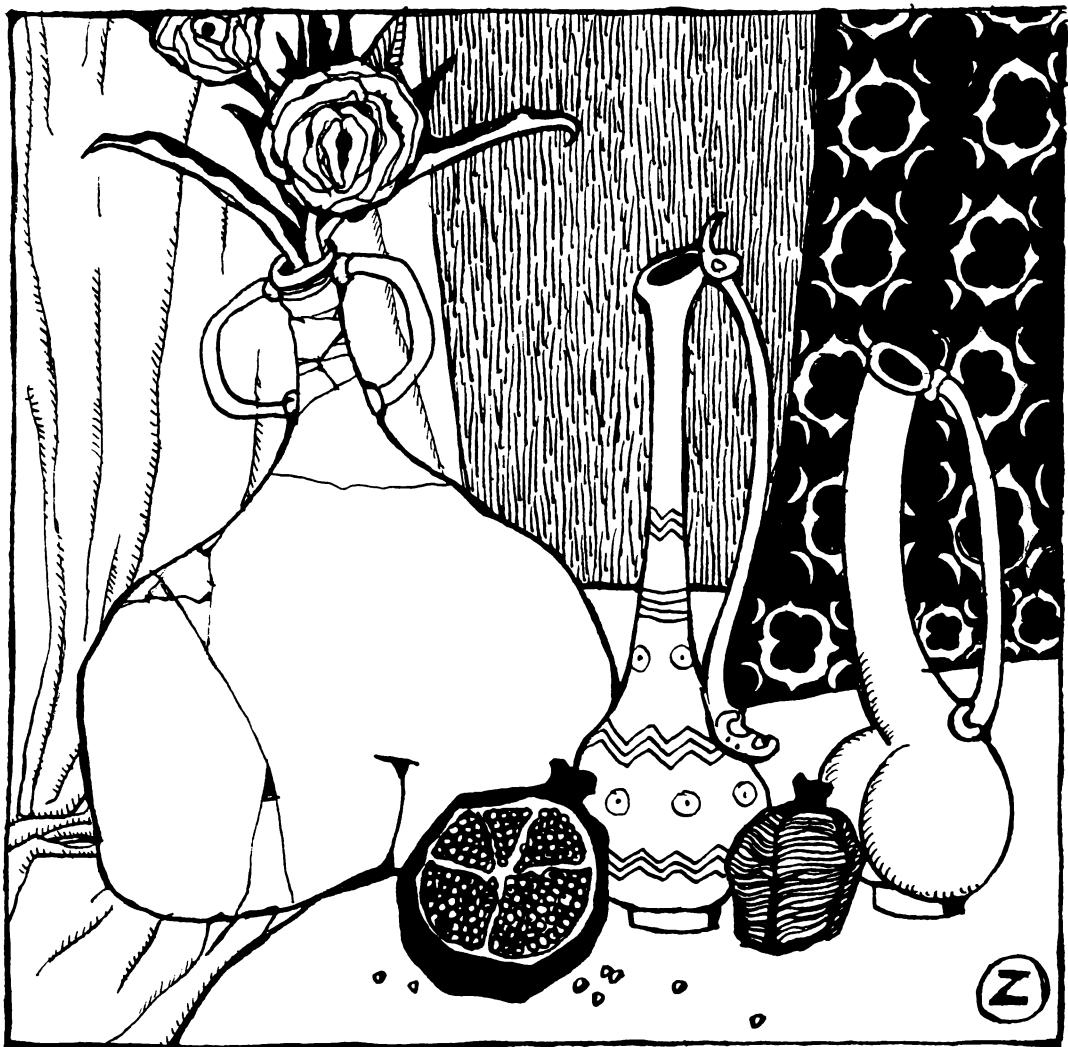
И она плыла в ливне с соколом сапсаном в змеинных ливневых своих струящихся волосах.

Как имя твое в ливне грядущая плывущая

Я синьзянская китаянка дунганка У! я заблудилась забылась затуманилась заплыла в ливне бегущих святых божьих томных томительных задыхающихся глин глин глин из которых Аллах человек лепил творил

У! у тебя ливень в несметных рукавах

У! ливень сносит срывает смывает лепит твое платье и ты нага нага нага и как камни



речные окатыши ладные белые груди живые фарфоры твоя

У! ты как русская дева в ливень глиняный безвинно белым бела и желанно дремно в одежда доступных нага

А весною птицы низко летят а весною птицы любят перо томленное ронять а весною девы и жены любят одежды утомительные упоительно терять забывать вспоминая Еву первоагуо первомать

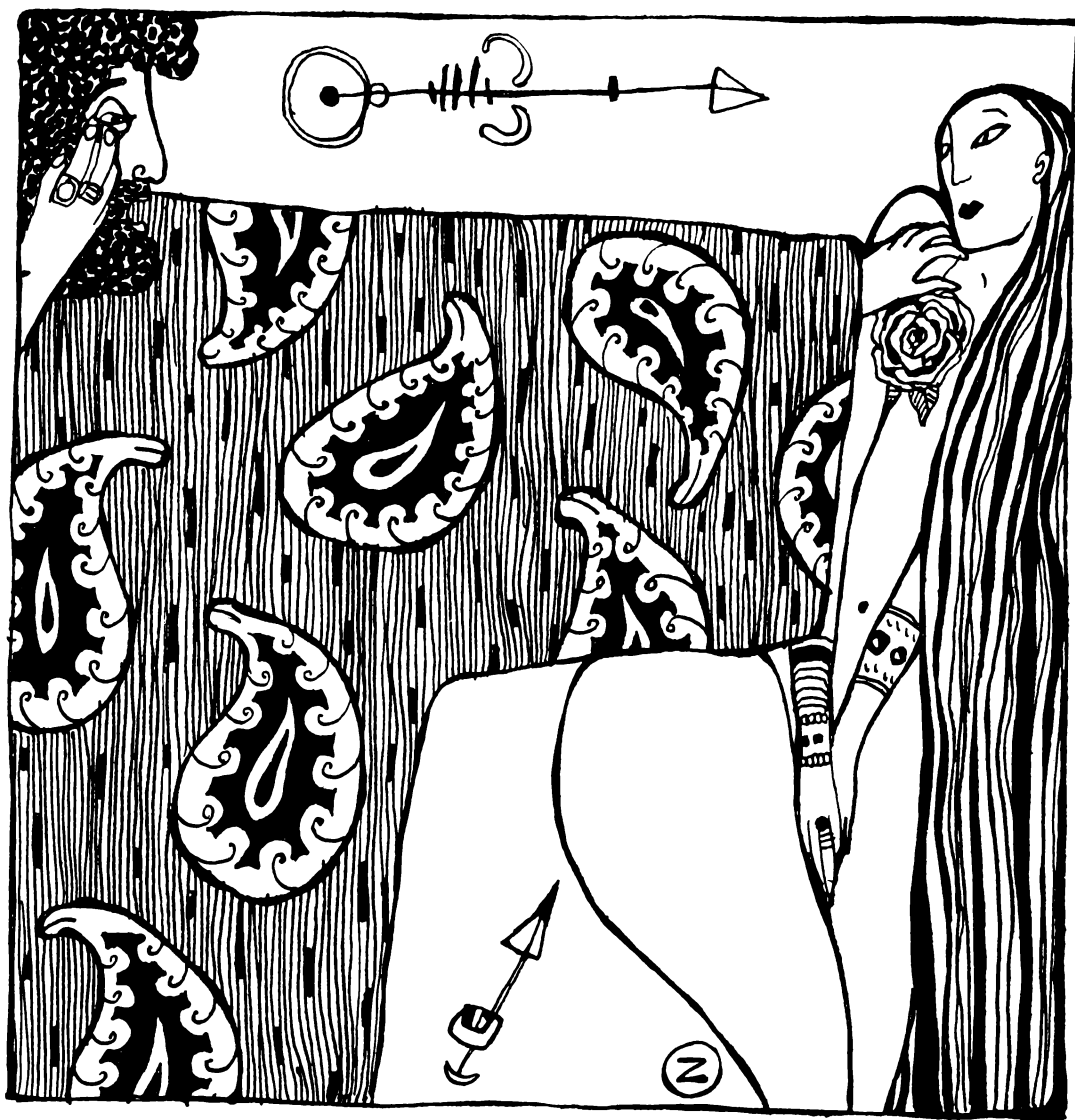
Дервиш Ходжа Зульфикар! я знаю тебя я знаю твой дряхлый дувал а мы синьзянские китайцы дунгане живем в горах и как альпийские снега наши белы белы чисты неисхожены девы тела тела тела

Ливень агат а тело бело и груди белы и лядвеи белы мои а в ливень вешний с душными молниями особенно яро гневно гонно алчно грешно жаждут друг друга чужие жены и мужи! Айх! Хия! в вешний ливень нет чужих мужей и чужих жен и дев чужих!.. Ай в ливень все по плоти открыты отворены равны родны!

Но бездонно темны необузданные власы мои до пят и они покрывают меня и не дают ливню сахарное девье тело мое взять объять!

Хия! я несла пледа девью косу но в ливень ее расплела и она коса смоляная неистовая повальная обильная коса — преграда от ливня моя!

Айф! дервиш я дева я пришла я чую что в ливень я стану жена твоя что падет рдяная пледа пелена!



И ливень стрянет бьется ищет в несслыханных  
волосах моих курчавых смятенных паранджах

И сокол сапсан спит на моей голове в моих  
беспробудных непролазных власах и не дает  
ливню затопить мою голову в своих лазоревых  
струях

У! пойдём в мою саманную глиняную кибитку

У! возьми мой сухой чапан халат

И мы входим в кибитку плывущую мою и я  
приношу задыхаясь от кромешного дождя  
сырые хлопковые дрова гузапаи со двора-  
хавли и я развожу посреди глиняной кибитки

на глиняном полу сухой ярый костер и в кибитке  
дымно слезно угарно чадно и жарко жарко  
огненно! ойф! Ффо!

Никогда я не ставил живой костер в родное  
нетронутое глиняное гнездо яйцо мое жилье  
но горит огонь

Бисмиллои Рахмони Рахим!.. Аллаху акбар!  
Аллах велик!..

Костер в кибитке горит...

У! возьми мой халат

И я снимаю с нее кулябское платье в неслыханных расписных фазаньих рукавах а изоры шаровары струйчатые татарские атласные сокровенные потаенные (в них ее девства жар!) она снимает сама и бросает яро в огонь и они сыро радостно безумно щедро дымят а потом горят

У! если любят в горах то уходят навек насмерть вдвоем заживо в огонь

Дервиш! я не боюсь огня! но со мной это будет в первый раз!

У! а со мной это будет в последний раз!

Но она не слышит меня...

Дервиш я пойду за изорами в огонь я люблю тебя я люблю в первый раз! дервиш твой дувал уплыл а твой зебб не уплыл а теперь горит твой халат

И она кладет бросает возлагает в огонь мой бухарский стародавний родимый чапан халат

Дервиш! пойдем в костер — там быстро высохнут атласные несметныя вороньего пера крыла власы моя

Там быстро высохнут белы груди моя и лядвеи ягодицы валуны и малиновые встревоженные соски непуганные девичьи моя

Дервиш там запылает возгорится вознесется в дыму чаду душа жизнь моя! И твоя!

Аффффф!

Дервиш я дева синьцзянских альпийских хмельных пастбищ-джайлоо где бродит агатовый косматый як кутас а от его тучного тесного семени горит корчится разрывается растлевается камень невпопад а от пиалы его молока зебб старца наливается становится как камень богат густ космат неистов как китайский тысячетлетний карагач в ветвях непролазных которого всегда вьется водится спелая ядобоинная змея эфа иль медовоядная гюрза

Дервиш я гюрза я эфа в месяце май когда поспевает каплет змей яд когда истекает ядом даже дикий куст миндаля иль верблюжьей розовой колючки-янтака терескена иль саксаула иль курая киргизского ковыля

Дервиш ложись ярьс творись слади вейся на меня иль в костер лягу войду я одна

У! в ливень глиняный все человеки сходят с ума как птицы с осеннего квелого гнезда и плывут как обмякший дувал

Дервиш! в ливень весенний девственницы яростней всех человеков алчут жаждут отдать

как сто майских гюрз эф свой сладостный рдяной нестерпимый мед дев первояд

А взамен взять твой перламутровый живожемчужный посеребренный умудренный мужа мед яд

А не из этих ли двух святых ядов медов сотворил первочеловеков Аллах... Дервиш а весной под всяким камнем таится томится спелотелая змея! Дервиш ты мой камень! ложись на меня — я твоя подкаменная змея

Тут стал сокол сапсан во власах ея змеиных обсыхать оживать перо щерить раздувать прибывать

Тут очи его белесые глухие дотоле стали изумрудным бегучим ярым животным кочевым алчным мокрым огнем бродить блистать угрожать

У! что твой сапсан твой пернатый возлюбленный друг не смог своими отлетными когтями своим клювом кинжальным кривым святым твою плеву пелену паутину святую девью рдяную твою гранатовую завязь распутать вспороть развязать

Дервиш Ходжа Зульфикар! В наших синьцзянских горах хрустальных стояла тысячетлетняя родниковая тишь девья заводь заповедь залив тишина

А я с моим отцом пастухом Ушанги Зейнал Абедином пасла стада агатовых яков и лазоревых лиющихся ликующих стрекоз и альпийских изумрудных скороспелых кузнечиков и сокол сапсан был наш летучий падучий пастух и он кровь горных голубей вяжирей и курчавую кровь кекликов каменных куропаток певчих пил из распоротых горл их и пас с небес до поры.

Ейхх! Фйе! Фйи!

И тогда ночью взорвали возжгли пришельцы безбожники бесы водородную сатанинскую солнечную бомбу звезду

И тогда зажгли солнечную бомбу звезду в лунной ночи когда спали яки и спали стрекозы и змеи карагачей и спали луговые травяные козы кузнечики одурев опьянев от полной луны

И когда майские змеи эфы гюрзы во сне младенчески безвинно текли святыми медами ядами в ветвях тысячетлетнего карагача...

Хйи! Господь где Ты был в ту ночь? Где в то утро был Ты?

За что? за что дервиш? За что явилось ночное солнце средь ночи луны? За что явилась сатанинская звезда?

За что навек уснули полегли до срока альпийские луга травы кузнечики рыбы камни тысячетлетней девственной тишины? И что спелоядные эфы и гюрзы с тысячетлетнего

ослепшего китайского карагача бездыханно по стволу на земле мертво полились пролились

А стадо агатовых яков облучилось облучилось и не могло встать на четыре ноги и удивленных яков заживо закопали в яму котлован у Холчан-Горы

И яки сонно жгуче жевали свежую траву которую сорвали на альпийском лугу и жевали сонно слепо траву и под землей когда зарыли их заживо в бездонную яму атомный котлован у Холчан-Горы вместе с эфами и гюрзами божественно дивно извивными при жизни а по смерти дьявольски прямыми. Жизнь — извилистая, как тропа в горе, смерть — прямая, как падающий камень...

И мой отец пастух ушел прямо в яму навеки вместе со прямым кратким стадом своим

Он сказал: Как я вернусь в кишлаки без яков моих?

А без меня заблудятся под землей беспутные святые яки тысячелетние неповинные мои

Божий пастух и под землей пасет овец своих

И заблудится на земле пастух без овец чад своих... йихх!

Дервиш мы остались в горах синьцзянских с соколом сапсаном одни

Только он ослеп неоглядными очами а я от ночного солнца от сатанинской звезды утомилась устала

Просквозила прошла чрез меня та звезда

Дервиш я от ночного солнца рукотворного небожьего стала вспоминать что я прежде была змеей. И доверменно облученные усыпленные ушедшие не прошедшие срока земного прямые гюрзы и эфы во мне очнулись восстали в Колесе Сансары

Я их возлюбила в ветвях земного китайского ослепшего карагача и они возлюбили на земле меня и во мне по смерти своей восстали

Гляди дервиш! мои девьи соски нетронутые шевелятся восходят наливаются и хотят алчут ужалить как две малахитовые раздвоенные головки змей гюрз или эф

Гляди — соски мои головки жгучих змей Аффф!.. Ффей!..

Гляди дервиш в ливень весенний они оживают маются вздымаются и ищут кого ужалить с кем поделиться святым целебным гиблым молниеносным медом ядом ядом ядом

И тут сокол сапсан слепокий жемчужноокий на них бросается взвивается и их укрощает и они затихают и они уходят во груди пирамиды мои в бездонный живой камень

Гляди дервиш Ходжа Зульфикар!

И тут сокол сапсан Га со сходит с ее чародейной святой неповинной вселенской родной сокровенной безвинной безвинной главы и малахитовые чешуйчатые мшистые бархатистые головки майских гюрз иль эф его находчивым когтем и клювом усмирены укрощены уязвлены

И тогда пирамиды груди безмолвны неистово нетронуты чисты как вершины синьцзянских гор в ночь божией луны до прихода человечьей сатанинской звезды...

Исы!.. Но текут лесные малины алые шиповники сосков блаженной вечной девы У а не жены и никому навеки в этих малинах разбуженных растревоженных в алых шиповниках никогда не бродить

Аллах! Господь мой! что за маковые опийные бродильные в несметный вешний ливень сны сны сны курильщика плакучей падучей анаши

Ийши!..

Да горит костер средь кибитки моей

Да уходит сходит сокол с малахитовых парчовых усмиранных розовых миндальных рядных девьих нетронутых сосков раздвоенных аспидных головок плещущих змей гюрз эф

Дервиш потуши удуши свой тунный костер Дервиш возьми свой обгорелый халат

Дервиш гляди мое кулябское фазанье дождевое от ливня платье уж насмерть высохло а ты был огненный а от костра от ливня от сокола моего от змей моих роящихся осиных извечных был огненный а стал ледяной! Иль и ты охвачен уязвлен потрачен той сатанинской синьцзянской звездой? Иль все человеки идут в тот огонь?

Дервиш ты был огненный а стал ледяной

У! ты уходишь и никто кроме сокола не тронул девьих твоих сосков?

И она уходит и у нее уши малые острые рысьи а ягодицы несметные тучные валуны многолетней мусульманской жены и я хочу хочу грызть как зверь эти рысьи ушки девичьи и я настаигаю догоняю их а когда я их грызу то встают восстают несметно до глиняного потолка мазанки моей ее древнеегипетские пирамиды груди плоды загробного полночного Хеопса плоды сокола сапсана а не мои

Дервиш! со мной это в первый раз  
У! со мной это в последний раз



У! Аллах запрещает в Святой Книге входить в новые чужие дома лядвеи лона устья нетронутые сокровенные нехоженые твои

У! и я не вошел в нагие врата твои?

У! и что в устах моих рысьи ушки твои иль сосны лесных малин с которых сокол изгнанник летит?

У! не знаю в чаду бреду костра ливня я и не знаешь ты а знает Аллах один

Но она навек насмерть высоко далеко небесно уходит вместе с бездонным слепым соколом Га со своим

Словно сокол уносит ея в небеса

И я бегу за ней из кибитки своей

Ливень тяжело утих поник оглох иссох

Только течет в струях мягкость палого дряхлого дувала моего

И тут я вспоминаю древних мудрецов любви неистовых жрецов и их нынешнего наследника друга дней моих святого армянина Борисджана Аршалуйра: Если хочешь есть — то продолжай же ну любить тешить сладить. А хочешь пить — значит смерть близка — тогда остановись! остудись! смирись! озарись!

И я гляжу дрожу вослед У и предсмертно хочу алчу пить

И я двумя руками беру разрушенную мягкость месиво слякость тестно текучее ползучее дувала древнего моего и пью святую муть зыбь допотопных дочеловечьих глин глин глин

Пью пью пью жую ем глину текучую а потом заливаю текучей глиной мягкостью из ведра всхлипывающий целомудренный костер в кибитке мазанке моей невиновной прихитшей

Ийхх! Йишш! Господь! Зачем? человек! жив?.. Когда боль более тела и души?

А потом пришла с базара промокшая но веселая чародейная возлюбленная младая жена моя Халлия-Хатшепсут

А потом пришла духмяная ночь с неистовыми плядями чистшими яроогненными сполохами как всегда бывает после всемирного всесокрушительного всеутомительного ливня

А потом начался со небес со плядя несметный звездопад как всегда после ливня в мае когда в змеях созревает каплет яд а в небесах течет звездопад

А потом Халлия-Хатшепсут вожделенно обделенно весело сказала: Гляди дервиш муж мой! Все звезды падушие ручные летят в наш двор-хавли, а раньше они падали далеко окрест. А теперь все текущие призрачные алмазы Аллаха летят в наш нищий хавли

Тогда дервиш улыбочиво сказал: Раньше дувал наш дряхлый им мешал — теперь он в ливне уплыл оглыл пал и открыл пути звездам...

Тогда дервиш прошептал: А есть древнее поверье кочующих славян и цыган, что звёзды падают в тот двор и на тот дом, где дева тайно лишилась девства святого бродильного макового утомчивого своего...

И зарыдал

Дервиш со мной это было в первый раз  
У! со мной это было в последний раз  
Помоги Аллах!

---

## У в а ж а е м ы й п о д п и с ч и к !

**С каждым номером нашего журнала, который вы получили в этом полугодии — вы выиграли 750 рублей. Столько составляет сумма, которую редакция доплачивает за производство одного номера журнала.**

**Подписывайтесь — и выигрывайте!**



MACON, GA 312 07/08/93 02:14

RUSSIA

Natasha Rurikova  
 12 Vorotnikovskiy Per  
Moscow 103006

"Киносценарии"  
 Наташи Рюриковой

### Дорогая Наташа!

Вы просите что-нибудь написать «отсюда», поделиться своими мыслями. Мысли у меня следующие:

Я теперь понимаю, почему люди не очень верят в загробную жизнь. Потому что те, кто уже попал Туда, никогда не рассказывают, как оно Там. Те, кто уже Там, знают, что те, кто еще не Там, их все равно не поймут.

Замечательный писатель Горенштейн, уехав в эмиграцию, большую часть своего первого письма Оттуда посвятил своей кошке. В этом письме, адресованном нашей общей знакомой, он подробно рассказал, как кошка перенесла путешествие, как она относится к тамошней кошачьей еде, как она привыкает к своему новому дому.

Наша общая знакомая, сама известная кошачница, была поражена. Она надеялась узнать из писем мастера, что он думает о Той жизни, какая она на самом деле. Но блистательный мастер слова не нашел слов для выражения этих своих мыслей. Из письма выходило, что писатель думает только о своей кошке.

Я ни в коем случае не сравниваю себя с выдающимся прозаиком, но со мной происходит нечто подобное. Разница только в том, что Горенштейн писал о кошке, а я о собаке.

Нашу собаку зовут Беки. Она такса.

Те, кто общался с таксами, знают, что все таксы одержимы одной идеей. Им кажется, что их недооценили, что им чего-то недодали, что они занимают в жизни недостаточно престижное место.

В прежней жизни она всегда хотела, чтоб все говорили и думали только о ней. Когда не говорили о ней, она погружалась в мрачные размышления. Думала она всегда об одном и том же: вот выйду я на улицу, съем осколок стекла, умру в ужасных мучениях, и вы все будете себя казнить. Вы тогда поймете, кого потеряли.

Она воровала, чтоб быть пойманной и наказанной. Она была мазохистка и истеричка. Дважды в год она впадала в состояние ложной беременности. Она не могла просто жить. Просто жить было скучно.

Когда приходили гости, она испуганно визжала, целовала всех в губы и стонала



от счастья: Наконец, наконец, наконец вы явились! Эти чудовища, мои хозяева, морят меня голодом. О, как я одинока в этом страшном доме! Приласкайте, полюбите, накормите меня!

Когда никого нет, она часами лежала неподвижно и смотрела на меня. Взгляд ее отчетливо говорил: Никогда, никогда, никогда никто не поймет тебя так, как я. Никто не будет тебя так любить, как я. Этот мир — мираж. Ты и я — единственная реалья.

Она была создана для эмиграции.

Обычно собаки улетают Туда в клетках, в багажном отделении. Для таксы такой вариант был исключен. Если ее посадить в багажное отделение, она назло издохнет. Я нашел финскую компанию, которая разрешает возить небольших собак в пассажирском салоне. Одну собаку в рейс. То, что ей надо.

Чтоб она не нервничала, мы решили дать ей успокоительного. Знакомый ветеринар продал нам таблетки. Он сказал, что для собаки достаточно четверти таблетки. Целая таблетка вырубит ее на сутки. Двумя таблетками он обычно усыплял лошадь. Мы дали Беки три таблетки, но она не уснула ни на секунду.

Восемь часов подряд она рыдала над Атлантическим океаном, требовала остановить самолет и вернуть ее на Родину. Одновременно она хотела есть, писать и перейти в первый класс.

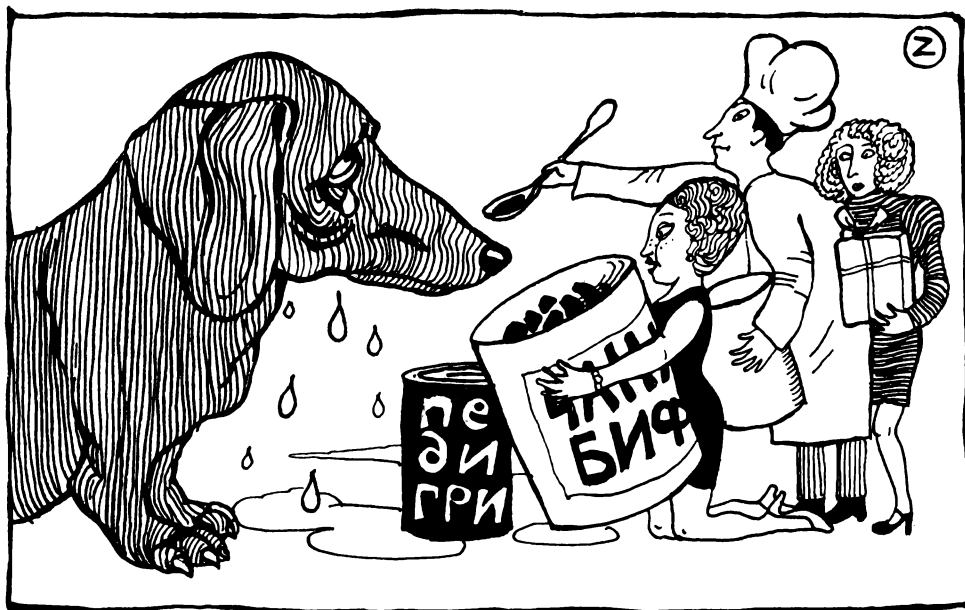
В помещении эмиграционной службы добрые чиновники разрешили в нарушение правил вывести ее на улицу, чтоб она сделала свои дела. Беки вышла, увидела желтые такси, черных шоферов, зарево огней на горизонте и назло не сделала ничего.

Выправляя наши документы, древняя, затянута в мундир, крошечная старушка внимательно посмотрела на Беки и предрекла на чистом русском языке: «Все, что вы заработаете, вы будете тратить на это животное». Беки взвела от радости и поцеловала старушку в штаны.

В Вашингтоне нас встретили друзья, которых она раньше не видела никогда. Беки зарыдала и бросилась к ним в объятия. Про нас забыли. Пока грузили в машины чемоданы, она нашла клочок бумаги и стала его жевать. Все поняли, как мы с нею обращались в России, и прямо из аэропорта поехали в супермаркет покупать ей собачью еду.

В машине она многословно извинялась перед ними за то, что привезла с собою нас.

Супермаркет был очень большой и пустой, потому что уже наступила ночь. Беки смотрела сквозь стекло витрины, как мы с нашими друзьями ходим вдоль полок и как они учат нас выбирать ей еду. Все говорили только о ней. Наверное, это был лучший момент ее жизни.



Ей купили еду под названием «Чанки биф». В доме наших друзей, где мы провели первую ночь в Америке, она съела всю банку и попросила еще. Она решила, что такое бывает раз в жизни, и хотела нажраться на все оставшееся время.

Когда мы приехали в город, где нам предстояло жить, мы пошли в супермаркет купить собачью еду впервые сами. «Чанки биф» мы там не обнаружили. Мы еще не умели ориентироваться в супермаркете. Поэтому мы купили ей другую еду, под названием «Педигри». Беки есть «Педигри» не стала. Она хотела только «Чанки биф». Два дня, пока мы таскали в наше новое жилье мебель и посуду, она не жрала вообще ничего.

Посреди нерусского мохнатого ковра, по-крывавшего пол, она лежала на животе и, наморщив лоб, думала. Я знал, что ее мучает. Ей некого было ненавидеть. Дома она ненавидела кошек, ворон, петуха и других собак. Здесь она была одна.

В комнате было окно до полу, за которым видны были деревья, а на них птицы и десятки белок. Они двигались и, должно быть, издавали звуки, но окно было герметично закрыто, и звуков с улицы не было слышно. Беки решила, что окно — нечто вроде телевизора, а эти белки и птицы — скучные и безвредные телевизионные фантомы, лишенные запаха и неспособные покушаться на ее еду.

Дом отапливался и вентилировался кондиционером. Окно никогда не открывалось. Гуляли мы по улицам, лишенным собак, кошек, мусора и прохожих. Кошки в ошейниках сидели за стеклами окон. Прохожие проносились в машинах. Мусор убирали по ночам быстрые черные люди. Собаки сидели в клетках, каждая на своем дворе. Они лаяли, но как-то не по-русски миролюбиво, и тоже казались фантомами. Беки впадала в протрацию.

По ночам она вскрывала и сучила ногами. Ей снился тот счастливый день, когда петух подошел к ее миске с протухшей кашей, и она догнала его и выдрала полхвоста.

Потом мы научились покупать «Чанки биф». Потом решили экономить электроэнергию и открыли окно. Беки услышала, как трещат местные красные и синие птицы, как шуршат в прошлогодней листве огромные серые, похожие на крыс, белки, и радостно возненавидела их.

Потом у нас появились новые друзья, мы стали ездить на машинах друг к другу в гости, и Беки плакала от счастья и рассказывала им, как мы равнодушны к ней и морим голодом.

Потом ей прислали письмо из собачьей поликлиники. Беки поздравляли с приездом в Америку и писали, что если хозяева не желают ей смерти, они должны привести ее для осмотра и прививок от бешенства и «сердечного глиста». Про этого глиста было написано так страшно, что мы ее привели и заплатили первые девяносто

долларов.

Врач сказал, что Беки — самая красивая собака, которую он только видел в своей жизни. Ему ужасно жаль, сказал он, что если мы ее будем кормить едой из супермаркета, она преждевременно состарится, облысеет и в страшных мучениях умрет от авитаминоза. Оказывается, еду надо покупать в их специальном магазине. Она там дороже в три раза, но такса в три раза дольше проживет.

Приходится покупать там. Недавно опять пришло письмо из поликлиники. Она у них там на компьютере. Скоро поведем опять. Старушка была права.

Сперва она не понимала, когда говорили по-английски. Она воспринимала это как личное оскорбление. Но потом выучила несколько слов: «Чанки», «Педигри» и эту проклятую «Сайенс дает» — сухие катышки, полезные для собак, но безвкусные. Она решила, что этих слов достаточно.

Когда к ней обращаются американцы, она даже не пытается их понять. Она про них знает главное: когда они лезут к тебе со своим дурацким нерусским языком, надо просто улыбаться. Главное улыбаться, и все будет о'кей.

Потом мы нашли для нее место с людьми, мусором и собаками. Это было четвертого июля, в день Независимости. Вечером все съехались на лужайку в центре города, вынули из машин складные стулья и стали кушать всякую ерунду из картонных коробочек и смотреть фейерверк.

Вокруг были розовые и желтые сараи шопинг-молла, небо было фиолетовое, горы на горизонте темно-зеленые. Когда раздался грохот пушечной пальбы и в небе начали распускаться гигантские разноцветные кусты ракет, Беки тихо завывала. Конечно, все оно какое-то не такое, но не дай Бог это потерять.

В общем, жизнь ее наладилась. Я сижу за столом и пытаюсь что-то написать. Беки, как в прежней жизни, лежит у моих ног и спит. Или смотрит не мигая, и говорит: «Только ты и я. Остальное — мираж».

Кстати, о Фридрихе Горенштейне. Он, действительно, великий и недооцененный еще писатель. Когда-то он работал в кино. Ему есть, что рассказать. Характер у него невыносимый, но попробуйте связаться с ним.

Он уже давно Там и, может быть, напишет вам не только о своей кошке.

Спасибо Вам за письмо и за то, что Вы вспоминаете меня не только в письмах ко мне. Я видел заметку в «Московских новостях».

Ваш Саша Червинский



Alexander Chervinsky  
104 E. Magnolia Lane  
Oak Ridge, TN 37830  
USA

---

**Подписаться на наш журнал  
можно, начиная с любого номера.  
Цена по каталогу — 250 руб. за 1 номер.  
Индекс 70434.**

# А Н О Н С

В 1994 году читайте  
в нашем журнале  
сценарии:

Фильма — лауреата «Оскара-93»  
«The Crying Game» —  
«ИГРА ДО СЛЕЗ» НЕЙЛА ДЖОРДАНА,  
ВЛАДИМИРА ЛАКШИНА «ВСПОМИНАЯ ЧЕХОВА»,  
ОТАРА ИОСЕЛИАНИ «ОХОТА НА БАБОЧЕК»

а также

сценарии В. НАБОКОВА, Ж. П. САРТРА, Д. Ле КАРРЕ,  
П. ПАЗОЛИНИ, Г. ВИДАЛА, Ф. ФЕЛЛИНИ,  
М. АНТОНИОНИ, Л. ФАССБИНДЕРА, В. ВЕНДЕРСА,  
Г. ГОРИНА, П. ЛУЦИКА и А. САМОРЯДОВА,  
П. и В. ТОДОРОВСКИХ, Р. ХУСНУТДИНОВОЙ,  
А. БАБАЯНА и А. ЛЕОНТЬЕВА, Э. ТОПОЛЯ и др.,

и кроме того

рассказы, воспоминания, интервью, биографии,  
уроки мастеров и лучшие произведения молодых  
кинодраматургов, статьи критиков и главы из  
новых книг В. Катаняна, А. Червинского и другие  
интересные и уникальные материалы,  
для всех, кто любит  
**КИНО.**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **К 70-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА**

- 3 Ирина Уварова «**ЗАРИСОВКИ В ДУХЕ ПЕРСИДСКОЙ МИНИАТЮРЫ**»  
7 Сергей Параджанов «**ИСПОВЕДЬ**»  
27 Рассказ Гаянэ Хачатурян о последнем пути  
32 Василий Катанян «**ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО СВОБОДЕН**». Главы из книги  
«**СЕРЕЖУ ИЛИ СТРАСТИ ПО ПАРАДЖАНОВУ**»
- НЕПОСТАВЛЕННОЕ КИНО**
- 49 Андрей Смирнов «**ПРЕДЧУВСТВИЕ**»
- КОММЕРЧЕСКОЕ КИНО**
- 78 Анатолий Усов «**ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ**»
- КИНОКОМЕДИЯ**
- 108 Валерий ЧИКОВ «**ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ**»
- АВТОРСКОЕ КИНО**
- 129 Валерий Залотуха «**МАКАРОВ**»  
**Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...**
- 163 Алексей Габрилович «**ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ СТАРОГО БОЛЕЛЬЩИКА**»  
**ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА**
- 177 Тимур Зульфикаров. Два рассказа  
**ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ**
- 187 Александр Червинский. Письмо главному редактору

---

Гл. редактор **Н. РЮРИКОВА**

Редакционно-общественный совет: **В. АЗЕРНИКОВ, Э. АКОПОВ, И. ВАСИЛЬЕВА, А. ГРЕБНЕВ, А. ИНИН, Е. КЛЕЙНЕР, А. КРИНИЦИНА, А. МАМИЛОВ, А. МЕДВЕДЕВ, В. МЕРЕЖКО, Н. РЯЗАНЦЕВА, М. СЕРГИЕНКО (отв. секретарь), П. ФИНН, В. ФРИД, А. ЧЕРВИНСКИЙ, В. ЧЕРНЫХ.**

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Сдано в набор 02.11.93. Подписано к печати 03.12.93. Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 12,87  
Усл. кр. отт. 13,37. Уч.-изд. л. 14,0. Печать офсетная. Бумага типогр. офсетная. Гарн. «литературная».  
Заказ № 1758.

---

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12  
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74  
Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати РФ  
142300, г. Чехов Московской области





**Весь комплекс  
банковских операций  
при проведении  
расчетов  
"день в день"**

**Адреса и телефоны банка "Кредит – Москва"**

**ПРАВЛЕНИЕ:**

Москва, 113054, 6-й Монетчиковый пер., 8, м.Павелецкая.

Тел.: (095) 233-42-43, 237-58-54.

**СОКОЛИНОГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Москва, 111250, Госпитальная площадь, 16.

Тел.: (095) 263-11-28, 263-26-38, 263-14-37.

**МОСКВОРЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Москва, 113184, Б. Ордынка, 51.

Тел.: (095)233-14-30.

**КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Москва, 121354, Можайское ш., 41.

Тел.: (095) 443-16-01, 443-18-08.

**ОСТАНКИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Москва, 129223, просп. Мира, ВВЦ, павильон №1.

Тел.: (095) 216-14-68.

**НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:**

Москва, 129626, Новоалексеевская ул., 16.

Тел.: (095) 286-26-80, 286-26-05.



Читайте  
в следующих  
номерах:

# THE CRYING GAME

Сценарий  
Нейла Джордана

"Игра до слез" –  
фильм лауреат  
"ОСКАРА" – 93

в журнале  
"Киносценарии"

КИНО сценарии №6